

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей Российской Федерации,
Администрация Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Н.М. АХПАШЕВА

Б.Л. АЮШЕЕВ

А.Г. БАЙБОРОДИН

Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ

Б.Я. БЕДЮРОВ

В.А. БЕРЯЗЕВ

Б.В. БУРМИСТРОВ

С.В. ВТОРУШИН

В.В. ДВОРЦОВ

Б.С. ДУГАРОВ

А.И. ИВАНТЕР

В.Н. КАЗАКОВ

Б.Н. КЛИМЫЧЕВ

Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)

В.М. ЛОМОВ

С.Г. МИХАЙЛОВ

А.М. РОДИОНОВ

Э.И. РУСАКОВ

Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА

А.Б. ШАЛИН

В.Н. ЯРАНЦЕВ

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

2 февраль 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Геннадий БАШКУЕВ. <i>Маленькая война</i> . Повесть.	3
Семён ПЛОТКИН. <i>Боевые записки невоенного человека</i> . Повесть.	44
Эдуард РУСАКОВ. <i>Чистая правда</i> . Рассказы.	84
Илья ОГАНДЖАНОВ. <i>Место силы</i> . Рассказы.	108
Каринэ АРУТЮНОВА. <i>Дочери Евы</i> . Рассказы.	131
Виктор СТАСЕВИЧ. <i>Сахе</i> . Рассказ.	137

ПОЭЗИЯ

Марина УЛЫБЫШЕВА. <i>Из обрести и жести</i> . Стихи.	40
Сергей ЧЕПРОВ. <i>Золотой завиток</i> . Стихи.	82

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Андрей ТИМЧЕНОВ. <i>Птицы</i> . Стихи.	102
Борис ЧИЧИБАБИН. <i>«По полю русскому в русское небо...»</i> Стихи.	115

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Марина АКИМОВА. <i>Тимченев в кубе</i>	140
Иван ПОДСВИРОВ. <i>Тайна Григория Федосеева и его «Последний костер»</i>	148

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Дмитрий МАРЬИН. <i>Подводя итоги</i>	168
Александр ЛЕЙФЕР. <i>Делай, что должен...</i>	172
Владимир НИКИФОРОВ. <i>К 70-летию Эдуарда Русакова</i>	181

Книжная полка

Владимир ЯРАНЦЕВ. <i>Энциклопедия переходного периода</i>	184
--	-----

<i>О книгах</i>	189
-----------------------	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» В.А. Берязев.

МАЛЕНЬКАЯ ВОЙНА

П о в е с т ь

*«Траляля взглянул на свои часы и сказал:
— Половина пятого.*

*— Подеремся часов до шести, а потом
пообедаем, — предложил Труляля».*

Льюис Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье»

«Лучше погибнуть, чем жить без тебя».

Жаклин Кеннеди. 27 октября 1962 года

...Ночь в горах полна шорохов. Ветер раскачивает верхушки королевских пальм, сухо трещат лианы и цикады, поскрипывает в изголовье гамак, пищат в траве мыши. «Фр-р», — взлетела и канула в ночи огромная птица. Я лежу в обнимку с трофейным автоматом, дуло холодит висок. Звезд отсюда не видно, лишь роятся перед глазами светлячки. Кутаюсь в одеяло — не спится. Дело не в мышах. Повстанцы не боятся мышей, черт возьми! Снова приступ малярии — знобит, руки, сжимающие приклад, вспотели. Обычная история в сезон муссонов. Невидимый туман намочил усы и бороду. Во фляжке ром, на пару глотков, но пить перед боем нельзя, таков приказ. Разве что принять таблетку хинина, но не хочется будить маму. И так намаялась за неделю. Недавно обошел посты, дозор бодрствует, курит в рукав, как учили во дворе. Даже Борька не спит, этот засоня, который вечно опаздывает в школу. В штабной палатке команданте чистил свой «кольт». Я поделился тревогой. Под вечер в верховьях реки увлекло течением Боливара, и он подвернул заднюю левую. Команданте озбоченно погладил бороду. Минометные плиты придется нести по очереди, раненых — тоже. А тут еще дожди, речки взбесились, впереди — переправа...

Я просыпаюсь, шлепаю босиком за печку, тихо, чтоб не разбудить маму, делаю по-малому в горшок. Потом пью на кухне молоко из бутылки — пара глотков, не больше, — унимая колотящееся сердце. По потолку гуляют тени, тополя скребутся о карниз, за окном тонко плачет жестяной обод фонаря... Надо быть честным хотя бы перед собой. Я ненавижу драку и боюсь ее. Боюсь до тошноты. Но ничего не изменить. Чиркнув спичкой, вижу дату в отрывном календаре:

«1962 год.

28.

Октябрь.

Воскресенье».

Обе улицы, по уговору, как только стемнеет, окончательно выяснят отношения на ничейном пустыре за нежилым баракон и свалкой.

Со стены улыбаются Фидель и Гагарин. Спичка жжет пальцы... Терпи, маменькин сынок, равнение на Команданте!

«Почему не оседлан Боливар? Черт возьми, лейтенант, — слезы?!» — «Нет, Команданте, это все сезон муссонов, будь он проклят!»

— Сынок...

— Не зажигай света, мама! — закрываю лицо. Мама белеет в проеме. Хлопнула форточка, быстрее побежали по стенам узорчатые тени.

— Мне страшно... — рядом обдуло родным, кисловатым. — Проснулась, сама не знаю отчего... А тебе не страшно, сынок?



Ноет обожженный палец. Мне скоро тринадцать. И я — лейтенант. Если в драке мелькнет нож, я обязан стрелять. Таков приказ. Фидель переглядывается с Гагариным.

— Хотел закрыть форточку... — веду к постели маму, она худенькая и легкая. Мама засыпает сразу, держит меня за руку.

Стекло приятно холодит ноющий палец и лоб. В тусклом свете фонаря кружатся, кружатся сизые листья. Я слышу их печальный шепот. И старый наш барак кряхтит бревнами, подвывает чердаком — жалуется, что ли. Весь вечер его терзали нестройным пением и скандалами. Угломонились за полночь. Привычное дело — суббота. Пистолет-самопал упрятан в тайнике. Спят соседи, спит двор и его дети — солдаты повстанческой армии.

Сплю и я. Ночь в горах полна шорохов.

7:18. «Полет нормальный!»

Поутру в дверь стучат. Я знаю — кто. Шлепаю босиком, распахиваю дверь, бормочу спросонок:

— Доброе утро, Коминтерн Палыч...

Сосед — костистый, в разорванной майке — проходит на кухню и долго молчит. Молчу и я. Сплю совет. Коминтерну Палычу стыдно. Это он вчера бил в коридоре жену и орал про советскую власть.

— А мамка где? — выдавливая из себя Коминтерн Палыч и сам же отвечает: — Ах да, на базаре...

Радио шепелявит последние известия. Кажется, будет конец света. Или нет — конец пятилетки. Хочется спать.

— Мама сказала — в шкафчике...

Коминтерн Палыч роняет табурет. Дергая кадыком, пьет водку из шкалика. Мама жалеет Коминтерна Палыча. Она всех жалеет.

Лицо соседа, опухшее, мутноглазое, разглаживается, как под утюгом. Он вздыхает и, словно птица, прикрывает глаза. Сейчас будет извиняться.

— Ты вот чего... Ты уж извиняй... Мамке скажи... так, мол, и так... Пошумели соседи-то... Шутка ли!..

Я извиняю соседей. Им не до шуток. Опять разводятся.

Коминтерн Палыч говорит еще что-то — невнятно, радостно, глотая слова. На впалой груди в обрамлении курчавой поросли синее портрет Сталина. Татуированные усы генералиссимуса шевелятся.

— Послушай... А моего оболтуса не видал? — обернулся у двери разговевшийся сосед. — Жена вроде на месте, Лаврентий тоже, а Петьки след простыл! Я пересчитал... Нету!

Коминтерн Палыч, надышав облачко сивухи, исчезает.

Сон как рукой сняло. Мне доподлинно известно, куда побежал Петька Хохряков, дворовая кличка Окуроч, рост метр с кепкой. На форпосте ему сегодня дежурить первым.

Заброшенная церковь на взгорье у самой Уды. Река плавно огибает толчею базара, ныряет под мост, по которому усатым тараканом ползет трамвай; врезается в побуревшие заросли тальника (лук и стрелы из него — что надо!), посверкивая, скользит вдоль дамбы и, устав, припадает к широкому плечу Селенги. Все это видно с колокольни. Уда делит город напополам, а мост один! Если заудинская шпана помыслит нарушить договор, а такое уже случалось, и расквасить нам носы поодиночке, то шиш им на постном масле. Мост как на ладони. Дозорный заметит с форпоста любое передвижение противника.

Мне не по себе. За разведку отвечаю головой. Первый рапорт — в восемь ноль-ноль. Воскресенье — день вероломства! Будь готов к труду и обороне!

Натягиваю телогрейку и несусь к реке. Жую на ходу ржаную горбушку, запиваю сереньким киселем тумана. Город отсыпается после рабочей недели. Дворники со злорадством поджигают кучи листьев. Их место на голых ветвях тополей заняли воробы. Пока они молчат — солнца не видно. «Восход в 7:18. Заход в 17:19. Долгота дня 10:01», — твержу, как заклинание, цифры из отрывного календаря. Блеклые дымки газонов — будто от свежих воронок авиабомб. Улицы пустынно. В прифронто-



вом городе комендантский час. Ходу! — пока не зацапал патруль. Обгоняю телегу с дребезжащими бидонами; возница что-то кричит вслед. Жалкая гастрономовская кляча — не чета моему Боливару!

Церковь — это вот что: стены, облупившиеся до красноты кладки, загаженные голубями, испещренные надписями, не всегда приличными; порушенные узоры окон, дохлые кошки, горлышки бутылок и стойкий запах внутри. Чем не боевой форпост? Но выше дышать легче.

Извозив телогрейку — внутривстретный ход сужается кверху воронкой, — вползаю на колокольню. Колокола, само собой, нет и в помине. Петьки тоже. Свежо и гулко. Петькина фигурка — на дамбе, с удочкой. Вот хитрец! Свист у меня вполне командирский. Из-под купола шарахнулись голуби.

— А че такого, чес-слово! — не успев влезть на форпост, оправдывается Петька Хохряков. — Мост я и снизу засекаю... Полет нормальный!

По радио передавали запись старта «Востока-1». Искажённый помехами голос хладнокровно сообщал: столько-то секунд — полет нормальный. На Петьку это произвело громадное впечатление, как и на всех дворовых. Человека запускают в тартары, а он — «Полет нормальный!».

Эти святые слова Петька вставляет по малейшему поводу. Тоже мне, космонавт!.. Петька Окурков — щуплый, с бегаящими глазами, грязным носом-пяточком и всклокоченными волосиками — в отца. И выпить может, хотя ему на вид тринадцати не дашь. Всем желающим Петька объясняет, что у него тяжелое детство.

— К-курить нема? — у рыбака зуб на зуб не попадает. Удочку он спрятал в кустах у реки. От холодной воды руки у Петьки всегда красные, в цыпках, — грязь въелась под кожу.

— Полет норм!..

Кепку ему на уши, чтоб не болтал почем зря!

В церкви, пусть заброшенной, кощунствовать грех. А Гагарин — бог. И улыбка у бога хорошая. Любой пацан во дворе — да что там, в городе! — без запинки отбарабанит биографию Юрия Алексеевича. Когда он полетел в космос, все вывалили во двор, загомонили, побросали кепки вверх. Мужчины пустили по кругу бутылку. Участковый по прозвищу Батиста, краснорожий и кривоногий старшина, от избытка чувств пальнул из пистолета, а потом сокрушался: за патрон надо отчитываться. Его успокоили — вынесли из дома патроны того же калибра и запасной магазин к трофейному парабеллуму. Женщины и мама плакали. Думали, что наступил коммунизм.

Этим летом тоже был шум: в космосе очутились Николаев и Попович, — но пальбы уже не было. Зато Фидель, говорили, салютовал космонавтам на другом конце шарика. Всей обложкой. Самолично. Вот что значит барбудос! Они и америкашкам дадут под зад в Карибском море! В позапрошлую субботу мужики из нашего барака писали письмо Фиделю. Перечисляли награды и рода войск. Пока что с Кубы не ответили: там у них заварушка намечается. Американский империализм вконец обнаглел. У мамы в цехе был митинг. «Руки прочь», значит. Маме, как ударнику комтруда, дали слово, а она заплакала, испугалась чего-то...

— Батя заходил? — клацнул зубами Петька.

— Как обычно.

— Не говори Хромому про рыбалку, — затараторил он. — Если б не она, чес-слово, не встал бы! Я рыбу еще ни разу не проспал! Думаешь, спать неохота? Батя мамку всю ночь гонял, хотел к Батисте бежать, да мамка не дала. Синяк у ей, у мамки-то...

Петька Окурков — заядлый рыбак. Прошлым летом он в поисках червей подрыл забор у кладовок, и тот рухнул. Дворовая общественность в лице старосты Кургузова, непьющего персонального пенсионера, грозилась писать куда следует. Петька был нещадно выпорот отцом, поросячий визг Окурка разносился по всей округе. И еще. Однажды, когда мы с мамой сидели без денег, Петька приволок ведро хариусов.

— Ладно, не скажу.

— Полет нормальный! — Петька нашел окурков и, счастливый, попыхивает.

Я смотрю на город. На заводских трубах трепыхаются рваные простыни тумана. Ночь капитулирует. 7:18. Розовый шар едва касается островерхих гор и лопается ослепительными брызгами. Искристые капли солнечной влаги оседают на крышах и окнах, на кончиках антенн, строительных кранов и удочек заядлых рыбаков.



И в тот же миг золотом вспыхивает река. Я закрываю глаза. Драка начнется в сумерках.

— Чего ты? — шепчет Петька. Он дрожит.

— Солнце, не видишь?

— Вижу... — не сразу отзывается Петька. — Щас бы в колокол, а?

Встречный ветер ерошит чубы. Подобно большому кораблю, город плывет в пылающем мареве рек. С капитанского мостика видно далеко. Улицы корабля оживают. Бежит трамвай, урчат автомобили, люди-мураши потянулись к муравейнику-базару. Всюду кумачовые пятна — нашей революции исполняется сорок пять. Я люблю город. Знаю, вблизи он не так красив. С деревянными тротуарами и бараками, яблоками конского навоза на асфальте, пылью и очередями. Но это мой город. Мой, понятно?..

Неожиданно Петька кричит благим матом. Окурок прижег ему пальцы. И поделом. Нечего зевать в дозоре.

На мосту течет жидкий ручеек прохожих. В руках у них мирные авоськи. Детская коляска. Одиноким велосипедист. Девочка с собакой. Двое с удочками... Стоп! На мосту вооруженная колонна! Тьфу, да это пионеры тащат металллом. Их обгоняет трамвай. Но в него заудинская шпана с палками и прочим боевым скарбом не сунется. Пассажиров пугать — милицию кликать.

— Да кому эт надо! — морщится Петька. — Зауда спит детским сном... Слышь, лейтенант! В-в-ва...

Честно говоря, я бы с удовольствием отпустил Петьку. Толстые стены излучают январскую стужу. Колокольня наполовину замурована, но сквозняк чувствительный. После рыбалки, видать, особенно. Щебень, мусор, останки голубя под ногами. Надпись: «Дурак!» Обрывок веревки под куполом. Тоска.

И почему это на колокольне нет колокола?

— С утра не жрамши... — ноет Петька. От него воняет рыбой и дезертирством.

И торчат ему, горемыке, на форпосте, пока не сменят. И кто?! Борька-засоня. Покидаю товарища скрепя сердце. На войне как на войне...

Никто не знает, из-за чего сыр-бор и сколько лет война эта длится. Наверное, вечность. Когда я явился в этот мир, он уже враждовал. Боевое крещение получил в детском саду — вражеский младенец укусил за нос. Родной двор утешил и научил давать сдачи. Всучил рогатку, позже кое-что потяжелее.

О, месть сладка... Можно простить фингал под глазом, но унижение — никогда.

Заудинская шпана напрягла хилые свои мозги и обозвала нас барбосами. Нас — барбудос, сыновей Фиделя! Самое ужасное — прозвище пошло гулять по Городу. Только великая потасовка смоет наш позор!

Накачавшись злостью, я на всех парах прибежал во двор: «Команданте, полет нормальный!»

8:07. Тайна «полубокса»

Тут мой Боливар умиряет свой воинственный бег. Навстречу ему балетным шагом семенил Рада. «Рада всегда всем рада». Некоронованная королева при дворе барбудос. Белая шапочка, черные волосы, зеленые глаза.

Со мной что-то происходит. Поднимаю плечи, руки в брюки, походка, что в море лодочка. Эдак рассеянно поплеываю.

— Приветик, Аюр, — взмах сумочки, белозубая улыбка.

Меня назвали по имени! Презрение к женскому полу лопается мыльным пузырем. Губы растягиваются в глупой улыбке. Пятки вместе, носки — врозь.

— Привет, Рада! — счастливый, рычу в ответ.

Хорошее все-таки имя. Точь-в-точь про нее. Меня обдает запахом цветочного мыла и шелестом болоньевой курточки (последний писк моды!). Украдкой провожаю точеную фигурку. Могу поклясться, она и сейчас улыбается. Кому? Всему свету!

С некоторых пор на девчонок гляжу иначе. Сами знаете — как. Смутные желания бередят душу. Сильно подозреваю, что мои прыщавые соратники испытывают те же муки. Но кто же признается? Смелчака ждет худшее из наказаний — град насмешек.



Очнувшись от гипноза, устремляюсь в штаб. Находится он на роскошном чердаке четырехэтажного Дома специалистов. Высокие его окна и балконы сверху вниз смотрят в мелкие глазницы нашего барака. Я думаю, домам неудобно друг перед другом. Но что делать? Кочегарка и длинный ряд сараев с тыла запирают их во дворе. Нашем дворе.

Хромой Батор ждет в штабе. Хоть бы разок проспал!

— Поздновато... — стучит он ногтем по наручным часам: 8:07. Может, видел с крыши, как я истуканом стоял после улыбки Рады? Меня обдаёт жаром. Хромой Батор поглаживает шрамы на подбородке. Сердится. Ему можно: он наш команданте. Внимательно выслушивает мой рапорт, переспрашивает про мост.

Пылинки танцуют в косых лучах света. Ботинки пружинят на ковре из шлака. Над головами, царапая железо, ходят голуби. За смотровым окном пошумливает улица. Угол чердака мы отгородили досками и картоном. На столбах — вырезанные из «Огонька» портреты Фиделя, Гагарина, Титова, Гевары. Рядом — намалеванный от руки план города. Зеленый цвет — наша территория, коричневый, за голубой лентой реки — вражеская, нейтралка заштрихована. Скамейка, ящики. Штаб вполне приличный.

Прихрамывая, команданте подошел к карте и заговорил про боевые операции в Санта-Кларе и Плайя-Хирон. Узкое лицо с высоким лбом озаряется вдохновением. Длинноволосый, худой, злой. Вообще-то он жутко начитанный и странный. Расхаживает как раз над своей квартирой. Отец у него — большой начальник, на «Волге» ездит. А одевается Хромой Батор похуже Петьки Окурка. Вот и сейчас напялил на себя рваный свитер. Начал учиться на двойки, хотя до того ходил в круглых отличниках. И хромым-то стал непонятно — взял и прыгнул с кочегарки. Просто так, даже не на спор! Сперва я думал, что это из-за Рады — они живут на одной площадке. Выяснилось, он даже не здоровается с соседкой. При мне благовоспитанная Рада (музыкальная школа и балетный кружок) обозвала его хулиганом. Тот лишь усмехнулся.

Рада переехала в наш двор недавно. С ее появлением пацаны дружно перешли с куцей прически «бокс» на «полубокс» — волос там чуть больше и чуб подлиннее. Сужу, конечно, по себе. На большее не хватило духу. Длинноволосых беспощадно выгоняют из школы. Очередная волна репрессий. Что и грозит Хроному Батору. Если разумеется, не вступится папаша. У Рады отец тоже начальник, но поменьше — ходит пешком. И к нам заходит. Мама величает Максима Малановича «дорогим гостем». Я здороваюсь с ним за руку, верите?.. Как мужчина с женщиной.

8:23. «Родина или смерть!»

— Ты меня слушаешь? — подозрительно косится Хромой Батор.

Чего слушать-то? Про тактику партизанской войны могу и сам рассказать: «Родина или смерть!» И точка.

Раньше местные пацаны называли себя «шанхайскими». Вон на столбе вырезано: «Шанхай. 1958». И подпись некогда известного хулигана — «Мадера». Потом донеслось эхо кубинской революции, возникли барбудос и Хромой Батор. Звание команданте стоило ему разбитого носа.

— Давай проверим твою игрушку. Я достал еще...

В ладони команданте блестит желтый патрончик мелкого калибра.

Пистолет!.. Признаться, совсем про него забыл. Изображаю на лице дикий восторг. Боек и ствол выточили с Петькой в школьной слесарке, под видом детского технического творчества. Мы были вынуждены: на другом берегу Уды мелькнули ножи. Пусть это слухи. Даже в мыслях преступившего неписанный закон города ждет кара. Кто сеет ветер — пожнет бурю. Так и заявил Хромой Батор. Мы подняли сжатые кулаки.

Если вынуть в стене кирпич — увидишь тайник. В промасленной тряпиче — грозное оружие возмездия, запакованное в железную пистонную хлопшуку за семьдесят копеек.

Усмехаясь, Хромой Батор пригвоздил к столбу газетный клочок: тощий великан в цилиндре, полосатых штанах, с козлиной бородкой и волчьим оскалом. Он стоит по колено в воде и размахивает над островком пузатой бомбой, на которой начертана буква А.



Выстрел грянул со второй попытки, но не хуже, чем в кино. В правом ухе зазвенело. Где-то мякнула кошка. Ошалело стуча крыльями, голуби ринулись с крыши. От столба шла пыль.

— Попал! — чихнул Хромой Батор.

Пуля вырвала из рук великана бомбу. Я понюхал ствол. Почему-то воняло чесноком.

— Здорово! — Хромой Батор подобрал щепку, — почти с ладошку.

С той поры как подбил из рогатки голубя, слышу во дворе за меткого стрелка. В лейтенанты произвели и пистолет доверили. А кому интересно, что при стрельбе закрываю глаза?..

— Это еще что! То ли дело по движущейся мишени! — расхвастался я не на шутку.

— Да, да... — бормочет команданте. — Проклятые гринго...

Искупавшись в пыли, мы нашли-таки у стены пулю. Она сплюсчилась и теплая.

— Отца вызвали ночью, — вдруг говорит Хромой Батор. — До сих пор нет...

Ого! Хромой Батор заговорил про отца. А то можно было подумать, что он сирота.

— Давай еще, — чихаю я.

— Надо беречь патроны, — встряхивается команданте.

Мы заботливо укутываем пистолет в тряпицу, прячем в тайник. Меня заставляют повторить приказ: стрелять при малейшей угрозе холодным оружием.

— Еще есть время отказаться, — добавляет команданте. — Добровольцы найдутся...

— Я готов! Заход солнца в семнадцать девятнадцать! — рычу в ответ. По спине бегут мурашки.

— Так я и думал, — давит мое плечо команданте. — Родина или смерть!

Совсем стемнеет к шести часам. Он вчера засекал. Конечно, в темноте можно огреть и своего. Зато легче убежать от милиции. Мы встанем спинами к нежилому бараку, чтобы не обошли сзади, и будем теснить противника к свалке. Там ему и место.

Хромой Батор снимает с руки часы.

— На! Не опаздывай больше. После боя вернешь.

Корпус часов чуток облез, стекло мутноватое, но за ним неумолимо стучат шестеренки и гордой вязью светится: «Победа». О, «Победа»! Предмет зависти всего двора. 8:23. Команданте верит в меня!

Пожарная лестница наверняка покрыта инеем и скользкая. Да и поддувает. Спускаемся через внутренний люк Дома специалистов.

И попадаем в дружеские объятия Батисты.

— А-а, барбосы, с приземлением!

Из-под синих обшлагов вылезают огромные волосатые ручищи и клешнями ухватывают наши загривки. Сейчас мы, наверное, похожи на елочные игрушки. Усы Батисты топорщатся. Блестят яловые сапоги.

— Мы вам не барбосы! Немедленно отпустите!

Хромой Батор тщетно пытается сохранить достоинство в висячем положении.

— Не брыкаться! Кто стрелял? Ну?!

Участковый хватает команданте за ухо — немислимая дерзость! Но — ни звука. Даже под пыткой барбудос не назовут адреса и явки.

— Мне все известно, барбосы! И так жильцы жалуются! Ну?!

— Ой, ой, дяденька, не знаю!

Кажется, это кричу я. Ухо горит огнем. Пахнет ваксой и еще чем-то казенным.

— Погодите, бамлаговцы! Я вам покажу чердачную жисть!

Команданте незаметно подмигивает. Чердак отменяется. Сбор в полевом штабе.

— Кто стрелял? А?! — крутит ухо старшина. Слава богу, не мое. И неожиданно вскрикивает. Клешни на миг ослабли. У Батисты замечательно кривые ноги — ныряю меж ними. Треск хлястика — проклятье! Зато Хромой Батор, подпрыгивая, катится вниз,

— Пусти, Батиста!

— Кто Батиста? А ну, пройдем!..

— Отпустите его, старшина!

Команданте вернулся. Зачем?
 — Беги, Батор, он меня в милицию-ю!..
 При слове «милиция» просторная лестничная клетка заполняется жильцами. Халаты, бигуди, шлепанцы, животы, подтяжки.
 — Верна-а! В милицию его!
 — От них грязь одна!
 — Житья нету! Повадились сюда, шпана барачная!
 — Заткнись, крашенная! — кричит Хромой Батор.
 — Ах! И этот тут! У такого отца — и такой сын! Распустил космы! Начальство, так все можно?!
 — Молчи, дура! — шрам на подбородке ожил и посинел.
 — Ах! Милиция, что вы позволяете! — стонет рыжеволосая в бигудях.
 — Вы первая начали!
 — Я?! Ужас! Ужас!
 — Он вам не барачный!
 — Вот как? Интересно, тогда кто он?
 — Он... он... — Хромой Батор запинается. — Он... человек! Человек!
 «... век-век!» — четырехэтажное эхо бьется о стены. А вдогонку — смех.
 — Прекратите, как вам не стыдно!
 Голос чистый и звонкий. Рада! Прекрасные зеленые глаза пылают гневом.
 Смех умолкает.
 — Погодите, бамлаговцы, доберусь я до вас, — трет коленку старшина и дзинькает подковками до самого первого этажа.
 Сдвигаю набекрень кепку, чтоб не увидела догорающее ухо. Задираю рукав — там, где часы. Напрасно! Лучистые глаза обращены на команданте.
 — Кто тебя просил лезть... — бурчит Хромой Батор.
 Рада подходит ближе. Шуршит болоньевая курточка.
 — А ну, катись отсюда! — кричит Хромой Батор. — Ходишь по пятам! Девкам нам не хватало! Нашлась... защитница...
 Рада, представьте себе, улыбается!
 Покраснев, команданте добавляет крепкое выражение.
 Рада вздрагивает и быстро уходит. Внизу хлопает дверь.
 Зря это. Между нами, мальчиками, говоря, Рада — та девчонка, которая может присниться. Впрочем, мне-то какое дело... Я смотрю на часы «Победа».

9:00. Это идут барбудос!

Слышишь чеканный шаг?
 Это идут «барбудос»!
 Песня летит над планетой, звеня:
 «Куба — любовь моя!»

Какой-то сопляк сидит на поленице и, отчаянно перевирая мотив, стучит в такт палкой.

— Эй, не свались!
 — А меня возьмете? — тотчас свалился он с поленицы; по виду второкласска. — У меня и рогатка есть...

На сопляка ноль внимания. Пересекаю двор. У барака чисто: за ночь ветер-дворник согнал листья к углу кочегарки. Небо тоже подмели как следует. Ни облачка. И солнце — рыжее, что яичница. В животе урчит. 9:00. Староста Кургузов заступил на дежурство — его лысина светится в окне. Следит за порядком. По нему можно сверять часы.

Так и знал! Дозорный валяется в постели. Борька Болебых — не Кургузов, это точно.

— Больше не буду! — Борька зевает и путается в штанах. И в школе по-вторяет то же самое. У засони узкие плечи, пухлые животик и попка, весь облик напоминает грушу. И в кого он такой? Болебых-старший — как жердочка. Вечный труженик с печальным носом. Он, нос, как раз выглядывает из кухни.

— Молодые люди, пожалуйста завтракать.



— Папа, вы не беспокойтесь... — Борька тянется к телогрейке.

— Борис! — трагически восклицает Бодембах-старший. — Ты говоришь невозможные вещи!

Всякий раз меня убивает вот это. Борька выкает отцу, а тот величает его Борисом, не иначе.

— Борис! — Семен Самуилович округлил масляные глаза. Теперь Бодембах похожи. И носами, и волосами — курчавыми, смоляными. Самое возмутительное — Борька в открытую бреется отцовской бритвой. Иногда Бодембах-старший взбивает сыну пену. Какая-то чудовищная несправедливость: засоня и трус решил обзавестись бородой.

Дело в том, что «барбудос» в переводе с кубинского...

— С испанского, — вежливо поправил Борька.

Случилось это летом, за сараями.

— При чем тут испанцы! — закричал Петька Окурочок и сплюнул сквозь зубы. — Думаешь, не знаем! Ха! Не посаран, понял?

— Во-первых, «но посаран»... — начал Борька.

— Врешь ты все! — отшвырнул окурочок Петька. — Куба — да, янки — нет! Как дам по уху!

— Кто — я вру?! — округлил глаза Борька.

Петька говорил невозможные вещи.

— Пацаны, чего зрите! Бей провокатора!

Петька несильно толкнул Борьку в грудь. «Провокатор» не отступил.

Но пацаны, воробьями облепившие поленницу, угрюмо ковыряли в носках. Сказанное походило на правду. И то что Борька, против обыкновения, не струсил, говорило за себя.

Спорщиков разнял Хромой Батор. Петька сразу же потребовал папирос и доказательств. Борька вынес из дома отцовскую беломорину и книжку с пальмой на обложке. Ткнул в подчеркнутое: «барбудос» — бородачи.

Н-да... С бородами у нас неважно. Стать бородачом мог только Борька. В пятом классе у него прямо на уроке выросли усы. Трогать их давал за две ириски. Борька начал бриться, чтобы «волос был гуще», с той поры шеголяет по двору с синими щеками, чем выводит из себя Петьку. У того даже пушка на губах не намечается. «А я виноват? — оправдывается он. — Детство чижолое, чес-слово!»

На следующий день после спора все появились с мелкими порезами на подбородках. У Хромого Батора под нижней губой алел шрам. Петька заклеил щеку пластырем. Тут уж обидно стало мне. По-настоящему обидно. Хоть и тайком, но у пацанов есть чем бриться. А мы живем с мамой. Бритвы в нашем доме нет..

— Семен Самуилович, если можно, дайте Борису сухим пайком. Мы торопимся, — сглатываю слюну и дергаю за рукав Борьку. Будущий бородач внимательно разглядывает в зеркале свои щеки.

Семен Самуилович не понимает, что такое сухой паек. Беда с этими штатскими лицами!.. Бодембах-старший работает женским парикмахером. Честное слово, не вру. «Дамским», — поправляет он. Борька рассказывал, что папаша на коленях обещал мамаше перейти в мужские парикмахеры.

— Молодой человек, скажите, а дежурство у Бориса не опасное? Колокольня без колокола, знаете ли... И вообще...

Семен Самуилович мнется и сует термос.

Так! Борька успел проболтаться обо всем отцу.

— Боялся проспать, — умоляюще выпучился он. — Не говори, а?

Ладно уж. Собственно говоря, Борька не засоня. Просто любит читать по ночам книжки. И контрольные дает списывать.

Ястребиный взор старосты Кургузова провожает нас за ворота. Я несу термос. Борька вращает синими щеками — уплетает колбасу с хлебом. Петька Окурочок прокладывает нас на колокольне.

Хлопаю «бородача» по спине.

— Чао! — откашлявшись, кричит он.

Борьке на форпост, мне — на базар. Дела, дела...



9:22. «Сдачи не надо!»

Базар у нас не настоящий. Не тот размах, что ли. Ни кокосов, ни верблюдов. Хоть бы ишак какой объявился! Где истошные крики менял и продавцов воды? Где звуки труб и толпы паломников?

«Разве это базар?» — возмутился бы Борька.

Правда, крику у нас тоже хватает. Вон семейская тетка, укутанная в платки, бусы и юбки, ругает мужичка. Мужичок не поддается, требует сдачу. При этом крикуны с колоссальной скоростью щелкают кедровые орехи. В заплечном мешке верещит поросенок — не хуже ишака, однако.

Вдоль некрашенных деревянных рядов — жуткие улыбки свиных рыл, бараньи туши и венники, горки сала и картошки, вскрытые бочки квашеной капусты, соленых огурцов и омулей... В животе урчит с новой силой. Старушка в дэгэле и старик в ичигах курят трубки и шупаюта тарбаганьи шкурки. Усатый дядька гнусавит в окошечке, наливает вино из чайника в стакан, чмокает алыми губами и глядит на солнце. Манит улыбкой: «Малчик, малчик...» Я качаю головой.

Пить нельзя. Таков приказ.

Если кто помалкивает на базаре, то это сапожники-китайцы. Зажмут губами гвоздики и без передыха стучат в своих будочках.

Вдруг на углу вспыхивает драка. Там играют в «три наперстка». Парень в тельняшке ухватил очкарика за волосы, а тот пинается. Визжит поросенок. Солдатский патруль уминает позы, розовые щеки лоснятся. Над ухом брызгают слюной: «Чтоб ты сдох!...» Торговцы снедью — подозрительно вкусными пирожками — ожесточенно спорят о достоинствах старых и новых денег.

Драка прекращается. Зеваки идут к другому углу, где появилась местная знаменитость — дурачок Гриша по кличке Гитлер Капут. Долговязый, рябой, он хрумкает огурцом. В карманах рваного пальто добыча — горлышки пустых бутылок, в глазах — блеск привалившего счастья.

Паши Адмирала пока не видно. Летом и зимой он ходит в сапогах. Забредя на лужу, Паша отдает морские команды: «Торпедные аппараты, то-овсь!» Чем не адмирал?

В отличие от Гриши и Адмирала, дурачок Дима ведет себя на базаре тихо. Никто не знает точно его возраст. Говорят, Дима служил в органах в звании капитана — в сером доме на площади Советов. Однажды во время допроса он нечаянно выстрелил из пистолета. Пуля срикошетила и попала в портрет вождя. На этой почве Дима свихнулся. Он мог на морозном трамвайном окне одним мазком нарисовать портрет Ленина — сам видел! Дима появится на базаре ближе к обеду с пачкой старых газет. За это торгаши дадут ему не только покушать, но и мелочь медяками.

Завидую дуракам. Их все любят и подкармливают. Стоит дураку подойти к лотку — туда валом валит народ. После Гриши полбочки соленых огурцов как не бывало. Все кругом хрумкают. Я тоже — стибрил под шумок. Торгаши и стараются улестить Гришу. Потому он всегда сыт и пьян. Если не возьмут в космонавты, говорит Петька Хохряков, пойду в дураки.

Сожрав огурец, Гриша читает стихи. «Собственные».

— Я пришел к тебе с приветом! Кхе... — дальше он путается и плюется с досады. Ему хлопают и подносят стакан вина.

— Гитлер капут! — крикнув, объявляет он. Хохот. Гриша кланяется, как артист. Следующий номер программы — жужжанье мухи о стекло, визг поросенка и застарелый анекдот про кукурузу. Дураку можно. Хохот и улюлюканье.

Один я не смеюсь. Давняя встреча не дает покоя. Первоклашкой занесла меня нелегкая на дамбу. Гриша собирал там бутылки. Увидев известного в городе дурака, я испугался и заревел.

«Не бойся, глупыш, — ласково молвил Гитлер Капут. — На-ка яблочко...» Отказываться было глупо. «Учишься? — погладил он ранец. — Учись хорошо. И не бойся, слышишь? Никогда ничего не бойся».

Он задрал кверху рябое лицо, пошурился на колокольню: «А вот колокола нету... Беда, беда...»

Гриша вздохнул, звякнул бутылками, обернулся: «Вырастешь, вспомни обо мне. Жил, мол, в прошлом веке один дурак. Яблочком угостил... Ладно?»



Яблочко было сладким — с базара...

...Внезапно Гриша обрывает поросячий визг и убирается восвояси. Но толпа звек не расходится. На арене базара возникает нелепая фигура. Заклятый враг Гриши одет в женскую кофту, шляпу и мокрые валенки. Дурачок часто взмахивает руками, вкочует и шипит что-то под нос, точно примус. Если прислушаться к Примусу, можно узнать всякую всячину. Как рубить лес и стряпать рыбный пирог, отчего падает курс акций, почему колокольня без колокола и кто убил Кирова.

Потом, вздрогнув, Примус монотонно бормочет: «Не знаю... Ничего не знаю...»

Заметив толпу, Примус дергает сивой бородашкой: «Строиться, гады! На лесоповал! Без права переписки!» Народ хохочет. Дураку дают кусок сала. Он прячет его в валенок — про запас.

Гриша и Примус никак не могут ужиться. Это совершенно необъяснимо. Жратвы на базаре хватило бы и на вагон дураков. Однажды Гриша дурацким своим умишком додумался-таки и в знак примирения подал при встрече надкушенное яблоко. Примус запустил им благодетелю в нос, отчего пошла кровь. Обиженный не остался в долгу. С криком «Гитлер капут!» метнул в товарища по несчастью горсть квашеной капусты... Повеселились от души.

А вот и дурочка. Она пока что без прозвища — на базаре недавно. Распустив космы и закатив глазищи, утробным голосом возвещает конец света и священную войну. В городах останется по пять человек, в деревнях — по одному, а спасется тот, кто окажется у горы. Земля будет сожжена на сто локтей в глубину. Примус беспокойно хрипит: «Не знаю... Ничего не знаю...» Народ мгновенно расходится, и косматая уходит несолоно хлебавши. Так ей и надо!

То ли дело веселый безыгий чистильщик! Орудует щетками как заправский жонглер, пристукивает ими в лад песенке:

Раз — ботинок, два — каблук,
Стук — копейка, рубль — стук.
Раз — ботинок, два — каблук,
Выходи плясать на круг!

А ботиночки-то — как у багдадского вора, с форсом. Лаковые, черный низ, белый верх. Каблуки — что копыта. Взмах бархотки — и острые носы туфель пускают зайчики. Вырасту — заведу такие же.

В баночку с медяками летит рубль. Ого! Старыми деньгами — червонец.
— Сдачи не надо! Выпей, земляк, за здоровье Мадеры!

9:22. На горизонте всплыл Мадера. Бывшая гроза городских окраин, родом с нашей улицы. Последний раз, болтали, залез он в винный ларек, где его, пьяного вдрызг, и сцапали. Дружков Мадеры во дворе не осталось. Кого в армию забрили, кого в тюрьму. Родственники надеялись, что Мадера там и сгинул. А он, вишь ты, рожу наел! Когда-то Мадера мимоходом щелкнул меня по уху. Такое не забывается... Та же челка, будто приклеенная ко лбу, хрящеватый нос и тонкие бесцветные губы. Разве что золотую коронку вставил и усики отпустил. Экий пижон! Брюки — клеш, белый шарф, новая телогрейка. И серу жует.

— Че, суконец, зыришься? Соску дать? — ощерился Мадера. Зубы мелкие, желтые.

— Ты — Мадера... — вырывается у меня.

— Ишь, козявка, узнал! — перестал он жевать. — Шанхайский, че л?

— Ага. Только мы теперь барбудос.

— Чего-о?! — загоготал Мадера. — Какие такие... барбусы?

«Газеты читать надо», — мысленно ответил я и пошел дальше.

— А ну, щенок!.. За ноги и об угол! — потрянул так, что клацнули зубы. — Тыкву расколоть?! Стой, покуль Мадера базарит... Сколь вас во дворе... этих самых...

— Барбудос? Три взвода.

— Чего-о?! А вы, зырю, пацаны деловые! Наш закал, шанхайский!

Мадера выплюнул серу и поволок меня к заветному ларьку. Не обращая внимания на лопотанье усатого хозяина, хапнул чайник. Бросил в окошечко красненькую: «Сдачи не надо!» Лопотанье смолкло.



Пристроились мы в будочке безногого чистильщика. Он шумно обрадовался чайнику, подтянулся на могучих руках и сел на табурет. Мадера расплескал по стаканам вино и присосался к носику чайника.

— С возвращеньцем, значит, — сказал безногий. Стакан в его руке исчез.

— Угу! — утер рот Мадера. — Трешник, понял? От звонка до звонка! Мусора, паскуды! Вышел — ни друзей, ни блядей... Пей, пацан.

— Не рановато ли? — чистильщик покосился на портретик Сталина, приляпанный изолянткой к стеклу. Будочка чистильщика — тихий островок в штормящем море базара.

— Я раньше начал! — ругнулся Мадера. — Пей.

Под одобрительные смешки я глотнул, успел распахнуть дверку и выблевал назад.

— Кислятина, — бодро сказал я, — то ли дело кубинский ром!

— Разбежался... Тока добро переводить, — проворчал Мадера и отобрал стакан.

— Ты ешь, ешь, — улыбнулся безногий.

На газете лежали колбаса, хлеб, лук, сало. Минутой раньше набросился бы волком... Сейчас не хотелось. Подташнивало.

Мадера вынул ножик с наборной ручкой, подцепил кружок колбасы.

— Кто там у вас мазу держит? Ну... главный.

Я рассказал про Хромого Батора и грядущую битву. В животе стало тепло. Голова слегка кружилась. Заслышав про драку, Мадера оживился.

— Пацаны деловые! Да мы такое сварганим! «Гоп-стоп!»! Каждому по часикам! А энтим заударам лично хари попорчу! Как, возьмете в барбосы?

Мадера загоготал и полакал из чайника.

— Туточки одна фатера... — тихо и жарко задышал перегаром Мадера. — Форточка ма-ахонькая... Как раз по тебе...

— А без артподготовки — это как?!.. — взревел чистильщик и стукнул кулаком по табурету. Газета намочла от вина. На изрезанном морщинами лбу выступил пот. — Сволочи!

— Падлы, — согласился Мадера.

— Бабы нету, — уронил голову чистильщик. — Эх!..

— Это мы запросто! — хрюкнули напротив. — Такие стервы водятся!

— Сынок, — уставился на меня тяжелым взглядом безногий. — Не слушай, а?..

— Ниче-е! — повел носом Мадера. — Я раньше начал! Пацаны деловые!

Незамеченный, улизнул. Безногий чистильщик плакал, Мадера пел про Колыму и старушку мать. Чайников было два...

— Где шляешься? — сердито сказала мама и кинула мне халат. Я взялся за ящик и покачнулся.

— Тебе плохо? — мама замерла над кучкой гнилых овощей.

— Готов к труду и обороне, мам! — отвернулся, чтобы не выдать себя запахом. — Эй, дядя, поберегись!

И с вымученной улыбкой я принялся таскать ящики за прилавок. От ящиков несло тухлятиной. Это вам не частная лавочка!

Овощторг открыл на базаре воскресный филиал. Мама устроилась туда подсобным рабочим. Мы сидели и перебирали вонючие, склизкие помидоры. Мама ничего не чувала. Продавщица над нашими головами воевала с очередью. Все дружно ругали новые деньги. Мама тоже. Большой, винного цвета помидор лопнул и растекся у меня в руках. Я опрокинул ящик.

За забором меня вырвало. Я полакал ледяной водички из колонки, утерся телогрейкой. Стало легче. На небе вспухли сизые облака. За штабелями пустых ящиков бубнили о своем алкаши. Охота же им пить всякую гадость... Проходя рядом, услышал знакомое шипение.

— Не знаю... Ничего не знаю...

Примус! Интересно, что он на этот раз отмочит?

— Побалдели — и хватит, — этот голос тоже где-то слышал.

Я припал к штабелям. Сквозь щель увидел Гришу. Гитлер Капут что-то терпеливо втолковывал со стаканом в руке. Примус мычал и глядел в небо.



— Ты это брось! — наконец вышел из терпения Гриша. — Я тебе не вертухай! Лапшу на уши!.. Видел я тебя на пересылке, понял?

Гриша притянул за грудки Примуса. Шляпа скатилась, обнажив седую, как снег, голову.

— Не знаю... Ничего не знаю...

— Идиот, — устало сказал Гриша.

На ящиках был накрыт стол. Всего понемногу, чем славен был осенний базар 1962 года. И конечно, чайник. Гриша явно подлизывался к своему неразумному собрату.

— Били меня... — глядя в сторону, буркнул Гриша. — Единственный способ вырваться... Скажи, не бойся. Тебя никто не будет бить. Посмотри, посмотри на меня! Узнаешь? Скажи, не бойся...

— Не знаю... Не знаю... — озираясь, захрипел Примус.

— Черт! — схватился за голову Гриша. — Может, ошибся... Столько лет прошло... Но ведь это был ты — тогда, на пересылке... Неужели ошибся? Там много было... Ты, ты! Кончай дурака валять!

— Не знаю... Ничего не знаю... — быстрее залепетал дурачок.

— Ладно... Ты прав. Кушай, кушай...

Примус взмахнул руками, нахлобучил шляпу и накинулся на еду. Громко чавкал, лез грязными пальцами в рот, жирные ладони вытирал о кофту, от нетерпения елозил валенками. В бороденке запутались рыба чешуя и хлопья капусты. Гриша глядел на товарища с жалостью. Издав горлом странный звук, отвернулся.

Я переменял занемевшую ногу. Под ботинком хрустнуло. Гриша обернул в мою сторону встревоженное лицо. В глазах плеснулся испуг. Сквозь щель я видел, как медленно глупела рябая Гришина физиономия. Нижняя губа оттопырилась: пронзительно заверещал поросенок.

Примус вздрогнул, ударил Гришу по голове чайником. «Гитлер капут!» — дал сдачи Гриша. Чайник летал над головами. По щекам и бороденке лилось вино. Стол переговоров был опрокинут, дары осени втоптаны в грязь. На шум уже бежали зеваки. Побросав стеклотару, Гриша ускакал в проулок. Примус прятал в валенки соленые огурцы.

— Где шляешься? — проворчала мама. — Не сидится ему... Уроки сделал? Иди уж...

Мама отобрала у меня веник, подтолкнула.

— Сынок... — окликнула, помялась. — Если придет Максим Маланович... Впрочем, я сама... Иди!

Продавщица в замызганном халате бранилась с покупателем. Оба с чувством поминали старые деньги, старую жизнь. Да пропади она пропадом!

Нет, базар у нас не настоящий...

10:50. «Встать! Суд идет!»

Такой теплой осени не припомню за неполных тринадцать лет. Пацаны купались в Уде до середины сентября. Петька Хохряков — тот вообще ночевал на реке у костра. Развлекался тем, что пугал влюбленные парочки. И такой красивой осени не припомню. Сейчас-то лист облетел, а еще недавно Уда манила серебром в золотисто-рубиновой оправе перелесков.

Мой Боливар галопом несется вдоль дамбы. Скрипит кожаное седло. Рядом наперегонки бежит река. Копыта цокают о гравий. Кусаю встречный ветер. Красота! Боливар встряхивает гривой, пускает из ноздрей клубы пара. В груди холодно и легко. На повороте верный конь обгоняет реку и устремляется к форпосту.

Победное ржание Боливара не потревожило дозорного. Я посвистел еще. Колокольня зияет пустотой и тишиной. Неужели Борька ухитрился заснуть в этакой холодине? Бр-р... 10:50. Вижу дезертира! Помогает Петьке удить рыбу, возится с крючком. А до пересмены целых десять минут!

Застигнутый на месте преступления, Борька не знает, куда девать мокрые до локтей руки.

— Хорош! Мало того что проспал... Петька ждал на колокольне, ждал... — тон у меня вполне учительский.



— А он и не ждал! — обрадовался нарушитель.

— Че врешь, че врешь! — облизнул губы Петька. — Ждал я там, ждал! От и до!.. Был бы колокол, узнали бы!

Ногой Окуроч пытался загородить банку с хариусами. Рыбки разевали рты — молили о пощаде.

— Я — врун?! — округлил глаза Борька. — Сам позвал...

— Как дам в ухо! — подскочил Петька.

— Сам позвал, сам позвал... — отбежал на безопасное расстояние Борька. Петька погнался следом, держа удочку как копьё. Борька верещал не хуже поросенка.

— Встать! — гаркнул на них я по-командирски.

— Ну... стоим... — запыхавшись, остановились рыбаки.

Я выпустил хариусов на волю. Они махнули на прощание хвостами. По реке плыли белые рыбки — льдинки. Тонкое стекло припая звенело комариным писком: «Ти-и... ти-и...»

— За что? — ужаленный, набычился Петька. Борька поддакнул.

— Суд идет! — скорчил я свирепую рожу. Пусть прочувствуют глубину своего падения.

Это произвело впечатление. Подсудимые примолкли.

— Вы дважды нарушили... Самовольно оставили пост. Да за это в военное время!.. А Борис еще и проспал! Я обязан доложить Хромому Батору.

— Больше не буду, — без выдумки промямлил засоня.

— А я виноват? Мое дежурство самое первое... Бр-р... Да еще без курева...

Я пошел к форпосту. Дезертиры не отставали. Команданте с такими не чикается — гонит в шею. Пусть идут куда глаза глядят — хоть в детскую музыкальную школу.

Петька понял, что на этот раз словами меня не разжалобить. Протянул сложенный вчетверо газетный лист.

— Во! Уважительная причина. Чес-слово. Тяжелое семейное положение. И куда смотрит общственность! — сообщил Петька бабьим голосом. Шмыгнул носом-пяточком, поморгал глазками. Еле-еле выдавил слезу.

Я разглядел газетный клоч.

«Хохрякова Анна Алексеевна, проживающая по ул. Шмидта, 18, возбуждает дело о разводе с Хохряковым Коминтерном Павловичем, проживающим по ул. Шмидта, 18. Дело подлежит рассмотрению в народном суде Советского района г. Улан-Удэ».

Ну и ну! Ул. Шмидта, 18 — наш барак. Не было субботы, чтобы Петькины родители там не разводились. Как положено. С криком-руганью. Но чтобы через суд... Допек-таки Коминтерн Палыч свою Хохрячиху на почве бытового пьянства... А Петьку жаль. Ему нужна поддержка коллектива.

Я повертел газету. Числа и даты не было. Наверное, Петька содрал ее с тумбы.

«Прекратить испытания ядерного оружия!», «Задание партии выполнено: в Бурятии выращен початок молочно-восковой спелости!», «Атомные маньяки», «Кеннеди бряцает оружием», «Сверхвыстрел русских!», «Заседание Совета Безопасности», — кричали заголовки.

Н-да... газетка свежая... Петька не врет.

— И в школе показывал, — Петька бережно сложил газету. — С уроков теперь отпускают. Чес-слово! Курить нема?

В конце концов... я тоже нарушил приказ. Выпил перед боем.

— Но чтобы это был последний случай!

Барбудос повеселели. Петька нашел окуроч. Борька погладил синие щеки и побежал на колокольню.

Я свистнул. С колокольни помахали. 11:00. Смена постов. Форпост продолжает наблюдение.

— Бом! Бом-м! — подражаю я колоколу.

— Бем-бем-бем! — колокольчиком заливается Петька.

1:15. «Мамаюкэру!»

К этому часу жизнь во дворе бьет ключом. Меж столбов на вешалах сохнут простыни. Рядом выбивают половики. Под ногами мешается мелюзга, играет в чику на «ушки» — лимонадные пробки. Пара колясок. Девчонки прыгают через скакалки. В беседке похмельные папы бренчат мелочью. Наскребут на троих — и в баню. Староста Кургузов осуждающе глядит на них из окна. Солнце светит, но греет на троечку. В серенькое небо чадит труба кочегарки — в Дом специалистов дали отопление. На лавку выползли бабки. Наши барачные старухи держатся от домспецовских в стороне. У тех своя лавка, а кроме того, балконы. Но сейчас на них трясут ковры. Слышно, как за углом с хеканьем колют дрова. В барак снуют пацаны — с полными ведрами и охапками поленьев. Воскресенье — день грандиозной стирки. В раскрытом окне стонет радиола: «Мамаюкэру! Мамаюкэру!..» И этак — без конца. Будто пластинка заела. На самом деле — песня такая. Крик моды.

За сараями, словно пенек на опушке, торчит бетонная будка. Издали смахивает на фашистский дот. Спокойно, граждане. Это всего-навсего аварийный выход из бомбоубежища. Находится оно в недрах Дома специалистов. Берегли их, выходит, спецов-то. Да что-то плохо. Полдома еще до войны съехало в неизвестном направлении, как в воду кануло. Возможно, так оно и было. Мужики в беседке сказывали. На место бедолаг-спецов и их семей въехала громкоголая шушера. С бигудями, пижамами, кошками, фикусами и песенками типа «Мамаюкэру». Из грязи в князи. Хромой Батор их тихо ненавидит. Даже кошек.

Бомбоубежище и есть полевой штаб барбудос. Вход свободный — кому не жаль костюма. Надо нырнуть в амбразуру бетонного дота, зажав нос, и, не жалея живота своего, проползти метров пятнадцать наперегонки с крысами. Осторожно, не ушибите темечко о стальную дверь. Смелее, она не задраена... Можно попасть в убежище и пешком через подъезд, под лестничной площадкой дверка, — замок открывается гвоздиком. Но ползком, согласитесь, куда интереснее.

Задумано бомбоубежище на полном серьезе. Пять отсеков с массивными стальными дверями на винтах. Как на подводной лодке. Только лодка эта давно лежит на дне. И дышать трудно. Там и сям противогазовые и телефонные трубки, фильтры, раздавленные линзы, рваные сумки с красными крестами, поваленные скамейки и емкости с надписями «Вода», «Топливо». Раздетый до скелета электродвигок, кишки проводов, выпотрошенные насосы, блоки питания. А также битые бутылки и стаканы, тряпье, вонь. С некоторых пор сюда повадились темные личности.

Однажды книжечей Борька вычитал, что вместе с запасом воды, воздуха и питания в убежищах бывает и золотой запас — в виде слитков. Только запрятано оно в тайнике, в свинцовом контейнере. В золото мы как-то не верили, но свинцом Петька заинтересовался — это ж сколько рыбачьих грузил! Я согласился из солидарности. Еще подумают, что струсил. Половину найденного сокровища решено было отдать героической Кубе. На золото можно купить гору оружия, а лучше — атомную бомбу.

Мы взяли с собой сухари, китайский фонарик, коробок спичек, лопату, моток бельевой веревки, бутылку лимонада, зачем-то соль и сорок копеек, черные очки и хозяйственную сумку для золотых слитков. Наглотавшись пыли, впихнули себя внутрь. Колени и локти горели. Потайных люков и ходов нигде не было. Но в дальней, пятой по счету комнате храпел на скамейке таинственный незнакомец. Он зевнул при свете китайского фонарика и отобрал у нас сухари, коробок спичек, лопату, моток бельевой веревки, сорок копеек, зачем-то соль, сложил все это в хозяйственную сумку, выпил бутылку лимонада, оставил черные очки — и ушел, подсвечивая себе фонариком. Да, чуть не забыл! Прихватил еще Борькин шарф домашней вязки.

В кромешной тьме блуждали на ощупь. Стукались лбами об углы и друг с другом. У ног рыскали крысы. Кричать было бессмысленно, но мы кричали. Склеп отвечал издевательским хохотом. Борька нацепил черные очки. В них, видимо, было не так страшно. По счастливой случайности Петька упал на разбитый телефонный аппарат. «Папа!», «Мама!» — эти золотоискатели вырывали из моих рук трубку и зачем-то дули в нее. Трубка хранила гробовое молчание. Борька был близок к истерике. Петька мужественно поскуливал и тщетно искал на полу окурки. Спичек не было. Прогоняя тошноту и слезы, я бодро засвистел: «Мамаюкэру! Мамаюкэру!..»



Вылезли на поверхность Земли шахтерами-стахановцами. Ноги подкашивались. Руки дрожали. Все было черным. Ночь, мы сами и очки.

Дома Борьке влетело за китайский фонарик и шарф, Петьке — за моток бельевой веревки и сорок копеек, мне — за хозяйственную сумку для золотых слитков.

О приключении в бомбоубежище вся троица благоразумно помалкивала — не дадут же во дворе прохода!

Кочегар дядя Саня долго удивлялся, куда пропала лопата.

11:30. Что-то случилось

Возле Дома Специалистов, вздымая пыль, тормозит грузовик. У бетонного дота уже суетятся люди. Как из-под земли выросли милиционеры.

— Куда, мальчик? Назад! — преграждает путь синяя шинель.

«У меня приказ, сержант», — мысленно возражаю ему.

— Расходитесь, граждане, расходитесь! Ничего интересного!

Как бы не так! Страшно интересно. Стар и млад — все тут. Староста Кургузов прилип к окну. И Батиста здесь; ишь, раскраснелся от усердия.

— Обычный ремонт, граждане, идите по своим делам, — участковый трясет животом и оглядывается. В тени подъезда стоит человек в сером пальто, шляпе, в черных очках — и тихим голосом отдает распоряжения. Дюжие молодцы снимают с грузовика и уносят в подъезд тяжелые ящики, молча тянут провода, спускают кабель в будку. Земля под ногами вздрагивает, глухо урчит отбойный молоток, в амбразуре бетонного дота полыхают отсветы электросварки.

11:30. Что-то случилось. И Хромого Батора нет... В толпе однодворцев строятся догадки. После короткого спора сходятся во мнении, что совершено злодейское убийство. И не одно. Вон сколько милиции понаехало! Дело «пестрых» или «черной кошки».

Поодаль синеют Борькины щеки. Он выпучивает свои глазища и делает таинственные знаки. Подъезжает еще один грузовик. Дюжие молодцы забрасывают в него разный хлам из бомбоубежища: покореженный металл, насосы, сгнившие противогазы, дырявые сумки с красными крестами... Борька заглядывает в кузов — ищет китайский фонарик. Батиста хватается его за ухо, отшвыривает. Борька орет. Человек в черных очках кривит губы. И тут до меня доходит... Идиоты мы с Петькой! Борька оказался прав. Кто-то опередил нас. Вперяю взор в гору хлама — золотые слитки пока не блестят.

Видя, что вместо кучи трупов выносят кучи мусора, народ расходится. За углом снова колют дрова. Остаемся лишь мы с Борькой. Серый человек в черных очках кривит губы. Играем для конспирации в «пристенок». Уши на макушке.

— Товарищ... э-э... — участковый подносит руку к козырьку и осекается. В просвете кривых ног Батисты видны отутюженные брюки и край серого пальто.

— Привлекаем внимание населения? — цедят из-под серой шляпы.

— Дык... воскресенье... — растерянно гудит Батиста.

— Впредь без паники. Отвечаете головой. Объект первостепенной важности.

Серый человек садится в серую «шкоду». Машина серой крысой упрыгивает в клубах серой пыли. Батиста утирает платком багровое лицо, пинает серый бетон и ковыляет со двора.

— Слышал? «Объект первостепенной важности!» — толкает в бок Борька.

— Угу. А золото где?

Книжкой усмеяется моей наивности и тянет к подъезду. Возле него вырастает синяя шинель.

— Вы куда, ребята?

— А здесь живет наш товарищ... — не теряется Борька и называет фамилию.

— Номер квартиры? — спрашивает милиционер и смотрит в листок. Борька толкает в бок: «Видал?!»

Под лестницей — спуск в бомбоубежище. Темная его впадина с шипением искрится. Рабочий прилаживает у входа решетку.

— Коляннич, — кричат снизу, — проводку надо менять!

Мимо с кряхтеньем волокут мотки проводов, новенький электродвижок, он в масле и зеленый.



— Дядя, у вас воскресник? — с невинным видом задает вопрос Борька.

— Много будешь знать — скоро состаришься, — хмуро отвечает дядя и с силой бьет молотом. Старая дощатая дверь, пискнув, падает, открывая взору решетку, — она упиралась в стены. Вход в полевой штаб строго воспрещен.

— Видал?! — торжественно вскричал Борька. — А я что говорил! Они там настоящий бункер делают!

— А-а, — разочарованно мычу. — Значит, вправду ремонт...

— Много ты понимаешь! Ящики заносили, видал? — пыхтит друг. — Это и есть золотой запас! Слитки, понял?

Как же я сразу не догадался! На этот раз мы возьмем два фонаря и много-много спичек. Хотя зачем? В бомбоубежище теперь будет свет.

— Гм... — читает мои мысли Борька и чешет затылок. — Вопрос в том, как туда попасть...

Я гляжу на милиционера у подъезда, на новую решетку бетонного дота, и золотой блеск нашего открытия тускнеет. У барака выбивают половики. В коляске плачет ребенок. За сараями пилят дрова. Завтра в школу. «Мамаюкэру!..» — шепчу в тоске.

12:00. Страсти на чердаке

— Я иду по Уругваю-ю,
Ночь — хоть виколи глаза-а,
Слышны крики: «Раздеваю-ют!
Дэ-эвушку на полчаса!»

Знакомый сопляк — руки в брюки — голосит с блатным подвывом. И не один. Ему подвывает пегая дворняга с короткими и кривыми ногами. Ну как у Батисты. И где он откопал такую уродину?

— У нее в родове такса была... — обиженно сопит этот шкет. — Честное октяб-рятское!

«Такса» косит глазом, задирает верхнюю губу — рычит. Тоже обижается за предков.

— А нас возьмете? — просительно морщит нос малолетка. Под носом у него грязно. — Она и след берет.

«Такса» усталилась черными пуговками, виляет хвостом.

— Девчонок не берем! — объявляю этой уродине. Псиная рычит.

— А у меня граната есть. Сам делал! — выкладывает последний козырь сопленосик.

Ну-ка, ну-ка... Это уже ближе к делу.

— Айда за поленницу!

За поленницей он показывает бутылочку с завинчивающейся пробкой, в ней вода. Из другого кармана выгребает голубоватые комья, сыпет в бутылочку, завинчивает пробку и бежит за угол. «Такса» берет след хозяина. Я успеваю залечь. «Граната», поклокотав, лопается со звоном: «П-пах!» Стекланные осколки летят над головой, горошинами стучат о дрова. Этот фокус нам известен. Но где этот шкет добыл карбид?

— Ну как? — сплевывает сквозь зубы террорист-одиночка и подтягивает штаны. — Зауда как драпане-ет!..

Я с достоинством отряхиваюсь. «Такса» лает. Оказывается, карбид недавно сгрузили у бомбоубежища. Найти склянки на заднем дворе аптеки и отвлечь милиционера от карбида — пара пустяков.

Спешу, переполненный новостями. И сталкиваюсь с Максимом Малановичем. Лицом к лицу — роста он невеликого, зато пахнет дорогим одеколоном. И у такого коротышки — дочь Рада, стройная... как тополек. «В мать», — грустно говорит Максим Маланович. Он вдовец. Справедливости ради скажу — приятный человек. Здороваюсь первым.

— Здравствуй, здравствуй, Аюр, — торопливо подает руку отец Рады. У мамы ладонь и то крепче. — Как мама? Береги ее...

Что это с ним? Обычно Максим Маланович — сама степенность. Любит поговорить. С мамой, например, может беседовать часами. Мама больше молчит — слушает.



— Я на работу, — стеклышки очков тревожно блестят. (В воскресенье — на работу?) Максим Маланович поправляет очки. — Но я зайду, непременно зайду...

Куда он денется! Уже и соседи шушукаются...

Собачий лай отвлек от раздумий. Между прочим, нюх у нашего участкового, как у таксы. Не добрался бы до тайника с оружием! Уже, наверное, караулит чердачный люк. Решаю лезть в штаб по пожарной лестнице. Оттуда участковый меня не достанет.

— Я с тобой! — хватает за штанину хозяин «таксы». Собака виляет хвостом.

— А ну, брысь! Оба! — отдергиваю ногу, подпрыгиваю и цепляюсь голыми руками за поручни. Они мокрые от растаявшего инея. Холод железа пронзает грудь.

Одолев уровень третьего этажа, чувствую, что выстуженная за ночь лестница превращает меня в Кая — ледяного мальчика из сказки. Руки ноют до плеч, пальцев не ощущаю вовсе. Сверху наш двор предстает во всей красе. Горы шлака у кочегарки, грязные проплешины, бурые крыши барака и сараев... Ветер усилился. Понизу полощется белье, с тополя срываются последние листья, низко гудит лестница...

Лысая подошва скользит по влажной перекладине, и я зависаю на руках. Вот что испытывает червяк на крючке!.. Двор кружится, кружится, сараи встают на дыбы, полоска горизонта гнется коромыслом... Эй, бог... если ты есть, помоги! Мама, Рада, пацаны-ы! Будь прокляты эти военные игры! Хочу жить... Жить! Мама-а!..

На помощь пришла не мама, не бог — закалка барбудос. Не зря, ох, не зря наш команданте заставлял подтягиваться на перекладине до боли в животе. Превозмогая ее, тянусь вверх, ботинок упирается в твердь... Жив! Вива Куба!

Лицо в слезах, но кто это видел?! Грудь ходит ходуном, в глазах — желтые кольца. Мертвой хваткой — за стылое железо. Отдыхаю напротив большого окна. Крашенная хозяйка кормит грудью дитя, лицо ее светится...

Еще дрожат руки, но сердце стучит ровнее. Сижу на крыше, пью воздух как лимонад. И не могу напиться. Вкусно! Скулы щиплет ветерок. До чего же вкусно жить! Радоваться рыжему солнцу, серому небу, воркующим голубям, мороженому, улыбкам девчонок, шуткам пацанов, каникулам и запаху тающего снега... Буду взрослым и добрым, заведу детей и остроносые ботинки (нет, сперва ботинки), а мама никогда не умрет. «Бом! Бом-м!» — гудит в груди колокол.

Внизу не слышат! — стирают, варят обеды, нянчат детей, скандалят, пьют водку, говорят о ценах и колбасе. За колокольной — горы, пепельные их шапки сливаются с небом, по которому быстро и неслышно летят птицы и облака. И хочется коснуться их руками... Во дворе копошатся фигурки, такие одинокие!..

12:00. Солнечный коготок царапнул бровь, я смаргиваю капельку влаги. Тиканье часов возвращает меня с облаков на пыльный чердак. А если там притаился Батиста?..

Стараюсь не греметь ботинками о железо. У смотрового окна замираю от голоса, чистого и звонкого. Это ее голос. Но что она делает в штабе барбудос?

— А здесь ничего... Даже уютно. Это и есть ваш штаб?

Я распластался на крыше, лежу тихо. Слышу собственное дыхание.

— Зачем пришла? Тебе нельзя, — ломкий басок команданте узнал бы из тысячи.

— Какой строгий! Играете в свою войну, да?

— Тебе-то что? Уходи!

— Это приказ? — фырканье.

— Если хочешь — да.

— Я же не солдат... — Короткий смешок. — О, не гневайтесь, команданте...

Я правильно сказала?

Сопенье — команданте думает.

— Тебе, наверное, кажется, мальчишеская дурь...

— Угадал. Так мне и кажется.

— Мы за правду боремся... Тебе не понять.

— Где уж мне! И во имя правды разбиваете друг другу носы?

— Не поймешь. Девчонка ты. Кончен разговор.

— Ну надо же нам поговорить. Хватит бегать друг от дружки и презрительно фыркать при встрече. Я ведь тебе нравлюсь, правда?



— Вот еще! Совсем не нравишься!

— Но и не кусаюсь...

Тихий смех. Шелест болоньевой курточки.

— Не говори так... Я не маленький.

Скрипит шлак. Смешок.

— Опять убегаешь? Подойди, не бойся.

— Вот еще! Чего ты хочешь?

Я представляю, как Хромой Батор меняется в лице.

— Поцелуемся? Для начала, мм?..

Хихиканье. Не верю ушам своим. И это говорит Рада! Умница, паинька, круглая отличница.

Долгая невыносимая пауза. Ни звука. Лишь воркуют голуби, внизу слабо гавкает собака, воеет в трубе ветер. Я вспотел. Черт возьми, да целуйтесь вы скорее! Шуршит болоньевая курточка. Кончится эта пытка или нет?! Я готов застрелить обоих из пистолета мелкого калибра!

Раздается плач. Банальный девчачий плач.

— Ты... ты... — задыхается Хромой Батор. — Ты бесстыжая... Так нельзя... Если по правде — ты мне нравишься... Но ведь девчонка еще... Так нельзя, понимаешь?

— А когда будет можно? На том свете?! — зло кричит Рада. Рада ли?

— Мы могли бы дружить... — неуверенно бурчит команданте.

— Нужны вы со своей дружбой! Играете в свои игры... Проснись, команданте! Мы все умрем! Умрем!

Я чуть не скатился с крыши. Что эта девчонка себе позволяет?

— Что случилось? Скажи толком!

Плач пресекается: девчонку трясут за плечи.

— Твой отец приходил... ночью... — давится слезами Рада. — На кухне сидели... с папой... Говорили ужасные вещи... про атомную бомбу... С-страшно... У-у!..

— Не плачь. Тебе, наверное, померещилось. Со сна.

— Не говори со мной... как с маленькой! Иду по улицам... Люди смеются, мороженое едят, с детьми, колясками... Думала, притворяются. Может, так надо... Чтобы без паники... Я тоже притворялась. С самого утра... Улыбаюсь, улыбаюсь, аж скулы болят... И мамы нету! Папе не говорю... Не любит, когда подслушивают...

По-моему, я краснею. Ну и положеньице! Не затыкать же уши! И когда они кончат слезы лить?

— Красивая, умная... Не целовалась еще... Ничего, ничего не знаю... Любовь, дети... зачем это?.. Я никому не сделала плохого. Почему, почему я должна умирать?.. Папа куртку купи-и-ил... Болоньевую-ю!.. О! А вдруг она взорвется?

— Что? Что взорвется? Говори толком!

— Бом... Бом... Бомба-а-а!.. — залилась в три ручья девчонка.

Эта истерика уже действует на нервы. Рада с каждым словом нравится меньше и меньше. Могу поспорить, что у нее покраснел нос.

— Тебе померещилось, приснилось... — убежденно басит Хромой Батор. — Хочешь, у отца спрошу?

Плач стихает.

— Скажи, — сморкается в платочек плакса, — когда с чечегарки прыгал, страшно было? Только честно...

— Откуда знаешь? А вообще-то — да. Страшно.

— Но ведь ты мог разбиться!

— Не знаю. Не думал как-то. Хотел доказать... Себе самому. Дурак, в общем.

— Извини...

Молчание.

— Скажи, отчего колокольня у реки без колокола?

— Н-не знаю. Че это ты вдруг — про колокол?

— Так... Хочу услышать. Никогда не слышала колокол... Хоть бы чуточку, а?

— Успокоилась? Иди домой. И забудь... как страшный сон.

В ответ невнятный писк. Шуршание болоньевой курточки, скрип шагов, хлопок люка. Фу... уши. Ромео и Джульетта — чердачный вариант. И команданте тоже хорошо... «Давай дружить!»... Расскажи кому — не поверят.



Влезаю через окно, разминаю затекшую ногу. На чердаке без изменений. Дымные полосы света. Под ботинком пружинит шлак. Улыбки Гагарина и Фиделя. Разноцветная карта боевых действий зовет на подвиги.

Проверяю тайник. Батиста до него не добрался. Пистолет, два патрона. Чего тут болтала эта истеричка? «Мы все умрем!» Кинокомедия! Театр юного зрителя!

Так и подмывает пальнуть из мелкокалиберного пистолета в белый свет!

12:44. За Удой-рекой

Мой Боливар на полном скаку налетел на мину — экая досада! Случилось это по милости труса Борьки. Упросил-таки проводить его до парикмахерской. Рассказал, что отец забыл дома термос и бутерброды. И изобразил сцену в лицах.

— Как муха на мед!.. Все мужики мужиками, по воскресеньям с семьей, с детьми, а он!.. — кричала тетя Зина, Борькина мать, — высокая, с мушкетерскими усиками.

— Работа такая, Зина. Желание клиента — закон... — вяло оборонялся Семен Самуилович.

— Старый козел!

И так далее... Тут не только термос забудешь — голову.

В пылу погони за расстроенным дамским парикмахером я наступил на яблоко конского навоза, шмякнулся на мостовую и едва не выронил из кармана пистолет. Если бы не Борька — Боливар целый и невредимый стоял бы на привязи.

Закавыка в том, что парикмахерская на том берегу реки. Встреча с противником в одиночку, да еще на его территории, чревата потерями — термоса, мелочи до рубля и выше, а главное, синяками и разного рода унижениями... Даже описывать их не хочется.

Глядя на несчастное Борькино лицо, я согласился. Ну и дурак! При падении подошва левого ботинка оторвалась и просила каши. К тому же зазеленил штанину. Боливар обернулся ишаком. Борька, склонившись надо мной, предложил хлебнуть из термоса. Тоже мне, сестра милосердия!

Нейтралку проскакали без звона копыт. Я поневоле подражал команданте: хромал, загребая рваной подошвой мусор. Борька виновато трусил сзади. Река ехидно журчала под мостом. Друг отставал больше и больше. Я тоже сбавил ход. Начинались владения заудинской шпаны.

Двигались кружным путем, короткими перебежками. Зауда — деревня в городе. Заборы, вквотанье кур, огородики, цепные собаки, избы со ставнями, баньки, стайки... Пыльные кривые улочки, лавочки, завалинки. Обходили их стороной, шараясь от звуков гитары и огородами вышли к парикмахерской. Красный флаг, высокое крыльцо, дверь на мощной рессоре, фикус в кадке — чинно, благородно.

В тесном коридоре томились женщины разного возраста и толщины. В воздухе разливалась сладость — одуреть можно. Борька прямоком шагнул в зал. Семен Самуилович порхал над креслом, в котором восседала дама с золотыми серьгами и кровавым ртом. Кресло привинтили к полу — иначе огромная башня из рыжих волос по всем законам физики его опрокинула бы. Не башня — симфония. Маэстро в ослепительно белом халате взмахивал дирижерской палочкой — расческой, нашептывал, клиентка отзывалась серебряным колокольчиком. Отступал на шаг другой, шурился загадочно, улыбался в зеркало. Дама жмурилась: «Семен Самуилович, вы волшебник...» О соседние зеркала вяло бились сонные мухи, у пустующих кресел скучали парикмахерши в желтых халатах. Очередь стремилась только к Семenu Самуиловичу — лучшему дамскому мастеру города и его окрестностей.

Борька поставил на столик термос и сверток, нагло подмигнул клиентке в зеркале. Я изучал в коридоре прейскурант и образцы причесок. «Полубокс», «Канадка», «Бабетта», «Улыбка»... Нежности телячь! Спиной ощутил пристальный взгляд нескольких пар глаз. Очередь — все на одно лицо! — морщилась и воротила носы. Я и сам почуял неладное. От штанов разило ароматом конских «яблоков», — в царстве красоты, видимо, особенно нестерпимо. В пасти рваного ботинка торчал окурочок. В стенном зеркале отразилась хитрая рожица с большими ушами и грязным носом. Я был неотразим.

— О, мне дурно... — закатила глазки крайняя, с напудренной бородавкой.



На помощь пришел друг: запах конюшни проник в зал. Борька, словно заправский пожарник, облил меня из ручной пневматической груши — с кепки до левого ботинка.

— Фабрика «Заря», — торжественно возвестил он и направил струю на бородку. Очередь притихла. Борьку тут знали и побаивались.

Я утерся кепкой. Духи и конский навоз дали мерзостный результат.

Семен Самуилович расшаркивался с клиенткой. Дама трогала башню на голове, кровавым ртом изрыгала поток любезностей: «О! О!» Семен Самуилович взмахнул салфеткой и припал к ручке с кровавыми ноготками.

— Следующий! — заорал Борька.

Дверь жажнула, взвизгнула рессора, — в зал влетела Борькина мать. Усики ее шевелились. Чем-то тетя Зина напомнила моего Боливара. Наверное, фырканьем. Семен Самуилович отпал от ручки с кровавыми ноготками и получил вместо платы пощечину. Дама ойкнула. Парикмахерши перестали ловить мух и ждали развития событий.

— В окне видела! — фыркала тетя Зина, грозно поводила плечами и трясла вторым подбородком. Платок сбился на литую шею.

— Зинаида! — трагически воскликнул мастер дамской прически.

— Или семья, или... — Борькина мать зыркнула в сторону. Очередь сидела, не шелохнувшись. В сгустившемся молчании жужжали мухи.

В этот момент хлопнула дверь, и в зеркале я увидел маму. Что ей понадобилось в дамской парикмахерской? Заметив меня, мама очень смутилась.

— А, соседка! Пожалуйте, пожалуйста, — обрадовался Семен Самуилович.

— Мимо шла... С базара... — теребила платок мама и показывала всем авоську. Она посмотрела на меня умоляюще. Я выставил правую ногу, закрывая рваный ботинок.

— Как договорились. Давно ждем... — Семен Самуилович уже снимал с мамы плащ. — Окажите честь.

— Я потом... Очередь же... — мама никак не хотела отдать авоську с картошкой.

Очередь не возражала. Семья парикмахера (кроме Борьки) улыбалась. У мамы густые черные волосы, которые она закалывает гребнем — и на работу, и в праздники.

— Такой день, такой день... — хлопотал, усаживая в кресло маму, Семен Самуилович. Она напряженно смотрела перед собой. Супруга дамского мастера резала бутерброды. Парикмахерши пили чай из термоса.

— Такой день... По высшему разряду... — взмахнул салфеткой Семен Самуилович.

Заладил!.. Какой «такой» день? Обычное воскресенье. Довольно-таки холодное. Вдоль заборов друг за другом гнались листья. Борька брел, подталкиваемый ветром, и страдал.

— Мама же любит его! Термос, обеды, диета, лекарствами поит... И халат ему на работу стирает.. Пойми их!

Я почесал под кепкой и промолчал. Руку оттягивала авоська с картошкой. Задумчивые, мы потеряли бдительность.

В 12 часов 44 минуты из-за угла выскочили трое — в кепочках с обрезанными козырьками, в брюках клеш. Заудинские. Борька побежал назад, но путь преградили еще трое. Челки, наглые улыбки, и серу жуют.

— Здравойте, барбосы! У вас все такие пугливые?

Дикая хохот. Конопатый заводила лениво наматывает на руку солдатский ремень. В пятизвездную бляху запаян свинец. Борьку колотит, аж щеки трясутся. Рановато. По опыту знаю, что бить будут не сразу — сначала поупражняются в остроумии.

— Обыскать бы... — ковыряет в носу самый маленький, конопатому верзиле по плечо.

— Не к спеху, — сплевывает обильную слюну конопатый. — Они у нас пугливые шибко. Вишь, обкакались... со страху-то...

Конопатый лягает мои, в «яблоках», штаны. Новый взрыв хохота.

— Эй, девочки, кто из вас так надикалонился? — зажав нос, гундосит заводила.



Заудинские веселятся. Мы в западне. Пустынная улочка. Заборы, заборы... Ни родни, ни милиции. Бежать? Догонят и в наказание разденут. Такое уже бывало. А у меня к тому же авоська. И Боливар не подкован на заднюю левую.

— Пацаны, айда их к Французу! — вопит кровожадный малец.

Предложение встречается с энтузиазмом. Француз — местный главарь, или, по-городскому, мазёр. Дело худо. Нас волокут в глубь нежилого двора. Борька упирается, ему костыляют по шее.

У костра сидит Француз — мордатый парень в тельняшке и новой телогрейке. В консервных банках бурлит темное варево — чифир. Приятель разламывает ящик, что-то рассказывает Французу... Оба гогочут. Подбросив в костер дощечек, дружок оборачивается... Золотая фикса — сверк!.. Мадера? Здесь, в логове заклятых врагов!.. Не может быть!

Мы едва встречаемся взглядами, и приятель Француза бочком-бочком катится со двора, замечая клешами следы. Съежился, воротник поднял. И туфельки лаковые, черный низ, белый верх. Но мало ли в городе пижонов в брюках клеш и лаковых туфлях...

— Эй, корешок, а чифирок? — пришепetyвает вслед Француз. — Как стемнеет, усек? За свалкой, поэл?

Французского в мазёре маловато. Низкая челка закрывает и без того маленький лоб. Глубоко посаженные глазки, гнилые зубы и татуировки на руках. Появление кличек загадочно. Зачастую ее обладатель ей не соответствует. Вон того кровожадного мальца, к примеру, зовут Тумбой. Но кличку еще нужно заслужить — подраться, отобрать деньги, лихо выпить, не морщась, водку, а лучше сразу сесть в колонию для несовершеннолетних. Каких кличек только нет! Бизон, Фриц, Банан, Макинтош, Валет, Сохатый, Подонок, Кабан — целый зоопарк! Хромой Батор говорит, что клички — пережиток рабовладельческого строя. Француз его ненавидит. На пальцах у мазёра наколото «1946», год рождения. Француз старше своей стаи, в драках не участвует, сидит в своем логове и без конца пьет чифир. Хромой Батор его ненавидит.

— А! Кто к нам прище-е-ел! Барбосы! — обжигаясь, лакает из банки Француз. Букву «ш» произносит как «щ» — из чистого форсу.

— Угу! — выслуживается ради клички конопатый. — От моста за ними следили... Шпиены! Хитрые! В паликмахерскую зачем-то ходили... Эва, дикалону-то извели!

— Ща! — изумляется Француз. — Внутри? Во, молодежь пошла...

Борька жалко улыбается, вот-вот хвостом завилает...

— Слушай сюда, барбосик, — ласково пришепetyвает хозяин двора. — Будешь прыгать вокруг костра и гавкать... поэл, барбос?

Борька покраснел как помидор, — колеблется.

— А, вот и картошечка! — замечает мою авоську Француз и лыбится. Зубы острые, как у грызуна. — Шас мы ее в костерчик, поэл? Ув-ващ-цаю картошечку в мундире! Давай ее, барбосик, давай...

Я медлю. До маминой зарплаты жить на картошке неделю.

— Фу, какие непослушные мальщики! В гости, да без подарков! А с непослушными мальщиками делают што?.. Правильна-а! Щлепают по мягкому месту...

Предвкушая удовольствие, заудинские хихикают. Конопатый поигрывает ремнем перед Борькиным носом, яростно шипит:

— Скидывайте штаны, ш-шпиены!

Борька громко гавкает. Синие щеки трясутся. Заудинские так и схватились за животы.

— Кайф! — цедит чифир Француз. Глазки его заплыли.

Чья-то рука тянется к авоське, а я тяну ее к себе. Локоть упирается во что-то твердое...

— Скидывайте штаны, сказано вам!

Бросаю авоську, вскидываю пистолет, оттягиваю затвор и целюсь Французу прямо в челку. Он роняет консервную банку, костер шипит.

— Убью-ю, убью-ю, всех убью-ю! — ору без остановки, забывая, что мелкокалиберный пистолет не заряжен. Я действительно хочу убить. И это мгновенно поняли вокруг. Распластались по земле, кое-кто побежал петляющими скачками. Борька тоже залег. Больше всего в этот миг ненавижу себя — за каждую минуту унижения.



Темное лицо чифириста белеет. Он поднял руки и лопочет. Блатное пришепетывание улетучилось с дымком костра.

— За что... За что... Ребята... Ребята...

Наслаждаюсь его страхом. Французова морда сереет, его дружки ползают в грязи. От удовольствия голова идет кругом.

— Вы чего, ребята? Шуток не понимаете? — выпучивает глазки мазёр. — Мир, дружба!

— «Мир, дружба»?! — подбрасывает с земли Борьку. — А ну, скидывай штаны! — Он пинает конопатого. Тот лежит ничком — притворяется мертвым.

— А ну, пошли в плен! — раздувает щеки Борька. Конопатый на карачках собирает рассыпавшиеся картофелины.

Организованно покидаем территорию противника. Впереди ни жив ни мертв тащит авоську конопатый верзила, затем, сжимая в кармане пистолет, иду я, сбоку жует трофейную серу Борька. Со стороны может показаться, что три товарища возвращаются из Дома пионеров. Время от времени Борька оглядывается, насканивает на недавнего мучителя и пинается.

У моста свернули в кусты. Взятый в плен «язык» оказался болтливым, как девчонка.

— Все, все скажу, — от страха у него прибавилось конопушек.

Мы узнали, сколько человек выставит Зауда для драки, количество и вид оружия. Ремни, палки, вплоть до обрезка, заряженного дробью.

— А как же уговор? — замахнулся Борька.

— Я-то при чем... У вас, сказывали, пистолеты появились... У каждого второго... Разведка донесла, — покосился на дуло моего мелкокалиберного «язык» и прогнусавил с обидой: — Неправда, че ль?

— Нарушаете договор, да? — с презрением выплюнул трофейную серу Борька. — А ну, скидывай штаны!

«Нарушитель договора» позорно расплакался. Почему-то решил, что настал его смертный час. Пижонские брюки клеш заберут, а холодный труп с камнем на шее кинут в реку.

— Братцы, братцы... — размазывал слезы конопатый верзила. — Виноват, че ль, что за Удой родился... Мамка одна... Сестра маленькая... Им дрова колоть будет некому-у...

И он замычал с неподдельным горем. Равнодушная Уда несла свинцовые воды, вспениваясь у опор моста. Сероватые льдинки шуршали о припай. Мимо, словно утопленник, проплыло бревно...

«Языка» еле успокоили — ценные сведения, мол, спасли его шкуру.

От избытка чувств конопатый пообещал не являться на драку, чем значительно ослаблял мощь неприятельского войска.

Конопатого я, невзирая на протесты Борьки, отпустил. В самом деле, разве человек виноват, что его угораздило родиться не где-нибудь в Америке, а именно за Удой?..

13:00. «Петька Хуарес — маленький кубинец»

Лысина персонального пенсионера Кургузова закатилась в окне — минута в минуту. Час дня. Двор опустел. И пацанов не видно. Война войной, а обед — обедом. Сейчас даже на колокольне никого: Зауда тоже кушать хочет.

Борька умчался докладывать команданте о ценных сведениях и собственных подвигах в тылу врага. Боится, что опережу и присвою лавры. Напрасно. Я так громко гавкать не умею...

Воскресный обед — то, ради чего живут люди. После рабочей шестидневки за столом — вся семья. Папа (если он имеется) трезвый и серьезный, мама не ворчит на папу, а кормит чем-нибудь вкусным. Детки уплетают конфетки и котлетки. Идет неспешная беседа. И вот что поразительно. Чего бы ни коснулся разговор — космоса, новых денег или сообщения ТАСС, — он скатывается к обсуждению очередного скандала у Хохряковых.

В бараке длинные языки и коридоры. Они уставлены сундуками, канистрами, колясками, увешаны тазами и березовыми вениками. Скрипучая лестница воняет



кошками. Дружно пошумливают примусы. Вчера была суббота, а сегодня — тишина. Мир. Живем в бараке дружно. Берем займы и долго не отдаем. Борька на первом этаже, Петька — через стенку. Его родители, как ни прискорбно, там же. Но и Хохряковы в воскресенье мирятся. Тогда Петьке перепадает мелочь на кино.

Я принес домой дров для маминой стирки. Пистолет положил в школьный портфель. Без стука вошел Петька Хохряков. Сейчас крикнет, что полет нормальный. Но Петька молчал. Молчал так, что расхотелось хвастаться про заудинские похождения. За плечами Окурка горбился рюкзак. Ушанка, телогрейка, валенки. Простудился, что ли?

— Курить нема? — прошептал Петька. На нем не было лица. Вернее, оно было, но очень уж кислое.

— Слышь, Аюр, давай уедем. Насовсем. Чес-слово!

— Насовсем? А... как же они? — я кивнул на стенку.

— Плевать! Пускай сами разбираются... Имущество делят! Устал я что-то от Хохряковых... — Он тряхнул рюкзаком, зазвенело. — Уже собрался... На ихнюю мелочь две буханки хлеба купил. Макароны, спички, крючки, леску... Вот тока курева нема... Давай, собирайся. Жратвы побольше и ложку. Деньжат не худо бы...

Деловито-печальный тон сбивал с толку.

— А... куда? — я малодушно благоухаю женскими духами.

— Забыл? На Кубу, — внятно сказал Петька.

— Так... не обедал еще... — совсем растерялся я.

— Валяй. Тока живей. — Он, не раздеваясь, сел на табурет. Уши шапки были завязаны под подбородком.

— А как же школа? — тянул я время. Отказываться ехать на Кубу было неприлично.

— Плевать! Куба — да, янки — нет! — недавний дезертир был настроен решительно. — Я там и фамилию поменяю. Чес-слово! Хохряков — разве это фамилия? Курам на смех!.. Пепе Хуарес — как, звучит?

План Пепе Хуареса был прост, как валенок. Сесть на товарняк, доехать до ближайшего морского порта и забраться в трюм грузового судна. Нынче все корабли плывут на Кубу, с помощью. Борька так говорил.

— А, валенки... — перехватил мой взгляд Петька. — Чтоб на товарняке не околеть... На Кубе выброшу. Сам говорил — жара. У них там заварушка намечается... Возьмут, чес-слово! Пистолет захвати и патроны. «Не посаран», понял?

Петька вспотел, но раздеваться отказывался.

— У нас же драка с заудинскими, — опомнился я. — Драпаешь? Так бы сразу и сказал!

— Ладно, тогда после драки, — поник Петька. Вздыхнул, снял ушанку и рюкзак. — Но ты все равно не забудь ложку... И крючки с поплавком...

Я грешен перед Петькой. Три урока подряд расписывал ему кубинские пальмы и мулаток. И про жару не забыл, и про рыбалку. Сказал, что в барбудос берут пацанов — разведчиками. Борька подтвердил. Это мы начитались книжки о «Пепе — маленьком кубинце». Очень он нам понравился... Но ехать на Кубу?! Мы уже в шестом классе — соображать надо!

Высунув язык, прибежал Борька, выпалил, что Хромого Батора нигде нет, попросил керосину и разъяснил двоичнику Петру Коминтерновичу Хохрякову, что обстановка изменилась: корабли обходят Кубу за сто миль.

— Там у них блокада — хариус не проскочит! Газеты читать надо, понял? — Борька щелкнул неуча по лбу и умчался обедать.

— Все равно уеду! Чес-слово! Хохряковы, гады, надоели! — заплакал Петька и пнул валенком рюкзак.

13:20. Любовь и уголь

Тупо гляжу на часы, потом — на ботинок. Мама вот-вот придет. Ох и влетит мне за драную подошву! Ботинки новые, мама купила их перед началом учебного года, отстояла очередь. И за штаны в конских яблоках надаст. Зеленые разводы засохли, и штаны стоят коробом.



На плите греется кастрюлька с супом. В животе урчит. То верный Боливар ржет в предвкушении обеда. Ничего, потерпит.

Ботинок самому не починить, тогда хоть постирать штаны. Срочно! Хватаю ведра, коромысло — и рысью в кочегарку.

В кочегарке живет дядя Саня и его семья. Можно просто Саня, он не обижается. И жена на вид — девчонка. Тоненькая шея, две косички.

В просторном темном зале ровный и сильный гул. Багровыми каемками полыхают топки. Потолка — не угадать, но оттуда капает. Меж котлов сушатся пеленки. Коляска посреди большой лужи. У входа навалены уголь, тачка, лопаты. Неожиданно становится светло. Дядя Саня шурует лопатой, куча угля осыпается — огонь в топке прожорливо воет. Красные языки лижут лицо дяди Сани. Он шурит глаз на манометр — проверяет давление. В майке, белозубый, черномазый, веселый. Мускулы перекачиваются от локтей к плечам. В Доме специалистов не нарадуются на кочегара.

«Служил на флоте — красивый вроде!» — смеется дядя Саня. Он всегда смеется. Я огибаю лужу, звякаю ведрами.

— Га, Юрка! — кричит хозяйин кочегарки, роняет лопату и бьет чечетку на угольной крошке. — Юрка-Аюрка, где твоя тужурка? А наши Даши просят каши!

Он тормозит меня и уводит за фанерную перегородку. Здесь светло, сухо. Под ногами опилки. За столом сидит жена дяди Сани и кормит из ложечки дочку. В каморке две железные кровати, шкафчик с посудой и игрушками. В закутке пристроена ванночка, из крана капает горячая вода. Трубы, трубы... Они оплетают каморку, словно змеи. «Зато тепло», — говорит дядя Саня. Одна беда — нет окон. Хотел дядя Саня пробить дыру, вынул пару кирпичей, да староста Кургузов увидел из своего окна и написал куда следует.

— Кушай, Дарима, кушай... — упрасивает мама дочку. На кого та похожа — не понять. Глазки раскосые, черные — в маму; нос и губки — в каше, но вроде папины.

Появление их в нашем дворе — роман! Жили в соседних селах парень и девушка. Дядя Саня или просто Саня — в семейской деревне, Бальжид — в улусе. Надумали они жениться, да родители ни тому, ни другому позволения не дали. Дядя Саня умыкнул невесту, скрывались они от погони в лесах и горах; кажется, чуть не замерзли. Бальжид пытался заточить в темницу, дядя Саня угодил в больницу. Или наоборот. Короче, их прокляли. Влюбленные бежали в город, женились и отгородили угол в кочегарке. Вот вам и роман, товарищ Вальтер Скотт!

Даша-Дарима капризничает, плюется кашей, выскальзывает из-за стола и ко лобком катится к пышущему жаром котлу. Ее заинтересовала багровая каемка и она хочет потрогать эту красоту. Дядя Саня поймал дочку на полпути... Бальжид побледнела, испугалась.

— Ничего! Главное, не зевать! — подбрасывает дочурку папа. — Нам бы перезимовать!

Даша-Дарима захлебывается от смеха.

— Оставь ее, ты же грязный... — в черных зрачках горят искорки смеха.

Моя мама носит в кочегарку овощи с базара — витамины для девочки. А недавно связала ей теплые носки.

— Что новенького, Юрк? — вскользь спрашивает дядя Саня. Лицо его тревожно.

Я вздыхаю. Дядя Саня отворачивается. Семья кочегара не имеет адреса, потому ждет письмо из деревни на наш почтовый ящик. Девочке нужно окно...

Дядя Саня наливает в ведра горячую воду. Цепляю их коромыслом.

— Юрка-Аюрка, где твоя тужурка? — смеется дядя Саня. Он всегда смеется. На веселых лицах папы и дочки угольная пыль.

13:38. «Ландыши, ландыши...»

Я знал, что мама красивая. Но что с ней сделал Семен Самуилович!..

От неожиданности пролил горячую воду и ахнул.

Мама улыбалась. Иссиня-черные локоны свивались в корону. Мама будто подросла. Лицо прояснилось, побелело, куда-то исчезли морщинки у глаз... Глаза ее сияли!

Рванный ботинок и вымазанные штаны не видит в упор!



— Ну ты у нас и невеста... — наконец выдыхаю я.

Мама краснеет, как девчонка. И в мою душу западает подозрение...

— Воды принес, горячая...

— Стирка отменяется! Ой, что это я сижу... Который час?

— Полвторого, — бросаю взгляд на часы «Победа».

Мама ойкает, бежит по комнате. Даже не спросила, откуда у сына ручные часы!

Меня заставляют умыться, почистить зубы, причесаться, надеть чистую рубашку, школьные брюки и тапочки. Н-да.. Если мама невеста, то я — жених. Чудеса продолжаются. На белой скатерти возникают ваза с яблоками, копченая колбаса, банка шпротов и — держите меня! — бутылка шампанского.

Мама уносит горячую кастрюльку за шифоньер, переодевается в свое любимое платье.

— Ну как? — смущенно поправляет она прическу. Розовый бант приколот брошкой. На ногах — туфли на высоком каблуке.

— Полет нормальный! — цокаю языком и показываю большой палец. От мамы пахнет духами. Я раздул ноздри: — Фабрика «Заря»!

— Откуда знаешь? — смеется мама. Ого! У нее и ногти красные.

— Дали премию? План — досрочно? Деньги за облигацию? А может...

Нутро обмирает холодом: а может, отец?... Он исчез в год моего рождения. Исчез бесследно — все, что о нем знаю.

— Не переживай, — посерьезнела мама. — Он хороший человек... Ты сядь, сядь. Поговорим... Максим Маланович сделал мне предложение. Еще месяц назад. Но без тебя я не могу... Ты уже большой...

Ясно, не маленький! Даром, что ли, Максим Маланович ходит с мамой в кино. Продолжается это полгода — на радость сплетникам и бабкам на лавочке. Однажды Максим Маланович заявился в барак с букетом. Коминтерн Палыч как увидел в коридоре цветы, так от возмущения полез драться.

— У дочери он уже спросил... — теребит край скатерти мама.

Интересно, кем я буду Раде? Брагом? Подружкой? Вечерами она станет делиться своими любовными переживаниями... Пытка времен инквизиции. А когда Хромой Батор на ней женится, буду посаженным отцом. Вернее, посаженным дураком. Эх... почему я не уехал с Пепе Хохряковым! Разбирались бы в этих женитьбах без меня...

— Не хочешь, так и скажи, — не смеет поднять глаз мама. — Я пойму...

Эх, мама... Что тут понимать, когда шампанское на столе! Совет да любовь.

Мама чмокает меня в лоб и снимает с шифоньера довоенный патефон. От него клубится пыль. А вдруг патефон не работает, столько лет прошло... Мама волнуется и просит проверить. Пластинки ей дала тетя Зина. Я покрутил ручку.

«Ландыши, ландыши, светлого мая приве-ет...» — полузaduшенно сипит патефон. Песенка-то не по сезону...

И хорошее настроение не покинет больше вас!..

В патефоне что-то щелкает, хрипит, но песня — что надо. Хорошего настроения мне как раз не хватает. Мама подпевает и расставляет тарелки. Она помолодела и наконец-то разогнулась. Любит она этого коротышку, что ли?

Максим Маланович работает в конторе, имеет дело с бумагами. Коминтерн Палыч ругает его «интеллигентом» и другими нехорошими словами. Невзлюбил с первой же встречи. Максим Маланович по своему обыкновению поздоровался первым и спросил про здоровье. А Коминтерн Палыч был с похмелья... «Ах ты, интеллигент паршивый, издеваться, да? Над рабочим классом?! — бушевал сосед и рвал на себе майку. — Да ты знаешь, кто я таков? Ефрейтор Хохряков — полковая разведка! А ты, гнида, в тылу сидел и бумагу марал! Мало вас извели...»

Мужики с нашего барака насилу уняли.

Коминтерн Палыч вбил себе в голову, что гость ходит к нам по воскресеньям с дальним прицелом. А именно — выпить чекушку водки, которую он приобрел «на свои кровные». После трудовой недели Хохряков закупает две бутылки и одну маленькую. Ее он отдает маме, потому как на себя не надеется, а наутро заявляется поправить здоровье.

Но хватит о соседе. В дверь стучат — и входит Максим Маланович. Без цветов. Здоровается с мамой, жмет мне руку и протирает очки. Вид шампанского приводит его в растерянность. Он явно не ожидал такого приема.



— Твоя мама сегодня красивая, — выдавливает дорогой гость.

Мама улыбается и поправляет прическу. Стою истуканом — умытый, причесанный, в отутюженных брючках — и с отвращением изображаю пай-мальчика. Новая прическа и туфли на высоком каблуке делают маму заметно выше гостя. Жених!.. Не мог на цветы разориться! Интересно, как будет целовать маму — на цыпочках или подставит скамеечку?

Кажется, я ревную. И теперь хорошо понимаю супругу Семена Самуиловича.

А вот и они. Тетя Зина врывается с большим свертком, несмело вливается Семен Самуилович, в руках у него цветы. Молодец, дамский мастер!

— Ап! — жестом фокусника тетя Зина ставит на стол бутылку марочного вина. Полное лицо ее сильно напудрено. — Я извиняюсь!

— Поздравляем... — Семен Самуилович вручает цветы и целует маме руку.

— Ах ты, дамский негодник! — грозит пальцем его жена и трясет вторым подбородком, — смеется.

Максим Маланович хочет сказать, но ему не дают — тетя Зина прижимает его к своей необъятной груди. По маминому сигналу ставлю пластинку и завожу патефон.

Ландыши, ландыши, светлого мая приве-ет...

Ландыши, ландыши, белый буке-ет!

Тьфу, опять не та!

Подрагивая усиками, тетя Зина распечатала шампанское. 13:38. В потолок летит пробка, шампанское льется рекой. Звон бокалов, всеобщее оживление. Шампанского мне не налили, скупердяи. Максим Маланович порывается встать. Я пью лимонад и жую колбасу.

— Нуте-с, так сказать, с помолвкой, я извиняюсь! — зычно кричит жена парикмахера.

— Молодые люди, молодые люди! — часто-часто заморгал Семен Самуилович.

Максим Маланович решительно встал, протер очки. Он волновался. Тетя Зина постучала вилкой по бокалу.

— Прошу меня выслушать. Я... — жених осекся. — Я прошу прощения... Никакой, так сказать, помолвки не будет. Я не имею права... Обстоятельства выше нас, понимаете...

Жених снял очки и близоруко огляделся.

— Это невозможно понять! Мир сошел с ума! — в его голосе было отчаяние.

За столом воцарилась тишина. «Ландыши, ландыши...» — хрипел патефон.

— Тэ-экс... — протянула тетя Зина. — Это что же получается? Муж с работы отпросился, я стирку бросила, цветы на рупь, подарок — десять рэ, вино марочное — три рэ. И все — новыми деньгами... Это кто же сошел с ума, я извиняюсь?

— Вы меня неправильно поняли! — протянул руку Максим Маланович. — Человечество стоит у черты... Там, на Кубе...

— Мы вас правильно поняли! Нечего было одинокой женщине мозги пудрить! Да весь барак подпишется... Я извиняюсь! Хошь бы ребенка постеснялись! А еще интеллигентный человек!

— Зинаида, если ты не против, — я на работу... — прошептал парикмахер.

— Ты-то хошь помолчал бы! У людей черт-те что, а он со своими бабами!

И Борькины родители, переругиваясь, уволокли подарок, цветы и бутылку вина.

Патефон равномерно шелкал — пластинка кончилась.

— Мне уйти? — усмехнулся я.

Максим Маланович благодарно кивнул.

— Никуда он не пойдет, — сухо сказала мама. — У меня от сына нет секретов.

Я дожевал колбасу и принялся за шпроты.

— Хорошо, — покорно сказал Максим Маланович. Подавил глазницы. — Не спал ночь... Пошел на работу. Никаких известий... Хуже нет, чем сидеть и ждать. Происходит непонятное... Как в дурном сне. Иногда кажется, что это не со мной, не с нами... За детей страшно! Они-то в чем виноваты? Это катастрофа!..

— Я понимаю, — кусая губы, прошептала мама.

— Там, на Кубе... — с усилием произнес гость.

— При чем здесь Куба? — опустила уголок рта мама.



Я посадил на брюки жирную каплю. Ничего не понимаю! Максим Маланович говорит загадками. Не хочешь жениться — так и скажи. Невелика потеря!

— Скажите, месяц назад, когда вы делали предложение, все было иначе? — Мама сидела за столом неестественно прямо и теребила край скатерти.

— Именно так! — с отчаянием заговорил коротышка. — Все изменилось! Была надежда... Собственно, она и сегодня с нами... Подождем хотя бы месяц... неделю... Мир сошел с ума! Нильс Бор предупреждал...

— Уходите, — мама встала.

— Я люблю вас, — глухо сказал коротышка.

Мама рассмеялась. Я хмыкнул. За стенкой что-то упало, раздался вопль, звон посуды. Я макнул корочку в рыбный соус. За стенкой еще раз взвизгнули, и в дверь, кудахтая, влетела Хохрячиха — простоволосая и босая.

— А-а, убивают, убивают, а-а! — одутловатое лицо соседки было смято ужасом, к рваному на груди халату она прижимала золоченые ложки. Под глазом наливался синяк.

В дверь просунулась лохматая голова Коминтерна Палыча. Порог он перешагнуть не смел — из уважения к маме.

— А ну, выдь в калидор! Выдь, я сказал!

— Не выйду! Душегуб! — Хохрячиха уцепилась за плечо Максима Малановича.

— А-а, интеллихенция тута! Славно, славно! Шампаньское лакаем? Приятного аппетита... Во, ты за его выходи, он богатый! В тылу нахапал! — сосед разразился квакающим смехом.

— Слушайте, вы! — побледнел Максим Маланович. — Научитесь разговаривать с женщиной! Это, во-первых. Во-вторых, я воевал с первого дня... впрочем, это неважно... Подите вон... или я вас застрелю как паникера, как... бешеную собаку!

— Ты чего, чего... — попятился в коридор Коминтерн Палыч и сел на сундук. Со стены с грохотом упал таз.

Максим Маланович поклонился и вышел.

— Ни часу, ни минуты! — ревела Хохрячиха. — Гиря до полу дошла!

Мама сорвала брошь, разворошила бант и чудо-прическу, выпила шампанского. Оно выдохлось (я под шумок попробовал). Кислятина!

Хохрячиха поджимала босые ноги, но выйти в коридор боялась, прятала золоченые ложки за пазуху. Я пошел на разведку.

Коминтерн Палыч храпел, обняв березовый веник. Голые пятки свешивались с сундука.

Петька сидел на полу посреди разворошенной комнаты. Громадные узлы, разобранные кровати, битая посуда, батарея пустых бутылок. Облитый томатным соусом кот Лаврентий доедал на столе остатки трапезы.

Хохряковы делили имущество. Поначалу все было благородно. Даже выпили «на прощание». Петьку заставили писать в школьной тетрадке, кому что причитается. Буря случилась, когда опись дошла до золотых ложек. Хохрячиха утверждала, будто на свадьбу их подарила ее родня, Коминтерн Палыч — обратное... Даже коту Лаврентию досталось.

На Петькино имущество никто не претендовал. Оно было на нем. Рюкзак, валенки. Слезы у Хохрякова-младшего высохли. Я дал ему яблоко со «свадебного» стола. Петька сгрыз его, булькая от злости.

— Развожусь! С обоими! — выплюнул семечко. — Чес-слово!

Дома влетело за рваный ботинок и вымазанные штаны. Я потрогал ухо и шмыгнул носом. Мама тут же обняла, расплакалась, как девчонка.

Я завел патефон. Когда-то его купил отец. Отстукал ногой ритм и подхватил припев:

— Ландыши, ландыши, светлого мая приве-ет...

14:22. Странные вопросы

Воскресная баня — то, ради чего живут люди. Ходят, как в культпоход — семьями. С утра только и разговоров: занять бы половчее очередь и успеть купить веник. Торжественно гладится смена белья и раздается мелочь на пиво и крем-соду. Пусть объявят конец света — березовый веник вам не уступят.



Мама взялась за портфель. С ним я хожу и в школу, и в баню.

— Я сам! — вовремя накрыл пистолет стопкой чистого белья. Поверх бросил полотенце и мыло с мочалкой. Почистил кирзовые сапоги. Глупо мыть голову перед дракой, но отказаться идти в баню — вызвать подозрения.

— К Батору зайду, мама! — взмахнул портфелем.

Хромой Батор давно просил сходить с ним в баню, хотя у него дома горячая вода и ванна.

Мама успокоилась и принялась за стирку.

Староста Кургузов сыто лоснился в окне. У подъезда Дома специалистов стояла холеная «Волга» — серебрился олененок на капоте. Водитель спал, раскрыв рот. На лестничной клетке у обитой черной кожей двери я поколебался. Хромой Батор не любит, когда к нему заходят пацаны из барака. Я поелозил сапогами о половик и подавил кнопку.

Открыла бабушка — суетливая, горбатенькая, с печеным личиком. Она у них вроде домработницы.

— Уезжает он, уезжает! — махнула она ручкой и хотела закрыть дверь.

— Ко мне? Пусти, бабушка, — ломкий басок команданте не терпел возражений.

Я вошел и понял свое ничтожество. Высокие потолки, широкие окна, начищенный паркет и обилие комнат напомнили школу. Все добротно, крепко — двери в два проема, лепные узоры поверху, осанистые кресла. Оленья морда у входа угрожающе кренится ветвистыми рогами, удерживая толстое кожаное пальто на атласной подкладке. Оно источает запах табака и парикмахерской.

Я стянул сапоги, ступил на ковровую дорожку и в тот же миг почувал себя плохим школяром.

— Тебя нигде нету... — прошептал я.

— Говори нормально, — нахмурился команданте.

— Есть ценные сведения, — чуть громче сказал я. Команданте оглянулся, сделал знак: «Потом, потом...»

— В баню пойдешь?

— В баню? Это идея!

— Ох, рассекретничались! — проворчала, выглянув из кухни, бабушка.

— Батор, я долго буду ждать? — донеслось из полуоткрытой двери.

Ого! Голос построже, чем у директора школы. Отец Батора дома! Он не сделал мне ничего плохого, наоборот, однажды погладил по голове и подарил автоматическую ручку, которая не делала клякс. Ручку я проиграл в «махнем не глядя», но воспоминание о тяжелой ладони до сего времени — 14:22 — стягивает кожу на затылке.

— Обожди в моей комнате, — подтолкнул меня Хромой Батор и юркнул в дверь.

Его комната битком набита интересными вещами. Не считая книг Купера и Вальтера Скотта, на полках, столе и диване были: карманный фонарик, бинокль четырехкратного увеличения, гантели, спиннинговый набор, деревянные ножки, майорский погон, сломанная зажигалка, костяная фигурка индейца, трубка с откусанным мундштуком, мягая охотничья фляга, пустые гильзы, увеличительное стекло, выжженный на березовой плашке портрет Че Гевары, том энциклопедии Брокгауза-Ефрона на букву «К». На стене — карта Центральной и Южной Америки и эспандер. Не удивительно, что Хромой Батор знал почти все и мог достать малокалиберные патроны.

Я потянулся к биноклю и уронил на пол тетрадку в клеенчатом переплете. Она раскрылась — вся в кляксах. И я нечаянно прочитал: «Изменилось все, кроме образа мыслей людей...» Дальше шли собственные рассуждения владельца тетрадки.

«Вчера Б. струсил при выполнении пустякового задания (испугался собаки). В нас сидит страх. Я, например, боюсь темноты. В наказание себя пробил без фонаря в полевом штабе (бомбоубежище). Кругом бегали крысы. Это пострашнее, чем прыгнуть с кочегарки. Отец говорил, что мальчиком тоже боялся темноты. Вывод: страх передается по наследству, как цвет глаз или волос. Страху подвержены и сильные люди (см. партизанский дневник Че). Вытравить страх можно еще большим страхом».

«У них цели и способы иные. Они сильны чувством стаи. Грубая сила, клички, культ вождя (мазёра) — все оттуда... В то же время они — рабы. Могут напасть стаей на одного. Вывод: они — зло. Уничтожать зло в пределах разумной жестокости — око за око. Всякая революция, в т. ч. кубинская, победила большой кровью — своей, но и чужой».



«А. — хороший стрелок, но мягкотел, как интеллигент. Откуда в нем это? Доказано, что мягкотелые люди особо жестоки. Вывод: только сила есть залог справедливости (см. историю франц. революции)».

«П. склонен к дурным привычкам. Дурные привычки есть следствие условий жизни. Вывод: П. не виновен. Оставить в организации».

Я перелистнул страничку. Последние записи были сделаны карандашом, буквы налезали одна на другую.

«Виноваты ли они в том, что не похожи на нас? В их глазах мы — зло...»

«Р. нравится больше и больше. Что делать? (Зачеркнуты два слова.) Ненавижу!»

«Колокольня без колокола? Вместе умирать не страшно!»

У двери завопились — я захлопнул тетрадку. В комнату вошла горбатенькая домработница с тряпкой. Вывернув головку из платка, подозрительно оглядела меня с ног до головы: не спер ли чего?

— Ну-к... выдь. Ходят тут, опосля убирай за ими...

В коридоре было прохладно. Из кухни тянуло свежей выпечкой, я видел край кафельной стенки. Дверь кабинета, за которой исчез Хромой Батор, была все так же приоткрыта. Я не знал, куда деваться от чужих слов. Ну и денек! То подглядывать, то подслушивать...

— ...Кончен разговор! Хороших слов не понимаешь! Садись и уезжай. Машина у подъезда. К вечеру будешь на месте.

Отец говорил с сыном, как учитель с учеником.

— Завтра в школу, — возразили робко.

— Со школой улажено. Отдохнете друг от друга. Между прочим, мне пришлось за тебя краснеть. Да, да, не строй ухмылки! Грубишь учителям, волосы отрастил... Тебе бы еще бороду!

— Было бы неплохо! — искренне признался команданте.

— Кончай паясничать! Я не спал всю ночь... — Голос отца дрогнул. — Батор, ты мой единственный сын... Что с тобой происходит? Умный, добрый мальчик. Откуда эти двойки, эти хулиганские замашки? Одеваешься в какое-то рванье... Я, кажется, создал тебе все условия...

— Спасибо. Не за что, — усмехнулся единственный сын.

— Как... как ты сказал?

— Я долго думал, папа... — помолчав, начал Хромой Батор. — Скажи, отчего колокольня без колокола?

— Колокольня? Ах, эта, у реки? Н-не знаю... Ты задаешь странные вопросы...

— Держись, папа. Это правда, что мы все умрем?

— Умрем?... Кто придумал эту чушь?! — возмутился отец.

— Вы, — усмехнулся сын. — Вы. Взрослые.

— Сынок... — тихо сказал отец. — Я тебя очень прошу, уезжай в деревню. Поживешь у тети Поли, там лес, горы... Чем плохо? Ты мой единственный сын... Уезжай.

— Папа, это будет похоже на бегство. А у нас на сегодня намечена война.

— Война?... Ох уж эти ваши игры! Дети! Если б вы знали, если б вы знали!..

— Скажи, зачем колокольня без колокола... и я уеду.

Стало тихо. Я тоже задумался. В самом деле, почему? Говорят, колокола снимали для отливки пушек. Только в какую войну? В этом или прошлом веке?

— Потому что люди больше не верят в бога, — твердо ответил отец.

— Колокольня должна быть с колоколом, — уперся сын, — иначе это не колокольня. Я долго думал, папа.

— Сынок... Ты говоришь как старик. Уезжай!

— Не могу. Я иду в баню. Меня ждет товарищ.

— В баню?! Ты с ума сошел! Я тебя никуда не пущу!

— Если не пустишь, выпрыгну из машины. На ходу. Буду хромым на обе ноги... — сын засмеялся.

Паркет заскрипел. Отец ходил по кабинету взад-вперед.

— Иди, — вздохнул он. — Дай-то бог...

Я пробежал на цыпочках к входной двери, надел сапоги. Хромой Батор вышел в коридор, натянул рваный свитер.



— Ох-ох! Уже поехал, родненький! — захопотала бабушка. — А пирог-то, пирог! Дорога дальняя...

— Я в баню, дай мыло.

— В каку еще баню? С утра в ванной мылился! — вывернула из платка головку.

— Это не важно, бабушка.

Мы вышли во двор. Шофер «Волги» упал на руль — отсыпался за ночь. Увидев нас, староста Кургузов заволновался в окне, расплющил нос о стекло.

— Где ты был? Мы тебя везде искали! — с удовольствием гаркнул я во все горло.

— Товарищ заболел... Боялся один остаться... Чудной... — уклончиво бормотнул команданте.

Догадываюсь, что «товарищ» — женского рода... Про чердачный разговор, ясное дело, молчок. Не сговариваясь, мы поглядели вверх... Я вздрогнул.

В окне Дома специалистов застыла маска — неживое, белое лицо. Не мигая, Рада смотрела в небо...

— Мамаюкэру, Мамаюкэру, Мамаюкэру, Мамаю!.. — знакомый шкет голосит на весь двор. Сзади плетется на кривых ногах «такса», преданно заглядывает хозяину в рот.

Я спешно докладываю команданте о пользе карбидных гранат, «языке», а также о том, что Зауда готова применить в драке обрез, заряженный дробью.

Команданте молчит, поглаживает подбородок.

Я снова и снова говорю, исходя из последних данных о противнике. На дне портфеля, как у опытного подпольщика, ждет своего часа пистолет-самопал. Страх вытравляют еще большим страхом. Я вдруг обнаруживаю, что не боюсь драки, а жду ее со спокойствием гладиатора.

Карбид можно добыть возле бомбоубежища. Там идет ремонт. Услышав про бомбоубежище, команданте проводит по лицу рукой, будто хочет проснуться.

Во дворе — язык на плечо! — появился связной. С колокольни засекли на том берегу дымок и хлопок в кустах. Зауда сделала пробный выстрел. На мосту уже дважды возникали разведгруппы противника...

Команданте молчит.

Я увожу связного в сторонку и приказываю делать карбидные гранаты. Связной, заложив в рот пальцы, оглушительно свистит... Дребезжат стекла барака. Староста Кургузов приник лысиной к подоконнику — залег, как при артобстреле.

— А меня возьмете? — выныривает из-под руки сопливый шкет со своей «таксой». Собака виляет хвостом.

— Отстань, — говорю на ходу.

Мой Боливар спешит в баню на всех парах. В бой надо идти, смыв грязь, женские духи и сомнения. Я нетерпеливо оглянулся. Команданте сильно отстал. Он некрасиво западал на бок и с трудом подтягивал ногу, — ту, что короче. Впервые я увидел, что Хромой Батор по-настоящему хромоу.

15:00. «Мы будем жить при коммунизме!»

Образцово-показательная общественная горбаня № 1 — местная достопримечательность и точка паломничества. Над двухэтажным зданием, с темными подтеками и окнами-бойницами, гордо реет алый стяг — в праздники и будни. По числу помывок на душу населения горбаня № 1 далеко опередила горбаню № 2, а по количеству посещений — драмтеатр, краеведческий музей, библиотеку, общепит, сапожную мастерскую, парикмахерские и станцию юных техников. Здесь работает коллектив коммунистического труда. Здесь добились экономии горячей воды и расширения прејскуранта. Здесь не дают пиво на вынос. Здесь воспрещен вход в женское отделение мальчикам старше шести лет.

Едва в упорной схватке одолеешь тяжеленную, на висячей гире, дверь, — на тебя выливается ушат сведений и предостережений. Вымпелы, плакаты, стенды, таблички...

Хромой Батор с непривычки вертел головой, шевелил губами. «Штраф три рэ», — разобрал он одинокую надпись на стене, вымазанной свинцовой краской.

— За что три рэ?

Отвечать на глупые вопросы было некогда. Со всех сторон напирали, толкались локтями, словно все эти дяди и тети решили поиграть в знакомую по детским годам



игру под названием «жми масло». После суматошного барахтанья в людском море меня щепкой вынесло к окошечку кассы.

— Веников нет!!! — завопила в мегафон кассирша. Уши заложило.

Людская волна схлынула. Счастливые обладатели веников ринулись вверх по лестнице. Пришлось покупать мокрый веник у свежeweмытого розовощекого типа за полцены.

В предбаннике — черным-черно, но без толкотни. «Еще один!» — гнусавит за шторкой банщик в выдавшем виды халате. «Еще одного» расталкивают соседи, и он, оборвав легкий сон, не веря себе, занимает тесную кабинку. Очередь парилась в верхней одежде, покашливая и всхрапывая.

15:00... Такими темпами нам не поспеть к бою.

Команданте уставился на гигантский, до потолка, стенд с трехметровым красавцем в комбинезоне и с молотом в руках.

«Моральный кодекс строителя коммунизма» утверждал, что человек человек — друг, товарищ и брат. Строитель коммунизма обязан быть примером, хорошим семьянином, нетерпимым к проявлениям хулиганства, национализма и прочего, не пить и хорошо работать... Красавец со стенда безмятежно улыбался, здоровый румянец говорил о том, что он только что смыл все свои грехи в мужском отделении образцово-показательной общественной горбани № 1.

Хромой Батор напряженно шевелил губами...

Меня больше интересовало другое. Наискосок игриво хлопала дверка, колыхалась занавеска и на мгновение сверкала голая пятка. Сердце бухало в горле: вход в женское отделение мальчикам старше шести лет был категорически воспрещен. Я приравнен к мужчинам, но в строители коммунизма не гожусь...

Вдруг женщины загомонили. Расталкивая очередь березовым веником, к двери с криком «Ударник комтруда!» прорвалась тетя Зина и сгнула за занавеской... Я оглянулся кругом и не заметил Семена Самуиловича, мужественно сбежавшего в дамскую парикмахерскую.

— Мы будем жить при коммунизме... — ахнул Хромой Батор.

А то как же! И песня такая есть. В праздники по радио передают. Я насвистел мотив. Дяденька у двери проснулся и погрозил пальцем.

Хромой Батор продолжал изучать программу строительства коммунизма. Я мог отбарабанить ее с закрытыми глазами. Мне даже снилась магическая цифра — «1980». Цифра эта переливалась всеми цветами и была облеплена не то повидлом, не то сахаром...

Мы с команданте переглянулись: одна и та же мысль посетила наши грешные головы. На вершину коммунизма мы взберемся в тридцать лет... по сути, стариками. Если к тому времени у нас не выпадут зубы, то будем бесплатно жрать конфеты. Тридцать?... Лучше поздно, чем никогда.

16:00. Участковый проявляет участие, а команданте шутит

— Пацаны, куда спешим? — окликнул нас, таких чистеньких, Батиста. Лицо его от долгого пребывания в парилке побагровело, белки глаз окровавились. Он распахнул пальто: — Уф-ф! — По усам и вискам струился пот.

Я насторожился, убрал портфель за спину — пистолет был замотан в грязное белье.

— Уф, хорошо! — воскликнул участковый.

Мы согласились. По телу разлилась истома, воздушные пузырьки заполнили каждую клеточку — впору полететь. Не пускала лишь коварная улыбка Батисты.

— Гуляем, пацаны! Воскресенье! Айда, я угощаю...

И, как мы ни упирались, завел нас в буфет при горбани № 1.

Буфет тоже был образцово-показательным. Красный вымпел гордо плыл в табачном дыму над бочками пива и мокрыми головами помытых граждан. «Не курить!», «Да здравствует 45-я годовщина Великого Октября!» — аршинные буквы осеяли чепец с брошью. Буфетчица в чепце с брошью — размалеванная и сдобная — жевала серу, не глядя, наполняя кружки пенистым напитком, одним глазком оценивала сдачу, лениво переругивалась с выпившим клиентом, хихикала в ответ на



шутки другого, помоложе, гляделась в зеркальце и сердито доливала пиво после отстоя пены. Все это она делала одновременно! Честное пионерское!

«Штраф три рэ!» — зачитал ближайшую вывеску Хромой Батор и повеселел. Голос его потонул в перезвоне стаканов и кружек — мужики с жаром обсуждали качество пара в парилке. Столики были заляпаны пивом и рыбной чешуей.

Батиста растолкал громкоголосых любителей пива. Его узнавали и давали дорогу. Буфетчица заулыбалась, поправила чепец и брошку.

Столик насухо вытерла невесть откуда взявшаяся пьяненькая старушка.

Себе участковый взял пару кружек пива, нам — по стакану крем-соды и по пирожному в виде корзинки. Мы с команданте ошарашенно переглянулись: участковый милиционер угощает пирожным! Определенно в этом мире что-то случилось — Уда пошла вляпать?

— Не робей, пацаны, — Батиста одним глотком осушил кружку и вытер усы.

Нет, здесь дело нечисто! Уж больно ласково поет наш старинный враг... Я пнул под столиком ногу команданте. Хромой Батор, не поморщившись, ответил тем же. На двореком языке это означало, что в случае чего крайний должен сдаться в руки милиции, а другой бежать с ценным грузом — я обхватил портфель с пистолетом покрепче.

— Товарищ участковый! — шумели с другого столика. — Просим уважить!

— В другой раз, мужики, — отшутился Батиста и сдвинул лохматые брови. — Пацаны, у меня к вам огромная просьба...

Команданте заранее побледнел — от возмущения. Ясно: сейчас будет вербовать в провокаторы-шпики. Не на тех напал! Мы одновременно отодвинули пирожные-корзинки.

— Вы чего, пацаны? Брезгаете... — огорчился Батиста. Усы повисли. — Ну скажите, чего я вам такого сделал? За уши драл, — извиняйте... Служба! Вы ж тоже не ангелочки...

— Товарищ-щ старш-шина, товарищ-щ старш-шина, — роняя на пол хлопья пены, к столику протиснулся распаренный дядька. — Что ж в-вы в-в одиночестве...

Нас он явно за людей не считал.

— Не видите, гражданин, я говорю тут с человеками, — с железной ноткой отвечивал товарищ старшина.

Дядька исчез. Батиста помолчал, хлебнул пива.

— Сын у меня. Как вы... и росту похожего... На улице пропадает... А в обед пришел в слезах: зачем, грит, батька, тебя Батистою кличут? Шпана вконец задразнила... И впрямь... нехорошая прозвища. Дюже нехорошая. Вроде как и не советская... Время-то какое! Нельзя, пацаны, мне Батистою быть. Что в мире-то дется! Сын ажна в баню со мной не пошел... Он-то за что страдает, пацаны? С такой прозвищой и подыхать тошно!

И этот помирать собрался! Команданте был белее пивной пены. У столика вновь возникла старушка, пьяней прежнего.

— Э, начальник, это тебе с того столика, — прошамкала посудомойка и выставила перед ним две кружки пива. За соседним столиком засмеялись.

— Товарищ старшина, разрешите обратиться, — сказал Хромой Батор. — Зачем колокол без колокольни? Непорядок на вашем участке получается...

Участковый поперхнулся пивом. Старушка постучала начальство по спине.

— А я помню его, колокол-то... — она вытерла тряпкой пролитое пиво. — Как зазвонит вот эдак: бэ-эм-с, бэ-эм-с, — посудомойка отозвалась неожиданным басом, — так душа-то и взывает! И так хорошо-то, и так-то жить хочется... Господи!..

Старушка заплакала и припала к кружке. Батиста отобрал ее у пьяненькой посудомойки.

— Не верите вы мне, пацаны, — насупил он. Лохматые брови шевелились... — А ить я воевал. Видали шрамы в парилке? Ну сами посудите, какой я Батиста? Семья у меня, дети... Работа вредная... Ну хоть как кличьте, хоть по-собачьи, но от Батисты этого избавьте... Прошу!

— Хорошо, товарищ участковый, я постараюсь, — тряхнул чубом команданте.

Эх, видели б пацаны, как плакался нам в телогрейки участковый милиционер! Мы с чувством собственного достоинства доели пирожные и строем покинули образцово-показательный буфет.



— Бэм-с, бэм-с! — загудела вслед добрая старушка.

— Да иди ты в баню! — заорал некто свежепомытый.

— Нехристь! Чтоб ты бомбой разорвало! — живо ответила она.

У крыльца горбани № 1 шептались местные знаменитости — Гриша Гитлер Капут и Примус. Я по привычке прислушался.

— Надо помыться, дорогой, — уговаривал товарища Гриша. — Ты же давно не мылся... Ну узнал, да, узнал?

Примус дернул грязной сивой бородкой.

— Не знаю... Ничего не знаю...

— Видал? Дураки в баню намылились! — со смешком толкнул в бок друга.

Команданте встал как вкопанный. Задумчиво погладил шрам на подбородке.

— Говорят, люди перед смертью хотят быть чистыми... Сколько сегодня народу в бане...

— О чем ты? — засмеялся я. — Какая еще смерть? Просто сегодня воскресенье! Ха!

Команданте сдвинул мое плечо. Больно так сдвинул. Мы стояли на крыльце горбани № 1, поток страждущих помыть свои грешные тела в образцово-показательном заведении не иссякал. Хлопала дверь на висячей гире, нас толкали. Ухо неожиданно оцарапали березовым веником. Команданте отвел меня в сторонку и приблизил лицо. Его волосы пахли мылом.

— Я знаю... — понизил он голос, озираясь вокруг. — Обещай, что не растрезвоишь?

— Вот еще! — буркнул я. — За кого ты меня принимаешь?

— Они... — мотнул он головой на дверь бани, — дураки тоже... они притворяются... Мы все умрем!

— Чего-о?

— Да! Да! — задыхаясь, быстро заговорил команданте. — Про бомбу слышал? Ту самую? Это все из-за Кубы.... Но ты не дрейфь. Умереть всем вместе не страшно...

Теплая капля птичьего помета упала мне на руку. Я задрал голову: под карнизом ворковали голуби. Я стряхнул каплю, пощурился на солнце и хмыкнул: ясное дело, команданте меня испытывает.

— Если ты думаешь, что я испугался этих заудинских... — сплюнул сквозь зубы.

Хромой Батор внимательно посмотрел мне в глаза.

— Ладно. Я пошутил. Не говори никому.

Ну и шуточки у нашего команданте, с ума сойти!..

16:30. «Родина или смерть!»

В окне мячиком прыгала лысина Кургузова.

Выдающаяся личность этот Кургузов. Никто во дворе не помнил, чтобы его выбрали старостой. Скорее всего, он сам себя назначил. Издал приказ, как только вышел на пенсию. Он носил свой необъятный живот и бубнил, что персональный пенсионер. Сражался с мелюзгой, отбирал рогатки и мячики, чтобы не били окна. Потом, видно, сообразил, что гоняться за детишками не очень солидно для старосты двора (и живот мешал), — прочно засел в окне на втором этаже. Обзор у него неплохой, как с трибуны, — и Кургузов непрерывно строчит доносы и жалобы.

Нет, не зря лысина прыгала в окне. Кургузов чуял неладное.

Покончив с домашними делами и не доучив уроки, за сараи, соблюдая конспирацию, по двое, по трое стекалась армия барбудос...

16:30 — общий сбор. Отсюда в походном порядке идем в бой.

В глубине двора на фоне полениц чернели телогрейки, блестели солдатские бляхи, вился дымок. Ждали команданте...

При виде боевых товарищей мой Боливар встал на дыбы, раздул ноздри: «Вива Куба!» Хромой Батор и я подняли кулаки.

Раздался дружный смех. Пацаны нехотя расступились — в центре, оседлав чурку, покуривал Мадера. Он был в тех же пижонских лаковых туфлях и под кайфом. Пацаны глядели ему в рот.



— ...Ну я и кричу этому фрайеру: гони башли, паскуда, а то физию попорчу! Мадеру знаешь, мол! Тю-тю, а он уж купнору сует, хе-хе! Гоп-стоп — и ваших нет! Мадеру на зоне всякий уважал.

Мадера хрюкнул и длинно сплюнул. Пацаны тоже сплюнули — в знак одобрения; засмеялся. Громче всех — Борька и Петька. Карманы их телогреек оттопыривались.

— Закуривай, братва, — щедро тряхнул пачкой «Беломора» рассказчик. К нему потянулись руки. Петька схватил две папироски, одну сунул за ухо. Задымили по новой.

— А-а, вот и наши командиры! — протянул насмешливо Мадера. Пригладил челочку, выгнул ручку, дыхнул перегаром. — Будем, значит, знакомы. Мадера, — слышал?

Команданте сдержанно назвал свое имя. Это Мадере не понравилось: он ожидал возгласов.

— Ты че, не понял? Моя кликуха — Ма-де-ра! Когда в городе шорох наводил, вы еще на горшках сидели, хе... — Мадера ткнул команданте в грудь. — Да не трепыхайся, мне твою мазёрства не надо. А пацаны у ты деловые! Правильные пацаны! Но! Кого хошь замочат! Верна, братва?

Пацаны оживились, стали усиленно плевать сквозь зубы — это вроде как высший шик.

— И замочим! — крикнул Петька; он был в валенках.

— Бей Зауду! — выпучил глаза Борька. А этот-то засоня в честь чего раздухарился?..

— Да я за родной двор!.. За Шанхай!.. Всех!.. Век воли не видать!.. — разрывал на себе телогрейку Мадера.

Пацаны загалдели: «Бей!.. Бей Зауду!.. Всех к ногтю!»

— Родина или смерть! — взмахнул я портфелем. На дне его перекатились пистолет и патроны.

— Братва! — вскочил на чурку Мадера. — Они вас за падло!.. Зауда вас стрелять хочет! Как сусликов! Беспредел, в натуре! Хрена им, суконцам! — Мадера грязно выругался и упал с чурки. Его заботливо усадили на почетное место.

— Вперед, братва! — осоловело брызгал слюной Мадера. — Я с вами, пацаны! Только свистните... Все!.. Вам ничо не будет! Бей их!

Мы заорали, засвистели, сжали кулаки. Мой Боливар заржал, ударил копытом. Борька выгреб из карманов бутылочки и начал раздавать самодельные гранаты.

Кто-то сбегал к бомбоубежищу и притаранил ребристые прутья-арматурины. Кто-то наматывал на руку солдатский ремень. Все как с ума посходили. Я не узнавал Борьку — он расшиб железным прутом доску сарая. Залаяла собака.

Мой Боливар заржал и встал на дыбы.

Мадера, усмехаясь, медленно оглянулся на команданте и золотой фиксой — сверк! Как фотовыпшкой — шелк!.. Фотокарточка мгновенно проявилась и отпечаталась у меня в голове: заудинский дворик, костер, Француз... И Мадера! Это был он, тогда, там, в логове врагов!

От неожиданного открытия я чуть не свалился с Боливара.

— Слушайте! Пацаны! Мадера с заудинскими чифир пил! Он, точно! Послушайте...

Меня не слушали.

«Слышишь чеканный шаг? Это идут барбудос!» — взревели истошно десятки глоток.

«Куба — любовь моя!» — мысленно допел я куплет и схватил Борьку за плечо.

— Вспомни! Ну? Это был он, тогда, за Удой? Вспомни! Ну? Там еще Француз был!

— Точно! — раздул ноздри он, вращая белками. — Как он меня, а?! Барбосом, понял?! За что?! Убью-ю! — Борька яростно высморкался.

— Пацаны! Не слушайте Мадеру!

— Струсил, так и скажи! — кто-то больно толкнул меня в спину.

— Ты, маменькин сынок! — плевок упал у моих ног. — Можешь проваливать!

— Кто — я?! — поднял я камень. Моему примеру последовали.

Мадера мне подмигнул. Команданте стоял бледный.



— Смерть заудярам! — пропищал знакомый шкет и поддернул штаны. В руке он с трудом удерживал бульжник. «Такса» рычала.

Размахивая прутьями и ремнями, барбудос с песней двинулись вперед.

Мадера что-то орал вслед. Мой Боливар закусил удила. Залаяла собака. Петька пнул «таксу».

Ничто, казалось, не могло остановить несокрушимую волю сыновей Фиделя.

Я переложил пистолет из портфеля в карман.

— Стойте! — властно крикнул команданте. Песня не сразу, но смолкла. Пацаны обернули удивленные лица. — Стойте, — повторил команданте и умолк, обдумывая слова.

— Да чего там! — шмыгнул носом Петька. — Бей гадов!

— Задницы им настегать! — надул синие щеки Борька и взмахнул ремнем.

Армия снова пришла в движение. Но команданте поднял руку.

— Пацаны! Пацаны... Идите по домам...

Не по-товарищески получалось. Между нами, мальчиками, говоря, команданте сам заварил эту кашу. На то он и команданте! Он дал мальчишеским головам и кулакам великую идею. Он внес в нашу затхлую жизнь соленый вкус опасности и воинскую дисциплину. Он разделил нас на взводы, а весь мир — на правых и неправых. При нем мы забыли, что существуют бараки, пахнущие кошками, примусы и семейные скандалы, — мы глотнули воздух Острова свободы.

А теперь, когда в праведном гневе сжимаются кулаки и наши сердца бьются как одно, когда наши глотки вот-вот вытолкнут: «Веди нас, команданте!» — команданте скучным голосом просит идти по домам учить уроки.

— Пацаны! — перекрывая глухой ропот, сказал Хромой Батор. — Слушай приказ: всем разойтись, сложить оружие!

— Да че вы слушаете этого фраера! — очнулся на чурке Мадера. Он вскочил. — Ложь и провокация! Уже в штаны наклепал, ха! Зауда смеяться будет! За что срок мотал, братва? Век свободы не видать, чем ваш позор!..

Благим матом завопил Петька: окуроч прижег ему пальцы.

— Сволочи! Надоели! — от нестерпимой боли у него выступили слезы, и он затопал валенками. — Жить не хочу! Чес-слово!

Петька рухнул и начал кататься по земле. Заплечный рюкзак развязался, в грязь посыпались макароны, спички, буханка хлеба, рыболовные снасти, звякнула о кружку ложка...

Никто не пытался унять Петьку — истерики у него случались и раньше. Пацаны задумчиво ковырялись в носках. Петька так же быстро успокоился, обдул с хлеба грязь, затянул рюкзак и закурил снова.

— Эх, вы! — Борька вывалил из телогрейки голубые комья карбида и пошел домой. Читать книгу или мирить родителей.

— Поиграли — и хватит, — усмехнулись позади меня.

— Детское время вышло, — язвительно поддержали сбоку.

— Куба — любовь моя-а-а! — гнусаво пропели рядом и хихикнули.

Железный прут высек из камня искру. Барбудос швыряли к ногам Хромого Батора оружие: ремни, палки, самодельные гранаты, ребристые арматурины...

— Вы че, вы че, братва? — растерянно лопотал Мадера. — Свихнулись, что ли?! Нас же ждут...

— Полет нормальный, — подвел итог Петька, надел рюкзак и поплелся домой.

Хромой Батор смотрел на закат и кусал губы. Налитый кровавой тяжестью диск падал на крыши домов. Синюшные тощие облака разрезали его пополам. Птицы летали низко и молча.

Повстанческая армия разбрелась доучивать уроки и ужинать. У ног бывшего команданте бугрилась гора оружия. Приказ был выполнен, но какой ценой!..

17:19. Заход солнца

Единственный, кто ослушался приказа, — всадник на понурой кляче по прозвищу Боливар. Она еле попевает за впередсмотрящим. Тот смешно и высоко подпрыгивает, волосы развеваются — команданте без армии, сапожник без сапог, — спешит к месту боя. Удивительно, как быстро бегают хромоногие!

— Куда ты? Стой! — зажимаю карман, чтобы не выпал пистолет. Портфель бьет по ноге.

— А меня возьмете? — пищит из-под руки сопливый шкет. «Такса» твякает. Ее хозяин размахивает рогаткой.

— Отстаньте! Оба! — рывкнул я и прищпорил свою клячу. Поравнявшись с Хромым Батором, крикнул:

— Стой! Ты куда? Игра кончена!

— Отстань! — приказывает команданте.

Я послушался приказа вторично.

Пустырь встретил настороженным молчанием. Дымились горы мусора, темные глазницы нежилого барака следили за каждым нашим шагом. Я снял с запястья часы «Победа» и протянул их законному владельцу. Он оттолкнул мою руку.

Я надел часы: что ж, игра продолжается. Гвардия умирает вместе со своим полководцем. Пусть у него нет армии, зато есть стрелок, каких мало. Я отбросил портфель, обтер о ляжку патрончик, не спеша вложил его в канал ствола, оттянул затвор. Сунул пистолет в правый карман штанов. Левая нога — вперед!

17:19. Солнце папиросными точками отразилось в зрачках команданте, — он что-то шептал, — плавно накололось на острые макушки далеких гор. Испуская дух, расплескало по горизонту бордовую нежаркую влагу... Косые тени легли на пустырь. Ветер гудел в коридорах нежилого барака, в мусорных кучах, свистел в одинокой консервной банке.

Я проследил за взглядом команданте — мусорные холмы зашевелились, ожили. Оттуда, из-за свалки, должны показаться заудинские. Боливар подо мной нервничал, кусал поводья. Я натянул их, положил ладонь на рукоять пистолета и попросил Бога, чтобы оружие возмездия не дало осечки.

Хромой Батор шептал, будто разговаривал с кем-то невидимым. Глаза его сузились и слезились от порывов ветра. Волосы упали на лоб.

— А-а, они тут! — из-за мусорной кучи забелели пижонские туфли, потом зачернела долговязая фигура Мадеры. Он подмахнул клешнями консервную банку, она громыхнула, и очень похоже забрехал Мадера:

— Эй ты, командир сопливый, а ну, гони своих вояк обратно! Еще не поздно, усек? Че варежку разинул? Одна нога здесь — другая во дворе!

Хромой Батор не сдвинулся с места. Мой Боливар ударил копытом.

— Давай я... — тихо сказал. — Приказывай.

Команданте промолчал. Дымные полосы струились в свинцовое, опаленное на западе небо...

И вдруг с шумом взлетела стая ворон, закаркала, предупреждая друг друга об опасности. В сгустившихся сумерках явственно послышались голоса, топот множества ног, бряцанье и кашель...

Мадера подскочил к Хромому Батору, сверкнул фиксой.

— Да ты че, в натуре! За дешевку продаешь?! — он толкнул команданте в грудь. — А ну!.. Живо!

Хромой Батор, царапая короткой ногой землю, пошел на Мадеру.

— Ты че, ты че, в натуре! На своих, да?! — попятился Мадера. — А я-то к тебе... как к брату! Дурак ты, поэл? Какие бы дела крутили! По-шанхайски, поэл? Они ж малолетки, усек, им ниче не будет! Малолетки, поэл? Озолотились бы, дурень! — Мадера оступился и упал на мусорную кучу. — Ах ты так, гнида хромоногая! Мадеру на понт! Шанхай спортил, барбос сопливый! — заверещал он. — Уйди, козел! Убью-у-у!..

Лица не было видно. Блеск золотой коронки и чего-то холодного, опасного...

Живот стягивает судорогой. Родина или смерть.

«Если нож — стрелять! Если нож — стрелять!» — твержу приказ, как заклинание, и дергаю, дергаю рукоятку — ствол увяз в дырявом кармане.

Хромой Батор стоит, замороженный тусклым блеском узкой полоски стали. Не отводя взора, делает шаг и загораживает спиной нарушителя закона города.

— Назад, команданте, назад! — дуло пистолета прыгает, рукоять скользит в потных ладонях. — Буду стрелять!

Команданте медленно оборачивается, поднимает руку.

— Не!..

Собачий лай отвлек на мгновение. «Такса» юлой вертанулась у ног и взяла след. Пижонские белые туфли мелькали среди куч.

— Где он?! — обжег горячим дыханием участковый Батиста и понесся в сторону собачьего лая.

Я рванулся было в погоню, но услышал стон. Он шел от земли. Упав рядом, рукой нашарил что-то липкое...

Закаркали, вздымая мусорный ветер, черные птицы, дохнуло холодом — стало темно. Я закричал в ужасе и тоске...

Потом с заудинскими пацанами мы несли обмякшее тело команданте, потом метались от одной телефонной будки к другой; толкаясь и спотыкаясь, бежали за скорой. Потом Борьку не пускали в больницу, а Петька пинал валенками казенные двери; потом у кого-то из заудинских взяли нужную группу крови; потом нас долго держали в милиции и грозили, а толстый майор, побагровев, кричал, что не допустит войны до нашего совершеннолетия...

Краски, слова, запахи воскресного дня смешались. Но был момент — перед тем как захлопнулась дверца скорой помощи...

Команданте шевельнул запекшимися губами. Он бредил.

Я склонился над носилками.

— Я здесь, команданте! Что, что?..

Его волосы пахли мылом.

— Не стреляйте...

Он был чист.

00:00. Продолжение полета

Полночь. Кутаюсь в одеяло, не могу заснуть — возле уха громко тикают часы «Победа».

Встаю с постели. Луна запропастилась. Стекло гнется, дребезжит от ударов ветра, приятно холодит ноющий лоб. В тусклом свете фонаря кружатся, кружатся листья. Барак кричит, подвывает чердаком... Тополя скребутся о карниз, по потолку и стенам гуляют диковинные тени...

Мне страшно. Верного Боливара я отпустил на волю.

Пистолет и патроны выбросил в Уду. Река поглотила их без звука и следа.

Но мне все равно страшно. Я выполнил приказ хромого безумца, но зачем-то оставил последний патрон... Зачем?

Поворачиваюсь на другой бок. Надо думать о чем-нибудь хорошем.

О чем же, о чем?..

Дядя Володя, он же Батиста, изловил Мадеру при помощи «таксы». Собаку кормили всем двором.

Хохряковы непонятно отчего передумали разводиться.

Семену Самуиловичу разрешили заниматься любимым ремеслом. На семейном совете Борька заявил, что пойдет в дамские парикмахеры.

К нам приходил Максим Маланович и сказал, что кризис миновал. Рада спит. Мама надела туфли на высоких каблуках.

О чем же еще?..

Поздно вечером я забрел в кочеварку помыться, чтобы смыть кровь и не пугать своим видом маму. Дядя Саня и его жена купали в своей камерке дочку. Родители смеялись и брызгались водой, как маленькие. Дочка с восторгом пялилась из ванночки...

Мне становится легче.

В окне высыпали звезды, они дрожат и будят слабые надежды.

Спит мама, спят соседи, летят во сне сквозь звезды взрослые и дети, умники и дураки, добрые и злые, спят деревья, кони, караул...

Отбой, земляне! Я завожу часы «Победа», кручу колесико до упора. Утром в школу.

Я зарываюсь лицом в подушку и чудится мне — нет, нет, я слышу! — как нежно и печально звонит от реки колокол...

Марина УЛЫБЫШЕВА

ИЗ ОБРЕЗИ И ЖЕСТИ

* * *

Над Сибирской равниной плывут облака.
Роет жёлтую глину стальная река.
Сеют кварц и слюду берега из песка.
Далека ты, Сибирь, далека.

Там мой пращур на чёрном коне не скакал
И равнинные земли её не пахал,
И луны круглолицей мертвецкий оскал
В чёрном небе с тоской не искал.

Но и я на суглинок её и песок,
На черлакскую пыль нижеомских дорог,
На её азиатский, ковыльный восток
Угодила, как беглый в острог.

Я ныряла в реки её радужный плен,
И мазутные пятна стирала с колен.
Но оскомины диких ирги и малин
Средь иных мне приснится равнин.

Моя родина! Сосен янтарь и смола.
Ты зачем мою душу измором взяла,
Ветром выдула всю, лебедой иссекла,
Солнцем выбелила добела?!

Я люблю тебя словно добыча стрелу,
Как лихой человек ночи тёмную мглу,
Потому и храню в самом дальнем углу
Твоих призраков прах и золу.

* * *

Военный городок. Шестнадцатый по счёту.
Дощатый виадук. Пожарка. КПП.
На выметенный плац опять выводят роту
учиться строй держать, равняться и т. п.



Ну что мне до того? Я не пойму, не въеду,
как преломилось это всё в моей судьбе...
Но вижу — замполит ведёт политбеседу,
двойняшки А и Б всё скачут на трубе.

Там снежная зима, придя в наряде царском,
могла свести с ума, лишь выгляни в окно.
Минуй барака три — и в клубе офицерском
всё крутят допоздна французское кино.

Я помню тот мирок до чёрточки, до точки,
до запаха сырой извёстки с потолка.
Мне было десять лет. И капитанской дочкой
дразнил меня до слёз какой-то сын полка.

Как было всё давно. Как зрители из зала,
отец ушёл в запас. Живёт сам по себе.
Б спился год назад, и А уже пропала.
Лишь сажа да зола остались на трубе.

СОСЕД

Никчёмное моё жилище,
где в щелях адский холод свищет,
гдемышь напрасно сыру ищет,
и кто-то плачет за стеной...

И то ль небритый, то ли пьяный,
сосед выходит из тумана
и вынимает из кармана
обычный ножичек стальной.

Он крупно режет лук на доли,
он посыпает корку солью,
он целый век не видел воли,
хоть не судим ни по одной.

Он жил как все: ходил в парилку,
держал в заначке полбутылки,
в коробку складывал обмылки,
платил за свет и за жильё.

Ну так и что же? Так и что же?
Какая мысль мне сердце гложет?
А вот. Зачем он носит ножик
в кармане френча своего?

* * *

Там, где жуют и глотают,
там, где смакуют и пьют,
ловкие мошки летают,
мелкие сошки снуют.

Это не жизнь, а малина.
Только пристроиться в такт.

Это — немая картина.
Это — бесплатный спектакль.

Старая-старая тема.
Ох, житиё-бытиё!
Вечная философема!
Косточкомелье, нутьё!

Там, где жуют и глотают,
в пол, примеряясь, плюют,
устрицы млеют и тают,
совесть и честь отдают.

Там, где жуют и глотают,
точно под ложечку бьют,
жаждущим не наливают,
алчущим не подают.

ПРО ОВЕЧКУ

Если б я была горою
из гранита и асбеста,
то б гляделась горделиво
в безвоздушный окоём,
и, кристаллами сверкая,
в платье снежном, как невеста,
я не сдвинулась бы с места.
Я б стояла на своём.

Если б я была горянкой,
я бы песню песней пела,
и как маков цвет пылала,
и на свадебном пиру
я б шашлык хрустящий ела,
и монистами звенела,
наливая в звонкий кубок
цвета крови Хванчару.

Если б я была овечкой,
я бы думала о вечном.
А о чём ещё мне думать,
глядя в пляшущий костёр?
Чтобы ухало сердечко,
чтоб свивалась шерсть колечком,
чтоб устойчив был треножник,
чтобы ножик был остёр.

* * *

И рыбы говорят,
и звери молвят речи.
Ты только нем один —
язык мой человеческий.

Беседуют жуки.
И волку волк внимает.



Лишь жестоккрылый люд
слова не понимает.

Он буквиц позабыл
природное значенье.
Он смысла утерял
небесное свеченье.

Напала на него
ленивая зевота.
Ему не по плечу
духовная работа.

А птицы молвь ведут
и выдают коленца.
Лишь мы чужане тут,
дички, переселенцы.

Мычим как немтыри,
изображаем жесты.
Но сделан наш язык
из обреза и жести.

* * *

... И добрые эти старушки,
Забыв про питьё и еду,
Ко лбам приставляя ладошки,
Всё смотрят — куда я иду.

И я, как под дулом mortarы,
Иду и газеткой трясу,
Иду я в чужую квартиру,
Чужую авоську несу.

Хозяйский замок проржавельный
Чужим открываю ключом.
Мне самое первое дело —
Не думать сейчас ни о чём.

В лицо ударяет мне запах
Мышей и чужого жилья.
И чуть приседая на лапах,
Глядит таракан из белья.

А в зеркале, в двух половинках,
Там некто вертит головой,
В лице у него ни кровинки,
И взгляд у него нежилой.

За этот буфет с позолотой
И счастьеце сроком на год
Он платит с исправной заботой
Огромные деньги вперёд

Он ходит с пустым выраженьем,
Ложится в пустую кровать.

Я в этом чужом отраженьи
Себя не хочу узнавать.

Чаёк испитой пусть он цедит
И дороговизну бранит,
Коль собственной жизни не ценит
И счастье своё не хранит.

* * *

А мне, должно быть, это снится.
Когда успела я уснуть?
Летает человек, как птица,
над улицю Красный путь.

Что за нелепость? Что за штуки?
Раскинув худенькие руки,
Пытаясь облако обнять...
Пытаясь дрожь в груди унять...

У пальтеца распахнут ворот.

Внизу лежит огромный город,
из труб и трубок дым пускает,
многотиражки выпускает,
сто книг поваренных листает...

А человек себе летает!
Пытаясь облако обнять...
Пытаясь дрожь в груди унять...

А я люблю его и плачу,
кричу... И — ничего не значу!
Руками голыми мотаю,
но — бесполезно. Не взлетаю!

Мне это снится, снится, снится!
Не может человек, как птица!

Чего он, в самом деле, хочет?
Кому он голову морочит?
Пусть перестанет, наконец!

Но он ныряет в синих складках.

А из распоротой подкладки,
из распоровшейся подкладки,
летит на землю
леденец.

* * *

Как ждала ты от меня писем,
так и я теперь жду, но чего — не знаю...
То ли знака какого оттуда, из тайной выси,
дуновения слабого, эха, тайного сна... Я

конечно, всё понимаю, всё разумею:
почтальоны туда не ходят, голуби не летают.
Но, наверно, молиться, мама, я не умею,
что туда и молитва моя не достигает.

Вот такая, мам, непутёвая твоя дочка:
то слезинки не выжмешь, а то возьмёт — разревётся.
А ты ждёшь, как и здесь ждала от меня строчки.
И всё ходишь на почту или — как там зовётся...

* * *

Господи! Взыщи меня из ада!
Пал мой дух, и свет во мне погас.
День прошёл — я ничему не рада.
Ночь прошла — я не сомкнула глаз.

Шевелю незрячими руками
по стене от двери до стола.
Воздух затвердел и стал, как камень.
А земля, как лодка, поплыла.

Этого ль душа моя хотела,
распуская пёрышки на свет,
наряжаясь в праздничное тело,
заводя будильник зим и лет?

* * *

Никогда мне уже не войти в этот дом,
где рос худенький тополь под самым окном,
где, накат на обои недавно сменив,
глава дома насвистывал странный мотив,

где не дай Бог разбить или что-то сломать,
где из командировки приехала мать,
и по этому поводу в доме уют,
ананасы с шампанским на стол подают.

Ну а в будние дни все пшено да пшено...
Скоро будет развод. Это предрешено.

Где под вечер сестра, накрутив бигуди,
спать ложится со вздохом печальным в груди.
Мой не собран портфель. За три двойки подряд
весь отряд исключил меня из октябрят.

Никогда мне так чисто про поле не спеть.
И так часто ангиной уже не болеть.
След мой смыло волной. Опалил меня зной.
Предал друг. Поглотил океан ледяной.

Как ни странно — все это случилось со мной!

Где (всему любопытство, конечно, виной),
меня током ударило в жизни одной.
А в другой, дорогой, как последний глоток,
все другое: и время, и тополь, и ток.

Семён ПЛОТКИН

БОЕВЫЕ ЗАПИСКИ НЕВОЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Главы из повести

*Тем, с кем я заходил,
и памяти тех, кто не вышел.*

*«Попробуем взглянуть на это дело
с житейской точки зрения»*

С. Довлатов

«Я никогда не вернусь в Ленинград».

М. Веллер

...Я люблю возвращаться в свой город. Самолет снижается сквозь густые северные облака, сбрасывает высоту и, выпустив закрылки, почти замирает, медленно скользя над освещенной теплыми маящими огнями трассой, переходящей в Московский проспект. Теперь, после долгого перелета, уже рукой подать до Сенной. Если в такую минуту в вашей душе запоют скрипки, то знайте — в такт им взмыли смычки симфонического оркестра в филармонии на площади Искусств.

У Тель-Авива тоже есть своя музыка — бесконечная джазовая импровизация с врывающейся какофонией автомобильных клаксонов. Музыка города, который я люблю и ненавижу, которому стало тесно на земле, — и он скребется в небо. Но иногда под вечер, когда спадает жара, когда пустеют улицы, Тель-Авив становится таким близким и своим...

Но мне он не станет родным, потому что родным может быть только тот город, где прошло твое детство.

1.

Мне нравятся мелкие и неприметные на первый взгляд парадоксы, придающие нашей однообразно утекающей жизни особую и порой не замечаемую в своей обыденности пикантность. Как сейчас, когда израильские солдаты поют под отсвечивающим серебром звезд иссиня-черным ливанским небом песни Розенбаума. И будто наяву померещилось — снова ветер заносит в знакомые подворотни бурожелтые кленовые листья, медный Петр вздыбливает коня к слившимся с невоской водой свинцовым облакам, а с высоты Александрийского столпа ангел смотрит на до боли знакомую перспективу... По омытым дождем проспектам мимо перемигивающихся красным сигналом светофоров несется «рафик» скорой помощи...

Противный и замораживающий кровь вой сирены разрушает тонкую ауру видения и возвращает на грешную землю Ближнего Востока. Сирена, не умолкая, бьется над базой; вместе с ней в порывах неожиданно поднявшегося ветра забилась на высоком древке ярко-белый флаг с голубой шестиконечной звездой. «Тревога! Тревога! — перекрывает сирену металлический голос из репродуктора. — Все по местам!»



Струна оборвалась.

— Розенбаум в Афган ездил, а к нам не приедет, — слышу я за спиной.

Мы бежим к площадке, где стоят бронемашины. Из оживших аппаратов связи брызгами разлетаются обрывки обычной радиоперебранки. Сирена, дав петуха, пропжно затихает; ветер пропал, сник надувшийся было флаг.

Над моей головой вполголоса продолжается разговор:

— Чувак, не каждому выпадает искать свое еврейское счастье в зоне, которая не просто зона, но еще и зона безопасности.

— Я на концерте слышал, как он обещал взять автомат и приехать защищать Израилровку...

— Мы сами себе защитники. У Розенбаума есть гитара, зачем ему автомат?.. Это, во-первых. Во-вторых, наша страна называется Израилем. Называть ее *Израилровкой* можем только мы, в зависимости от настроения.

— Я не то хотел сказать. Я говорю о его песнях. Они хороши и для поднятия боевого духа, и так — для культуры...

— Сказал бы я тебе, что у тебя поднимается без моральных подпорок, да Заратра не позволяет.

Теперь ясно: болтают Володя, ныне Зеев, и Шурик — он же Алекс.

На прошлой неделе Шурик, хороший еврейский мальчик из приличной семьи, отличился. Тупой и агрессивный Шмулик, джобник-нестроевик, получивший за наглость и презрение к воинским обязанностям двадцать восемь дней без выхода из части, попросил Шурика передать привет и письмо своей подруге. Шурик выполнил не только поручение Шмулика, но и пожелания его подруги, решившей, что месяц разлуки и воздержания — слишком большой срок. Но Шурик — не Шмулик, он потомственный русский интеллигент, он мучается совестью. С одной стороны, ему понравилось (и хочется еще), а с другой стороны — неудобно перед Шмуликом, перед его подругой, да и сам себе он теперь противен. Шурик копается в своей душе и, используя телефон в моем кабинете, пытается приобщить к этому подругу Шмулика. Он делает долгие паузы, еле слышно тянет слова и шумно дышит в трубку.

Скажи мне, кто ее друг, и я скажу тебе, какова его подруга.

— Ма ата роце? Ред ми мени! — слышим мы ее резонирующий низкий голос.

— Который тут временный? Слазь с mine! Кончилось твоё время! — загибаясь от хохота, Володя выдавливает из себя вольный по форме, но точный по содержанию перевод.

Еврейский князь Мышкин из Шурика не получается, он бросает трубку и в очередной раз обещает больше ей не звонить. Из коридора, от общественного телефона, слышен жизнеутверждающий, первобытный вой Шмулика, дождавшегося своей очереди.

Из обрывков разговоров в эфире проясняется, что наши ребята, лежащие в засаде на безымянной каменной террасе, заметили двух террористов, застывших в кустах на той воображаемой линии, которая называется границей зоны безопасности.

Днем вернувшийся с задания Вадик, здоровый парень, таскающий на своем горбу пулемет, будет, застенчиво моргая русыми ресницами, рассказывать любопытным:

— Задремал я, понимаешь. Вдруг что-то внутри меня толкнуло! Продирую глаза — мать моя женщина: напротив меня, метрах в трехстах, в кустах стоят два хезболлона. Один автомат на плече держит, а другой — вот так, — Вадик вытягивает вперед руку, — на изготовку. И не двигаются...

Усиливая напряжение, на землю опускается предрассветный туман. С натужным ревом пошел вперед танк. Ожидание, в любой момент грозящее прерваться автоматными очередями, давит. Но еще страшнее прыгать в недружелюбную ночь, нести, не разбирая дороги, туда, где ждут нашей помощи, сознавая, что и нас могут караулить предусмотрительно заложенные мины или озаряющий все вокруг характерным свечением внезапно выпущенный противотанковый «Сайгер».

Время тянется нестерпимо долго. Володя с Шуриком замолкают. Медленно, но настойчиво клонит в сладкую полудрему. Наконец над Хермоном встает ярко-красное солнце, резко светлеет, туман рассеивается. В наушниках раздается возглас об-



легчения, — мы возвращаемся к обычной жизни. На этот раз пронесло: террористы оказались при дневном свете хитросплетением ветвей.

Я высовываю голову из люка и обращаюсь к ребятам:

— Пацаны! Решайте, пока я добрый, кто со мной на шабат остается?

— Я, — отвечает Володя.

Я удивленно поднимаю брови: Шурик отгулял, как мы уже знаем, прошлый шабат в Израиле.

— Ему важнее, — подмигивает мне Володя.

— Топай. Топай, а то передумаю! — хлопает он Шурика по плечу. — Тебя ждут, а меня — некому.

Забыв обо всем от радости, Шурик соскакивает во взбитую гусеницами невесомую пыль и мчится к казарме.

— Молодой, зеленый, — по-отечески качает ему вслед головой Володя и взваливает на себя немудреный боевой скарб.

У двери моего кабинета нас уже ждет Шурик. Он торопливо переступает с ноги на ногу, как в очереди в туалет. Ему нужен телефон.

— Мой совет до обручения — не целуй ее, — напутствую я его.

Теперь можно кинуть в угол автомат, каску, бронезиленит, завалиться на койку — и спать. Взволованно-восторженный голос Шурика не дает мне уснуть. Он живописует подруге Шмулика, как им будет хорошо почти целых три дня — полчетверга, целую пятницу, субботу и кусочек воскресенья.

— Секс-момент — «Соло на телефоне». Продолжайте, маэстро! — Володя хлопает в ладоши и подмигивает мне.

— Дай человеку порезвиться, — останавливаю я его. У Шурика слишком тонкая натура, еще не до конца обломанная военной машиной.

Наконец я засыпаю. И снова, но уже беззвучно, мчится скорая по Кировскому проспекту, по Большому проспекту, сперва Петроградской стороны, потом Васильевского острова, и вылетает на мост лейтенанта Шмидта. Брусчатка площади Труда сливается перед моими глазами, и я проваливаюсь в сон, — как есть, в форме и в ботинках.

2.

За окном с легким стекольным перезвоном простучал по стыкам ленинградский трамвай. Мелко затряслась, переливаясь и печально позвякивая подвесками, хрустальная люстра. Дневной свет, пробиваясь сквозь пыльное лаюко, наполняет душную комнату. Сейчас я опущу на пол ноги, и солнечный зайчик осторожно подкрадется к ним по вымазанному рыжей мастикой паркету...

Я поднимаю голову — передо мной знакомая карта северной границы Израиля и Южного Ливана. В школе, на уроках начальной военной подготовки, по таким картам, которые старый отставник «полковник-подокожник» называл «полуверстка-ми», мы играли в войну.

— Вы получили приказ командования, — дребезжал голос полковника, — прибыть из поселка городского типа Первомайское в колхоз «Рассвет», следуя вдоль русла реки Знаменка и канала имени Кирова. В вашем распоряжении пять минут: отметить топографические квадраты, через которые пройдет ваш маршрут, и оценить стоящие перед вами естественные препятствия...

Красный Маген Давид в центре карты — это я. Здесь я живу и работаю, — не люблю подневольного «служу» или героического «сражаюсь». Отсюда вниз тянется витая черная ниточка — асфальтовая дорога, связывающая нас с «Большой землей». А выше — темные треугольнички, опорные пункты нашей и южноливанской армии.

При входе в казарму висит плакат — «Наша цель — тишина и покой северным поселениям и жителям Южного Ливана». Каждый раз, возвращаясь из Израиля, Володя крестится на него и говорит: «Аминь!»

Проходит время — меняются призывы. В мои годы нас встречал лаконичный «Наша цель — коммунизм!» — что выглядело и абстрактнее, и честнее. Нет в этом мире ни тишины, ни покоя, а призрак, рожденный воспаленным воображением двух



косматых космополитов, отбродив, пугая своим оскалом Европу и прочие континенты, удалился на покой... в то время как постоянно присутствующие в истории евреи продолжают своей кровью платить за место под солнцем.

— Где же вы, друзья-антисемиты, дорогие спутники мои... — напевает Шурик, запихивая грязное белье в вещмешок-кидбек.

Я приподнимаю руку («не свисти — беду накличешь») и тыкаю в налипшие на мушку лепешки грязи:

— Это что такое?! Кто тебе оружие чистит?!

— Мама, — не смущается Шурик.

— ...

— Док, это же элементарно, — Володя не может успокоиться. — Его родительница уже с утра в окно поглядывает — бойца нашего высматривает. Как увидит — к дверям кинется, автомат принимать. Шурик, признайся — это правда, что у твоей мамы есть три тряпочки: одна — стол вытирать, вторая — тебе сопли дуть, а третья — автомат драить!

— Да пошел ты, — от отсутствия контраргументов пунцует Шурик.

Видно, что Володя прав, но мне немножко жалко парня. Его мама почти полтора года наивно убеждена, что Шурик прохладается подальше от средиземноморской жары где-то в горах Галилеи. Так она решила, узнав наш номер телефона. Лишь однажды, когда в ее сердце закралось сомнение, мама Шурика робко попыталась выяснить, куда она попала, но Володя был на высоте. «Да здесь мы, здесь, — голосом развязанного гаера кричал он в трубку. — От нас до границы красной кавалерии скакать и скакать, через доли и леса. Ливан?.. Помилуйте, какой Ливан... Ливан — это зарубеж! Туда разговор через телефонистку заказывать надо! С предъявлением номера удостоверения личности». Неужели бедная женщина поверила в этот бред?.. Счастлив тот, кто живет в неведении!..

Гул голосов снаружи усиливается — признак того, что солдаты, уходящие домой, собрались и теряют терпение. Кто-то грохает каской по загудевшей металлической двери и рывкает: «Алекс!» Шурик, волоча за собой кидбек, бросается на крик. Володя, выдержав паузу, с независимым видом идет провожать товарища. Как в конце пьесы — звук пропал, сцена пустеет, и я остаюсь один. Через несколько минут залитые грязно-серые силуэты бронемашин выскочат за бетонный забор, отделяющий базу от дороги, и, набирая скорость, понесутся в сторону Израиля, навстречу свету, праздной жизни, навстречу шабату... А для нас наступит время расслабиться, скинуть попахивающие носки, вытянуть ноги и пошевелить затекшими пальцами. Затихла казарма... как покинутая по окончании сезона дача.

Конец недели в армии — самые приятные дни для сугубо штатского человека. Они лишены той специфики, выделяющей людей в форме в отдельную категорию человеческой формации. Не надо просиживать штаны, сожалея о бездарно проходящем времени, на бесконечных заседаниях, где только посвященным ясно, о чем говорят и что следует сказать. Мое единственное выступление особым шрифтом вписано в анналы нашей части. Разговор был посвящен какой-то антенне. Командир дивизии, мрачно окутываясь сигаретным дымом, в молчании пролистывал бумаги, потом тяжело поднял на нас глаза, выбирая жертву, и произнес:

— Офицер связи, доложите, почему упала антенна?

Связник, вздорный мальчишка с белым чубом, заморгал, засуетился, залистал свой блокнотик, вздохнул и выпалил:

— Антенна упала, потому что не был приварен штырь! Я месяц назад подал докладную вам и в снабжение.

— Хорошо. Снабжение, доложите!

Снабженец — постарше и тертый — дремал, почесывая между ног.

— Можете крепить все, что вы хотите, — буркнул он. — Штырь приварен.

— Когда?! — накинулся на него связник. — Я тебя полгода прошу об этом!

— Не твое дело, — снабженец повернулся боком и заскребся сильнее. — Прощайте — получите!

— Хорошо. Почему до сих пор антенна не на месте?

Связника можно было выжимать, но он отбил и этот мяч:



— Я должен послать ее на ремонт в Израиль, а автодорожники не дают транспорт.

— У нас действительно с шоферами проблема, — подал голос начальник штаба, намереваясь прекратить дискуссию.

Командир дивизии даже не посмотрел в его сторону:

— Я не просил высказываться, — и неожиданно обратился ко мне: — Начнем с доктора.

Разумеется, напрашивается по-одесски философский вопрос: что доктор знает за антенну? Что понимает он в современной технике, оторвавшись от истории болезни с сакраментальной записью, заменяющей диагноз: «Без патологических изменений», — и повернувшись спиной к шкафу с таблетками «от живота», «от головы», «от суставов», «от температуры»?.. Ровным счетом ничего. И я выдал:

— У меня уже вторую неделю телевизор не работает!

Ответом мне был дружный хохот молодых и здоровых мужчин.

— Доктор — это не та антенна!

— Я понимаю, что не та, но телевизор у меня все равно не работает!

Так я оградил себя от чрезмерных посиделок с высоким начальством, но не избежал от прочих малоприятных хлопот. Третьего дня меня поднял невообразимый рокот, неутомимо накачывавшийся к моей комнате. Я только успел присесть за стол и принять позу созерцающего мир гения, как ко мне ворвался начальник базы, именуемый в русскоязычных кругах «товарищем прапорщиком», — краснорожий детина, щеголяющий по особо торжественным случаям в фуражке с загнутой тулией, ставшей анахронизмом еще во времена британского мандата. «Прапорщик» волок за собой Володю и жаждал расправы. Человек, хоть раз отстоявший на часах, когда весь смысл жизни съезживается до фразы «Стой, кто идет!», поймет всю чувствительность данной темы. И там, где другие языки бессильны и беспомощны, только он один — великий и могучий — выручит и придаст уверенность. Моему Володе выпало на одну ночную смену больше, и он, борясь за справедливость, пообещал вступить в нестроевые и нефизиологические отношения с посягнувшим на его права. «Прапорщик» не гимназистка, не первый год в армии, в русской идиоматике поднатолел, но еще усвоил, что у врача есть волшебное слово, могущее стереть его, грозу солдат и радетеля воинской дисциплины, в порошок. Когда на еженедельном расширенном заседании штаба я канцелярским голосом произношу: «Санитарное состояние...» — и делаю качаловскую паузу, — нет у меня более внимательного и преданного слушателя, нет, и не будет! Кого еще может интересовать содержание мусорных баков и состояние сортиров!

Как это принято в Израиле, мы вступили в переговоры с бесконечным повторением «будет хорошо», нудным пересчитыванием часов и препирательством «почему мы, а не они!». В результате, к обоюдному успокоению страстей, был достигнут компромисс — ночь осталась за нами, но ее отстоит пока ни о чем не подозревающий Шурик. «Прапорщик», согласившись с тем, что услышанное им было простым выражением чувств и непосредственно к нему не прикладывалось, осклабился: «Мы же друзья, док!» — и удалился, не закрыв за собой дверь.

— Я тебе пасть порву, — гаркнул ему вслед Володя, — моргала выколо!

Если не поле брани, то последнее слово осталось за нами.

3.

Я выхожу наружу. Яркий свет полного дня режет глаза. Тишина и покой. Часовые прячутся в тень бетонированных будок. В густом и жарком воздухе хамсина вымирает арабская деревня, приткнувшаяся к холму, на котором стоит база. Я иду к забору и кричу:

— Васька!

Появляется Васька, как его кличут здесь на все лады и арабы, и евреи, — молодой, жирный араб в пестрой и нестиранной рубашке. В свое время, по линии компартии, Васька учился не то во Львове, не то в Харькове на инженера, — и русскому языку с мягким малоросским акцентом. В Ливане, Васька держит ларек, в котором наши солдаты отовариваются колой и сигаретами.



— Васька, — говорю я ему. — Хезболла тебе за сотрудничество с израильским агрессором яйца отрезет.

В притворном ужасе Васька закатывает маслянистые глазки, — он понял, что я хочу от него. Трудно не понять. Гарнизонная жизнь в России и в Израиле имеет те же законы и те же особенности.

— Никак нельзя, товарищ начальник, — шепчет Васька, будто нас кто-то подслушивает.

— Шевелись, — понукаю я его. — Меню то же. Водки не надо, — что-что, а надираться в одиночку и без хорошей закуски я не умею.

— У меня «Смирновская» в холодильнике имеется, — как половой в трактире изгибается Васька.

Я молчу, и он передает мне черный полиэтиленовый мешок с торчащей для маскировки бутылкой пепси. Кроме пепси Васька положил в кулек несколько бутылок ливанского пива «Алмаза» — свободная импровизация на тему голландского «Амстэла» — и пакетик соленых орешков, чтоб было чем заесть шабатные шницели. Я расплачиваюсь шекелями.

— А доллары — лучше! — нахально лыбится Васька.

— Рублями получишь, — я делаю вид, что собираюсь забрать деньги назад.

Васька прячет полученное в толстый бумажник на липучках, где есть все — доллары, шекели, динары, фунты.

Мужской разговор закончен, и из ларька неловко, боком вылезает Васькина жена Татьяна, окруженная выводком арабчат, брюхатая очередным Мухаммедом или Али. Васька смотрит на нее с обожанием — она такая большая и белая!

О, эти русские женщины, воспетые Некрасовым и Коржавиным! Куда только вслед за мужьями не заносила их судьба! Декабристки пошли в Сибирь, коммунистки — на Колыму, а нынешние открыли континенты потеплее.

Меня как-то ночью срочно вызвали в больницу к ребенку. Робеющий доктор, с грехом пополам исполняющий обязанности толмача, мягко пожав руку, незаметно исчез — признак того, что вопрос административный, а не медицинский, — оставив меня один на один с наглым и темпераментным цадальником, затарахтевшим по-арабски с отдельными ивритскими вкраплениями. Смысл был ясен без слов. Солдат за свою службу требовал разрешения на лечение в Израиле. В центре приемного покоя, на носилках, вздрагивая в такт дыханию, спал мальчик лет пяти в порванных джинсах, окровавленной рубашке и запекшейся вокруг носа кровью. В углу, на краешке стула, притулилась закутанная с головы до пят, всему покорная, узнаваемая по фильму «Белое солнце пустыни» женщина Востока.

— Что случилось с твоим сыном? — спрашиваю на иврите цадальника.

Тот не понял вопроса, несколько минут мы пререкались на пальцах. В итоге до него дошло, он косолапо потопал к жене. От услышанного я вздрогнул. Поразило даже не то, что солдат назвал ребенка «малым», а то, как из-под паранджи глухо выдохнули на русском: «Недосмотрела я. Утром свалился с лошади».

— Ишь ты, — громко восхитился Шурик. — Араб казака родил.

Цадальник, кажется, не оценил юмора, а паранджа не шелохнулась.

Обычно Татьяна к забору не подходит, держится с детьми на расстоянии. Образованный Шурик объясняет это законами шариата, прагматичный Володя — обычным антисемитизмом, а мне Татьяна как-то сказала, когда вела дела вместо уехавшего за товаром мужа:

— Вы таких как я проститутками считаете. Я же с Васей с первого курса института вместе!

— Количество лет, проведенных женщиной на ученической скамье, на ее сущность не влияет, — циничноотреагировал Володя, а я тогда пиво брать не стал. Постеснялся ее инженерного диплома, что ли.

Сейчас Татьяна подходит близко.

— День добрый.

— Добрый день.

— Скажите, вы давно там не были? — спрашивает она.



- Давно. Как в Израиль приехал.
— Назад не тянет?
— Нет. Да и некогда, — уточняю я.
— А меня он не пускает.
— Не может быть! Васька, что за домострой?!

Последнее слово Васька не понимает. Он просто берет младшую девочку на руки и улыбается жене. Говорить больше не о чем, и мы расходимся. Я возвращаюсь. Вдоль забора густо разрослись кусты, осыпанные белыми и розовыми цветами. Удивительный народ эти израильтяне: куда бы они ни пришли — сразу же тянут за собой трубочки с капающей живительной влагой. И сажают деревья.

Аборигены еще со времен капитана Кука по-своему осмысливают миссионерскую деятельность. И под одно из таких деревьев, растущих при дороге, подложили мину. Взрыв прогремел метрах в двухстах от замыкающей машины. Колонна встала. Из следовавшего за нами джипа вывалился контуженый чадалник и побежал в сторону, через облако еще не осевшего дыма и пыли. Мы высыпали из машин на дорогу. Кто-то азартно всаживал патрон за патроном в белый свет, кто-то озабоченно докладывал по рации, в ожидании дальнейших указаний, кто-то громко делился впечатлениями, а кто-то просто пытался узнать, что все-таки произошло. А потом стало тихо, словно погожим летним днем в лесу. Только легкий шелест листьев. Логика и здравый смысл подсказывали, что сейчас *начнется*: уж слишком хорошей мы были мишенью — двенадцать озабоченных израильтян и три машины посреди дороги. Не сразу, но сработал инстинкт самосохранения, — люди рассредоточились и залегли.

У обочины примостился одинокий домик. Мы с Володей и сапером «из наших, из славян» бежим к нему мимо запричитавшей хозяйки, перескакиваем через загромодившие лестницу плетенки и коробки, выбираемся на плоскую крышу и растягиваемся на горячем битуме. Сверху хорошо просматривается спускающаяся с холма рощица и клочки земли с сочной зеленью табака. Сапер нацелился на рошу биноклем. В разрезе между воротником бронежилета и каской я вижу его розовые, с юношеским пушком, щеки и сосредоточенно поджатые губы. Страх не чувствовался, он пришел позже. Мне интересно. По грунтовой дороге, огибающей рощицу, ползут два пятнистых бронетранспортера Цадаля. Издалека они кажутся игрушечными машинками, брошенными детьми в песочнице. Я веду себя как зритель на представлении, смотрю по сторонам и жду продолжения. Но время идет, припекает солнце, а развития действия нет. В этот момент зрители обычно начинают свистеть и топтать ногами.

Выстрелы раздались неожиданно, оглушив и ударив по ногам отлетающими гильзами. Я рефлекторно дернулся в сторону, пальцем сдирая предохранитель. В ушах звенело, будто через вату услышал:

— Там, мне показалось!

Это Володя; он стоит на одном колене и тычет на невзрачную, затененную горным краем лысую высотку. Если заряд радиоуправляемый, то там неплохое место для корректировщика: спрятался под кустиком между камней — и будь здоров! Враг не дремлет!..

— Видишь подозрительное движение — докладывай! — с металлом в голосе командует сапер. — Нечего ворон пугать!

— Ребята, давайте жить дружно, — говорю я.

— А я о том же, док, — обернулся сапер. — Только кричать не надо. Когда померещится, — это Володе, — крестятся.

Мы еще долго лежали на крыше. Потом прибыло подкрепление и высокое начальство, потом прочесывали местность. . . Террорист, поняв, что сегодня удача способствует не ему, привел в действие второй заряд. Заметая следы несостоявшегося преступления, раздался хлопок, разлетелись в небытие осколки.

— Жалко, что Шурика с нами не было, — надышавшись пьянящего воздуха первого боевого крещения, говорит Володя. У него победоносный вид зазнавшегося мальчишки. Он гордится, что не струсил, что стрелял.

Мне знакомо это чувство эйфории, но я уже видел ошалевшие глаза ребят, вышедших из настоящего боя, пролежавших под минами, потерявших своих девятнадцатилетних братьев.



цатилетних друзей. Я смотрю на парня. Володя идет, положив автомат на плечи и расправ на нем руки, как бывалый американский солдат из фильмов Стоуна о Вьетнаме. Сапер недовольно косится на меня: его офицерская косточка, выдраенная предыдущими поколениями Советской Армии, не принимает моего демократического отношения с подчиненными. Перехватив мой взгляд, Володя понимает без слов и перевешивает автомат за спину.

— Шурик находится при исполнении важной оперативной задачи, — бросаю я и вместе с сапером иду к командиру дивизии, неторопливо прохаживающемуся посередине дороги.

— Как самочувствие, док? — машет он нам издалека. — Что скажете? Среди бела дня и у всех на виду... — командир то ли сокрушается, то ли восторгается прытью «Хезболлы». Он возбужден и улыбается, как профессионал, дорвавшийся до настоящей работы, с наслаждением выпевая в эбонитовый микрофон портативной рации команды. Подчиняясь его воле, работает артиллерия, до нас доносится гул разрывов, и зеленовато-серые фигурки солдат, рассыпавшиеся цепью, ползают по склону. Наверное, именно эту улыбку отца-командира прозвали отеческой, сплывающей бойцов и посылающей их на смерть...

— Немцы во время войны по обе стороны дороги вырубали мертвую зону, — буркнул я. — Если проходил важный эшелон, ставили живой щит.

— Доктор, — продолжает улыбаться командир, — мы же не немцы!

Он прав, но сразу виден пробел в его образовании: ему не пришлось сидеть на собраниях трудовых коллективов, клеймящих израильскую военщину, и программа «Время» не транслировала для него выступления делегатов ООН, пригвоздивших сионизм к фашизму.

— Кстати, доктор, — командир перестает улыбаться, заметив непорядок в боевом строю. — Где второй санитар?

— Он при исполнении важной оперативной задачи, — повторяю я отговорку, и эта фраза производит магический эффект своим бронированным звучанием, пресекая ненужные расспросы.

4.

«Важная оперативная задача» заключается в том, что Шурик сидит в моем кабинете и читает впечатляющий по объему отчет последней инспекционной проверки. Он должен выбрать все, что имеет к нам отношение, и сочинить ответ: «По указанным пунктам... в назначенные сроки... будут приняты меры... контроль за исполнением...» В том, что нас привлекли к бюрократической писанине — моя вина. Любой труд нуждается в управлении и контроле, а в армии такая система наказания и стимуляции доведена до совершенства. Проверяющие в Ливан ездят не любят, их сюда шницелями не заманишь, — они предпочитают булочки в столовых военно-воздушных сил или довольствуются бурдой тыловых баз. В общем, об их появлении мы узнали сразу, как только они подъехали к границе. База завертелась, вместе с ней закрутились и Володя с Шуриком, ибо нет наказания страшней для израильского солдата, чем сказать ему: «На шабат ты остаешься в части!» Ребята убирали, мыли и даже успели закрасить лаконичные, но идущие от души фразы, оставшиеся от предыдущих обитателей комнаты. Как и следовало ожидать, кистью махал Володя, а вымазался Шурик.

— А у вас вся спина белая, — указал я ему на происшедшее.

— Шутка, — сослался на классиков Шурик.

Хорошие у меня ребята, грамотные. «Сто лет одиночества» на иврите уже освоили. Теперь обещают законспектировать «Москва-Петушки». По ночам будят меня криком:

— Отдай! Моя очередь! Это мои «Петьюшки»!

— Вот я вам всем надаю! — рываю я и двигаю каблук по гипсовой перегородке. Пацаны переходят на шепот. По потолку ползают тени. От окна несет ночной свежестью с привкусом мокрого песка.

Так Ленинград по весне вонял корюшкой. Размоченные деревянные ящики с мелкой рыбешкой громоздились на набережных, и бойкие бабенки в грязных пере-



дниках поверх тулугов торговали ею. Тополинный пух вместе с чешуей закручивался белыми бурунами. Пахло цветением. В глубоких дворах-колодцах еще лежали осевшие и почерневшие кучи снега только что прошедшей зимы, а пробудившееся солнце светило, отогревая отсыревшие за долгую зиму фасады домов, уныло тянувшись вдоль линий Васильевского острова. Царь Петр, в спешке прорубая окно в Европу, позабыл о выходе к морю для своего града. Спустя два с половиной столетия его потомки, исправляя историческую ошибку вспылчивого монарха, понастроили за кладбищем на осыпающихся песчаных берегах, где когда-то тайно захоронили тела казненных декабристов, бетонных коробок, видимых сквозь камыши со стороны Приморского шоссе. Геометрический примитив архитектуры конца двадцатого века оживили поверженные шведы, увенчавшие морской фасад города высотным зданием гостиницы «Прибалтийская». И, взлетев над гладью Маркизовой лужи, уносятся к золоченому и играющему водными струями Петродворцу остроносые «Метеоры». Слово «Петергоф» отзывается звенящим клавесином, семнадцатым веком, шуришанием кринолинов, надушенными париками, мушками, кружевами. Толпы туристов глазуют на Большой Каскад и дружно кидают монетки в фонтаны. Моей здесь нет. Зачем? Я приезжал сюда по будням в редкий погожий августовский день побродить в прохладе аллей, насладиться успокаивающим журчанием воды. Словно не было утренней давки на эскалаторах метро «Василеостровская», не вили люди, отчаянно цепляясь друг за друга, на подножках трамваев и автобусов и беспомощно не мотал оглоблями, лишившись опоры движению, троллейбус, застрявший напротив гавани...

Не сейчас не было этого, а была сирена.

За время службы я научился различать их. Обычная сирена — это вместо побудки, без пяти минут шесть. В зимние месяцы дежурный по штабу даже ленится давить на кнопку — нажал разок для порядка и продолжает кемарить; а мы, не досмотрев сны, вываливаемся из казармы, гремя амуницией, и чертыхаемся, путаясь в змейках теплого, но несуразного комбинезона. Все потому что «Хезболла» для проверки нашей бдительности пульнула разок и полезла назад к себе в нору досыпать. Бывают сирены посильнее, когда есть предчувствие, когда у солдат холодеет внутри, замирает дыхание и напрягаются мускулы, — вот он, враг! Затаился! Ждет! А бывают сирены, когда беда, когда случилось неповторимое, когда вздрагивает и обрывается все. Вот тогда воеет и кружит сирена, как долгая февральская выюга.

На крыше нашего броневичка ссутулилась тень — это Шурик. Я издали вычисляю его по силуэту. Он притулился у антенны и горестно покачивается на свежем ночном ветерке, как старый еврей на молитве. Обычно зубоскалящие в ожидании солдаты сидят молча. Нас еще держат в состоянии повышенной боевой готовности, но исправить и предотвратить уже невозможно. Расцветивая черное небо осветительными ракетами, зависли вертолеты, до нас из глубин неба доносится гул их моторов. Старый следопыт, с которым я спускаюсь из штаба, поглаживает живот с нажитой за восемь лет службы в Ливане язвой и достает из бронжилета смятую пачку Marlboro. Я глубоко затаиваюсь. Теплый дым с приятным пощипыванием проникает в легкие, после нескольких затяжек слегка мутит голову. Следопыт заглядывает внутрь броневичка и вытаскивает оттуда Володю.

— Зайчик, — это слово он выучил в массажном кабинете на центральной автобусной станции в Тель-Авиве и теперь к солдатам из России иначе не обращается. — Зайчик, дай человеку поспать.

Это значит, что все кончено. Если следопыт идет спать — все, продолжения не будет. Его интуиция — интуиция дикого зверя; он может на привале, на ровном месте, когда все оприходуют банки сухого пайка, озадаченно прохаживаться вокруг, заглядывая под камни в поисках подозрительного и взрывоопасного, а может в разгар заварухи, как сейчас, когда адреналин кипит в жилах, храпеть на носилках. Володя с Шуриком осуждающе косятся на него и спрашивают, что случилось.

— Нарвались, — зло говорю я, хотя злиться и глупо, и не на кого. — Купились... как дети малые.

Произошла очередная трагедия. Группа террористов подошла к границе и залегла, дожидаясь. Как опытные шахматисты, они разыграли партию на несколько



ходов вперед. Когда появился наш патруль, террористы обстреляли его, но не скрылись, — приняв бой, стали отходить вглубь Ливана.

«Устав и инструкции пишут для дураков и для противника», — как-то произнес «полковник-подоконник». По молодости я не расслышал в этом кровавой истины, приняв за очередное проявление солдафонства.

Патруль занял оборону, следуя букве параграфа, вызвал подкрепление, которое, открыв пограничные ворота, кинулось преследовать якобы отступающего противника и сразу же напоролось на загодя установленные мины. Террористы доиграли партию до конца, стрельнув ракетой в вертолет, забиравший раненых. Выбросил предохранительный тепловой шар, летчик зигзагом увел машину.

— Печальная повесть о том, как евреи с криком «азохн вей» — «боже ж мой» — в атаку ходили, — подытожил Шурик и полез назад на крышу вынимать ленты и натягивать чехлы на пулеметы.

5.

Вечером в дверь постучали. В дверном проеме нерешительно топтался снабженец. В одной руке он держал пакетик хрустящих картофельных хлопьев, а второй привычно чесался спереди и сзади.

— Пациент, — серьезно сказал ему Володя, — выньте руку из жопы, и сделайте доктору «здрате».

Снабженец, уловив насмешку, недоуменно посмотрел на него. Не всем смертным доступны вершины славянской словесности. Он пришел посидеть, поговорить за жизнь. Среди погибших был наш артиллерист Мотя.

Евреи — странный народ. Мы любим копаться в себе, стараясь понять, за что нас не любят. Наша страсть — моральный садомазохизм. Назавтра все газеты и телевидение будут посвящены боли и слезам похорон. Крупные планы поверженных горем родных, фотография матери, прижимающей к груди солдатский ботинок. Воспоминания школьных учителей о детских шалостях и рассказы друзей о мечтах героя посмотреть мир от Анд до Гималаев. Откровения любимых девушек о прелести коротких встреч и планах пригласить всех на свадьбу после армии. Все было бы у этих ребят после армии, но их жизненный путь пресек Ливан. Политики печально соберутся вокруг круглого стола и будут говорить, что в такую скорбную минуту нельзя сводить счеты, что надо сплотиться вокруг общей беды, а потом, постепенно распаяясь, начнут, как на восточном базаре, осыпать друг друга взаимными упреками, что опять огорчили доброго американского дядюшку, что повернулись спиной к старушке Европе, что не прислушались к мнению девятого секретаря третьего полномочного посольства нефтеносного эмирата, прибывшего с особой миссией в Женеву через Стокгольм и высказавшегося во время краткосрочной остановки в Мабуту (где же это находится?)...

Снабженец говорит, что сам командир дивизии поедет на похороны Моти. Сейчас в штабе округа составляют последнее слово.

Мне нечего сказать о Моте. Несколько месяцев подряд мы встречались за обедом. Он шумно заполнял пространство над столом, раскладывая горками нарезанный хлеб, переставляя солонки и гоняя повара, требуя вегетарианский шницель с кукурузными зернышками.

Мне нечего сказать о Моте. Лукаво поглядывая через плечо на одиноко жующего за своим столом командира дивизии, Мотя сообщал нам его голосом:

— Танк с высоты «Двадцать звездочек» снимается с боевого дежурства и возвращается... — вилка в раздумье висит над тарелкой-картой, мы слышим знакомое генеральское сопение, сопутствующее мысленному процессу, потом тяжелое откашливание после глубокой затяжки и приговор: — Нет, не возвращается! Пусть еще двадцать четыре часа повоюет.

Мне нечего сказать о Моте. Ребята, бывшие с ним в тот вечер, рассказали мне, что за несколько часов до гибели Мотя позвонил домой и сообщил матери, что он жив-здоров, а если что случится — она узнает об этом из новостей. Было ли то предчувствие или простая юношеская бравада — никто нам уже не ответит.



Нет. Мне действительно нечего сказать о Моте. Когда ни за что, по слепому стечению обстоятельств гибнут ребята, мне хочется уединиться и помолчать. Как молчали мы когда-то, еще детьми, стоя в карауле у памятника пионерам-героям, нашим ровесникам, в Таврическом саду, а на другой стороне пруда пенсионеры и малыши кормили уточек. Порывистый северный ветер пригнал к земле Вечный огонь, теребил красные галстуки, вздувая пузырьком белые парадные рубашки, пробирал нас холодом до костей. Немела вздернутая салютом правая рука. Над нашими головами большие черные вороны расправляли крылья на голых ветвях вековых деревьев. Протяжное «кар-р» звенело в морозном воздухе, предвещая судьбу.

Цвика натужно хрустит картофельной шелухой. Он явно разочарован: с добрым намерением пришел поговорить, разобраться в вечном философском вопросе жизни и смерти, а наткнулся на сдержанное непонимание.

— А что делают в России, когда теряют товарища? — спрашивает Цвика.

— Поминки, — отвечает Володя.

— По-ми-на-ют, — по слогам поправляет его Шурик.

Цвика переводит взгляд с меня на моих ребят.

— Послушай, — говорю ему я, — подожди пять минут. Пацаны, одна нога здесь, другая — у Молдавана. Пусть даст всего понемножку. И лимончиков. У него ящик заначен.

— А если не даст? — предусмотрительно интересуется Володя.

Молдаван — наш повар, жирный прыщавый парень из паршивого, запыленного городка Ореева, где, по преданию, обитает самый глупый бессарабский еврей и откуда родом Дизенгоф — человек не на невских болотах, но на яффских песках основавший город. Стремительный прорыв к новой государственности породил Петербург и Тель-Авив.

— Тогда скажешь ему, что свое плоскостопие он будет лечить не домашними тапочками, а кирзачами. На радость «товарищу прапорщику».

Я же, прихватив офицерскую сумку, в которой обычно ношу документы, отправляюсь с особой миссией к Ваське. Пехотинец, дежурящий на крыше бункера, кричит мне:

— Что нового, док?

Обычно я останавливаюсь скоротать его время, но сегодня мне некогда.

Васька с коммерческой сметливостью делает скорбное лицо и говорит:

— Жалко. Хорошие люди гибнут. Жалко, — он сокрушенно цокает языком и перебирает четки.

— Васька, люди гибнут за металл. Или за свободу.

— За мой металл. За вашу свободу, — Васька улыбается. — Три шестьдесят две, товарищ начальник? — это как пароль, вымерший, но ставший нарицательным тариф. Он напоминает о скрученной зубами «бескозырке» в сумрачном и загаженном парадном на Литейном — с потухшей с приходом советской власти изразцовой печью и тяжелыми чугунными перилами, где мы прятались от субботника по уборке листьев в Куйбышевской больнице.

Бутылка «Московской» переходит из рук в руки и исчезает в моей сумке.

— Под защитой Красного Креста и Красного Полумесяца, — Васька щелкает толстым пальцем с длинным отменикюренным ногтем по звезде Давида.

Часовой на крыше, скучая, снова окликает меня:

— Док! В больнице что-то случилось?!

Я отмахиваюсь:

— Все будет хорошо!

В комнате ребята застелили газетой стол, нарезали лучок и помидоры, разложили по тарелкам пайковую колбасу и сыр. Цвика покорно смотрел на насмехательство над кашрутом.

Сразу стало тесно. Собрались все, кого «прапорщик» гневно называл «русской мафией». Пришел с банкой соленых огурцов и гитарой связист Рустик, тоже питерский, но с окраин; пришел выкrest во втором колене Слава, чей отец удивительно сочетал в себе и передал по наследству врожденную еврейскую тягу к Иерусалиму и вымоленное христианское стремление к святым местам Палестины. Пехотинцев



привел, как мать-наседка, двухметровый Вадик — и, усаживая на Шуркину кровать, показал увесистый кулак:

— Чтоб молчали у меня, салаги!

Потом Вадик хотел пройти, пожать всем руки, но, разглядев офицерские погоны Цвики, не стал обострять ситуацию и забился в угол. Как еврейские пай-мальчики, вернувшиеся с занятий в шахматном клубе, по интеллигентному робко, бочком протиснулись, затянутые в комбинезоны, танкисты — Володя Либерман, Бублик (не повезло человеку с фамилией) и вечно хмурый Лева («с Одессы»). Они заняли уголок Володиной койки, и сразу вся придорожная пыль фронтовых дорог рельефно осыпалась на матрас и вокруг ботинок.

— Вы, такие-растакие! — набросился на них Володя. — Задницу надо мыть, приходя в приличное общество. Залезли, понимаешь, в презервативы — и довольны...

Володя Либерман покраснел в смущении, Бублик, привыкший не реагировать, промолчал, а Лева буркнул:

— Коптить нас так сподручнее.

— И чего меня тянет к землякам и медицине... — с пониманием подмигнул сапер. Он только что вступил в должность и зашел, представляясь: — Женья.

— Да, мы ребята крутые, — напыжился, выпятив подбородок, Володя.

— Ну это мы после проверим, — Женья по-хозяйски протиснулся к столу, принохался к металлической банке пива. — Мин нет? — осведомился одобрительно.

Водку разлили по пластиковым стаканчикам.

— Лехаим, — сказал я. — За жизнь. И за Мотю.

— Чтоб земля была ему пухом, — пробасил Вадик.

Славик безмолвно шевелил бледными губами, у него есть шанс быть услышанным и Иеговой и Иисусом. Володя Либерман, весь пунцовый, бормотал, что он не пьет. Бублик, пропустив мимо ушей коварный вопрос о том, чем он будет закусывать, с опаской принюхивался, а Лева («Чтоб не в последний раз!») — быстро хлопнул свои пятьдесят грамм.

Женья взял гитару, попробовал аккорды и запел из Высоцкого — «Отражается небо в холодной воде и деревья стоят, как живые». Молчали ребята, молчал Цвика, в интонациях почувствовав смысл песни. Над моей головой в вышине покачивались кроны древних сосен Карельского перешейка, за разлапистыми елями проступала размытой акварелью синева, одинокая береза шумела сочной зеленью на ветру. Полное ярко-желтых лисичек берестяное лукошко, в которых продавали парниковую клубнику, забыто на краю осыпающейся траншеи, оставшейся со времен финской войны. То там, то тут виднеются следы «искателей приключений» — взрытый дерн и потревоженный ковер хвои и мха. Копали в поисках гильз. Я ползу, обдирая об узловатые коренья локти, от кустика к кусту черники, весь измазанный кровавым ягодным соком. Деревья расступаются перед залитой золотом света опушкой. Я приподнимаюсь на колени, среди высокой травы проступают сероватые, размером с блюдце, шляпки грибов. Белые?..

Назойливый писк комара у самого уха отвлекает меня. Писк превращается в дребезжание телефона внутренней связи.

— Док, поднимись на наблюдательный пункт к командиру дивизии, — говорит дежурный по штабу. Его буднично-холодный голос не предвещает ничего хорошего.

— ... Он вчера не вернулся из боя, — на иврите заканчивает песню Женья.

— Нет. Мне не понять таинственную русскую душу, — заключает Цвика.

— Ты не прав, — поправляю его я. — Тебе не понять таинственную душу русского еврея.

6.

Схватив автомат, я скачу через три ступеньки на крышу. В тесной надстройке-веранде в тягучей вате табачного дыма задумчиво плавают командиры дивизии. Один солдат корпит над приборами, второй, накрывшись с головой, спит. В черно-белом телевизоре шевелятся размытые тени. Наш дозор — настороженные, уязвимые, от-



крытые всем ветрам и ночным страхам. Солдат что-то повертел, и изображение сменилось грязно-серой рябью. Командир дивизии хмыкнул. Тут он заметил меня:

— Послушайте, доктор, террористы обстреляли наш танк на высоте «Двадцать звездочек». Мы ответили огнем. — Экран телевизора вновь озарился белым свечением. — После первого выстрела командир танка потерял слух на одно ухо. Что это может быть?

— Наверное, лопнула барабанная перепонка, — предположил я. — Дайте мне поговорить с экипажем.

Солдат защелкал тумблерами, переводя связь:

— Здесь доктор... ответьте!

— «Двадцать звездочек» слушает!

— Здесь доктор, — повторил я. — Мне надо знать, есть ли выделения из уха!

— Что?!

— Из уха течет?

Несколько минут мы слышали тяжелое шипение. Можно себе представить, как в темноте консервной банки, именуемой танком, раскаленной за день, а сейчас излучающей тепло и оттого еще более горячей, в крошечной темноте, пальцами, измазанными тавотом, люди пытаются что-то нащупать в ушной раковине.

— Ухо потное, — доложили.

— Лопнула барабанная перепонка, — повторил я. — Других причин вроде нет. Это пройдет.

— Опасности для жизни — никакой, — заключил командир дивизии, — Продолжаем воевать. Доктор, поговори для душевного спокойствия с каким-нибудь докой по ушам. И запиши в журнал, — добавил назидательно.

«Главное в жизни, — крамольно наставлял нас “полковник-подоконник”, — не учет и отчетность, а фиговый листок на задницу». Видимо, у нашего командира тоже были подобные учителя.

— Завтра, когда танк вернется, я должен видеть солдата!

— Само собой разумеется.

В отделении ухо-горло-носа долго не снимали трубку. Наконец ответила дежурная сестра. Я представился, кто я и откуда, попросил врача. Даже неспециалист знает, что есть врачи широкого профиля, а есть узкие спецы — каста, элита, недостижимые. Их трудно поймать, они появляются с кислой миной на лице или чересчур приветливы, они отвлекают всех от обхода, говорят банальности и подкалывают замечаниями: «С такими пустяками и сами могли бы разобраться»... «Если не хочешь разбудить зверя — не тревожь меня», — удобно устраиваясь в операционном кресле перед отходом в сладкий полуденный сон, наставлял врачевный молодняк обрызгший Оська, приобретший имя и состояние на вырывании аденоидов и промывании фонтанирующих гноем ленинградских синуситов.

Я, не вняв совету, совершил страшное — разбудил специалиста. Сначала в трубке раздалось профессорское покашливание, потом хрипловатое «Да, я вас слушаю», — видимо, со сна человек забыл, что еще несколько лет назад сменил страну обитания. Я коротко обрисовал ситуацию. Молчание собеседника было равно гомерическому смеху — он подбирал слова, чтобы язвительнее ужалить. Свою атаку врач начал издавека:

— Простите, коллега, я что-то не понял. Что вы хотите узнать?

Я повторил:

— В Ливане выстрелил танк. После выстрела танкист потерял слух на одно ухо. Что у него может быть еще, кроме разрыва барабанной перепонки?..

Спящему в постели не понять прикорнувшего на земле, он не поймет, как за скалой можно прикрыться от ветра. Острые ощущения он предпочитает получать поздним вечером, в комфорте, размякая в кресле, просматривая по кабелю единоборство крепко сбитых одиноких бойцов за справедливость и демократию, в тяжелую минуту морально и телесно подпираемых крутобедрыми незнакомками.

— Доктор, мне неловко бросать тень на ваших учителей, но они должны были научить вас заглянуть в ухо и объяснить, что там можно увидеть. Для этого совсем необязательно поднимать на ноги половину Израиля.



На войне как на войне, врага надо бить его оружием.

— Коллега, зачем такое самомнение, — я разбудил только вас. Остальные спят. И спят как раз благодаря тому оглохшему мальчику, продолжающему вести огонь. Поверьте, мне самому очень хочется заглянуть ему в ухо, но для этого нужно взять танк, несколько бронемашин, дюжину молодых жизней и отправиться в путешествие по пересеченной местности. Я думаю, это несопоставимая цена для прерванного сновидения.

Только круглый идиот не внемлет голосу разума; профессорское хрипение соответствовало завыванию компьютера прошлого поколения, прокручивающего программу:

— Абсолютно с вами согласен, акустическая травма. Анамнез, клиника — все соответствует. Лечение временем.

— Благодарю вас. Извините за ночной звонок.

Внизу, позевывая и жуя зубочистку, меня поджидал Молдаван.

— Слышь ты, ленинградец, — окликнул он тоном панибратства и превосходства, свойственным жителям глубокой провинции, выбившимся на заметную работу. — Что вы в поликлинике против меня имеете?

— Ничего. Руки надо мыть после туалета.

— Нет... Ты скажи, кофе с шоколадным печеньем у вас всегда есть?

— Разумеется, Молдаван. Я никак не могу без кофе.

— Шницеля твои ребята в тостере жарят?

— Жарят. Не твою же бурду хлебать.

— Вот видишь, — я к вам всей душой, а Володька твой, — почувствовавшись, Молдаван был готов прослезиться, — обещал отправить меня в 91-й полк. Где это? В Негев? Ты же знаешь, я — боец! Меня из-за плоскостопия в парашютисты не пустили! А вы меня в пустыню, к верблюдам! На кулички!

Я не сразу понял, в ту ночь с сообразительностью у медицины были серьезные проблемы. А когда до меня дошло, то от души расхохотался, окончательно повергнув Молдавана в ступор:

— Парень, ты не бойся, это недалеко. Чешские Буденовицы, — может, слышал? У тебя будет классный командир — поручик Лукаш. А когда ты помрешь от тифа в дизентерийном бараке, тебя приедет отпевать фельдкурят Отто Кац, — тоже, кстати, еврей.

— Чокнутые, — повертел пальцем у виска Молдаван. — Лечиться надо.

— Читай Швейка, парень!

«Кокнули, значит, Фердинанда-то нашего». То-то. Теперь эта фраза немым указателем застыла на крутых поворотах истории.

В поликлинике в одиночестве перебирал гитарные струны Женья.

— Док, три новости. Одна другой хуже.

— Рассказывай по порядку.

— Во-первых, мы пропустили «Крокодил Данди» с ослепительной Линдой Ковальской.

— Се ля ви, как говорят французы. На всех красоток не оближешься.

— Второе. Убили нашего премьера.

— Как так?! — наивно вырвалось у меня.

— Не веришь? Включи телевизор. Я уже устал слушать. Шлепнули на митинге, по методу Фанни Каплан.

— Массы не всегда меняют своих вождей примитивным голосованием, — я развел руками.

Не могу сказать, что меня охватила шекспировская гамма страстей — регулярная смена генеральных секретарей при неизменном коммунистическом курсе выработала иммунитет к переменах во власти. Выползавшие погреться под робкое северное солнышко сморщенные старушки в безобразных драповых пальто и серых платках украдкой крестились: «Господи, чтоб только войны не было!» Но у нас война — вот она, мы в ее эпицентре... что может быть хуже?..

— Но самое паршивое, док, — у тебя пятидесятипроцентная потеря личного состава.



— Как это?..

— Володя — слабак, с одной рюмки распустил соплю. Стал бегать, «Хезболлу» искать. Хотел набить ей морду.

— Ну?..

— Что — «ну»? Поймал я его, слюни вытер, спать уложил. — Женья потянулся к полке с чашками, поликлиническими журналами, медицинским справочником Мерка, иврито-арабским и русско-английским словарями. — Что у тебя есть почитать?

— Завалилась здесь где-то книга о евреях в окопах Сталинграда. С печатью районной библиотеки. Эстафета предыдущих поколений.

— Не... о войне я не хочу. Ну ее, без книг хватает. Цвика сказал, что у Мотиной мамы брат погиб на канале. Мотя мог здесь не служить.

— Мы — мирный народ ростовщиков, ремесленников, социал-демократов и представителей творческих профессий. — Я зажег под кофейником плитку. С ленивым хлюпаньем вулканической грязи вздулась жирная пена. — Пошли, подышим свежим воздухом.

Часовой, дежуривший в наблюдательной будке, слушал радио и плакал.

— Я не могу поверить, что еврей мог убить еврея! — повторял он.

— К сожалению, такие вещи встречались и прежде, — посочувствовал Женья. — Евреи всегда плохо уживались между собой. Поэтому две тысячи лет жили без государства.

— Рабин — он победитель, герой, лидер, — продолжал часовой. — Как можно?!

— С этой минуты он — символ, — сказал я, наливая ему кофе. — Победы забудутся. Лидеры поменяются. Для политика, как и для артиста, важен уход со сцены. Хотя... каждый в душе мечтает умереть в собственной постели в окружении горящих родственников.

Солдат, грея руки, раскатывал чашку между ладоней.

— Как много вокруг смертей! — сокрушенно вздохнул он.

7.

Впереди густо заварилась чернота ливанской ночи. Рядом, бледные, как лица покойников, мерцали редкие огни арабских деревень. Позади, далеко-далеко, по ту сторону границы, притягивали к себе россыпью теплого желтого света наши северные поселения. Ночной воздух был ароматен и чист, как на Марсовом поле, когда приторно пахла сирень. Ее ветвистые кусты накрывали чугунные скамейки, скрывая от любопытствующего взгляда ищущие уединения в белой ночи влюбленные парочки. В точке замершего времени всегда пересекаются тема первой любви и кладбищенского забвения. Тень здания «Ленэнерго» тянулась к граниту могил, испещренных иероглифами революционной стилистики. Торжественные церемонии по красным дням календаря и фотографирующиеся новобранцы с осторожным вниманием обходили угловой камень Урицкого, мешавшего официальной историографии своим именем-отчеством. «Евреи, повально пораженные вирусом сионизма, с давних времен пролезают в щели здания общественных формаций, тем самым расширяя устоявшиеся моральные и государственные устои других народов», — с солдатской прямоотой брякнул «полковник-подоконник» на политинформации для старшеклассников на тему «Мировой сионизм и еврейские трудящиеся». Секретарь райкома по идеологии об эпидемии СПИДа тогда еще не слышал...

Мы присели на бетонный бруствер. После произошедшего Женю тянуло пофилософствовать, рассказать о себе:

— Я из семьи потомственных ратников. И фамилия у нас от прапрадеда пошла, он был николаевским солдатом. Двадцать пять лет служил во славу царя и Отечества, за что получил право проживать вне черты оседлости. У нас дома грамота царская была. Прадед воевал с германцем, так бабка рассказывала. Дед пропал под Киевом, в сорок первом. О чем тоже бумага имелась. Отчим отца был гвардии полковником. После него полсерванта орденов коробочек осталось. Отец дослужился до майора, после попал под сокращение. Я — продолжатель династии, сквозь тернии, так



сказать, к звездам... к фалафелям, — Женя намекал на металлические кружки на погонах старших офицеров. — А ты что скажешь, док?

— Не люблю профессиональных военных. Это пожизненные иждивенцы, предназначенные для одного — по зову государства отдать жизнь, не раздумывая. На практике выходит несколько иначе — первыми головы под пули подставляют другие, честно отдающие свою повинность. По-моему, нормальные люди выше лейтенантов не растут. И мне свои два «гроба» на плечи не давят.

Женя мелким глотком отпил кофе:

— Видно, тебе кто-то хорошо наступил на хвост, док.

— Да, был тут один капитан, — я вспомнил, что Шурик еще не представил мне «опровержение от медчасти».

Когда инспекторы были на подъезде к базе, «Хезболла» сделала несколько выстрелов из минометов, — как говорят в сводках новостей, «не причинив ущерб», но с истощным воем вспугнув стаи одичавших собак и напомнив о своем присутствии. На господ проверяющих это подействовало, и меньше чем за полтора часа они округлились. Нами занимался капитан, от понимания важности своего места в истории задравший характерный мясистый нос с горбинкой, оттопыривший нижнюю губу, отвисшую из-за неправильного прикуса, и выпятивший брюшко среднестатистического израильянина.

«Где же вы, друзья-антисемиты, дорогие спутники мои...» — Шурик тихо напел мне прямо в ухо свой припев-приказку.

Мы друг другу сразу не понравились. Капитан говорил на ровном, правильном иврите, стараясь скрыть акцент. Он сунулся в журналы документации и в порыве рвения, будто ненароком, провел пальцем, проверяя чистоту, по полкам. «У нас уважают труд уборщицы» — чуть было не вырвалось у меня.

Буря разразилась у ребят в комнате. Взгляд капитана наткнулся на календарь — глянецовый разворот с запечатленной на нем загорелой красавицей с профессионально высокой грудью, втянутым животом и узкой желтой полоской на облепленных морским песком полных бедрах. Фотограф не слишком удачно установил свою модель, — впечатление портил продолговатый нос, излишне выступавший на фоне белых барашков волн.

— Ма зе? — своим ровным и незмоциональным голосом спросил капитан.

— Переходящее красное знамя, — не выдержал я.

— Ма?

— Каждый вечер, — в тон ему объяснил я, — мы проводим пятиминутку — с целью выявить отличника боевой и политической подготовки. Победителю присуждается на ночь этот вымпел, который вешается над его кроватью.

Мои ребята беззвучно загибались, капитан молчал, и я продолжил:

— Можно согласиться с вами, что такой вымпел не слишком эстетичен. Но лучшего в наших условиях не нашлось...

— Все! — на чистом русском отрезал капитан. — Я вижу, у вас здесь весело...

Теперь из-за моей несдержанности приходится разводиться бумажную канитель.

— Задание не выполнено, — констатирует Женя. — Пошли будить пацана. Пусть пишет.

Нас опять опередила сирена. Горизонт окрасился сполохами огня. Мимо с тяжелым топотом и лязгом затворов прогалопировали еще не продравшие глаза пехотинцы. Последним, спотыкаясь и поминая всех святых, плелся Вадик. Спросонья он зацепился рогаткой пулемета за сетку ограждения, потянув плечо.

— Не дождалась «Хезболла» рассвета. Торопится, — проворчал Женя. — Ей террористов выводить надо. Пора возвращаться под знамена Корана. Небось, расслабились где-то у нас под боком у своей мусульманской вдовушки.

Но он ошибся. Спецподразделение, забредшее в наши края, замешкалось с выполнением задачи, и мы вышли ему навстречу с едва занявшимся рассветом. В бледном свете медленно растворялись молочные прожилки тумана, вуалью накрывшие придорожные обломки скал. Вцепившись в отполированный ладонями приклад пулемета и скользя подошвами по рифленой броне пола, пытаясь удержать равновесие в штормовой тряске, я смотрел на пробитую гусеницами в каменной



целине дорогу. Впереди, то задирая к небу ствол, то опрокидываясь вниз, взывая, форсируя двигатели, преодолевая препятствия и пространство, двигался танк. Вдруг он замер, и Володька тут же дернул меня за ногу:

— Док, с вещами на выход!

Шутник нашелся! Шурик уже расправил, подавая особый жилет, в котором, кроме четырех рожков к автомату, в специально нашитых карманах понапихано все то, о чем простым смертным лучше не знать и не догадываться. Все для спасения души, отрывающейся от тела.

— Финиш! Дальше не поеду, — заявил шофер и, в знак решительного подтверждения своих слов, положил голову на руль. — Дворы узкие, задом не выедешь, колеса о гвозди пропороть можно.

В салоне, ссутулившись на кресле, спала медсестричка. Спрыгнул в затянувшееся тонким ледком хлипкое месиво, пришлось идти одному. Вызов какой-то дурацкий... Во втором часу ночи позвонила старушка и запричитала:

— Милые вы мои, приезжайте скорей, внучок помирает!

А от чего именно и как пройти — толком не смогла объяснить. Теперь топай, следуя невразумительной писульке регистратора: «Лево — третий двор, право — пятая парадная, лестница — вверх, лестница — вниз...» Шахты дворов уходили вверх, открываясь небу слепыми окошками. Бездомные кошки бесплотными тенями сигали из-под ног за сетки подвалов. Упругая и скрипучая пружина сопротивлялась, прежде чем пустила внутрь. Жидкий свет одинокой лампочки освещал две лестницы, спиралью ввинчивающиеся одна в другую.

Дверь, обитая ободранным дерматином, поддалась, и в лицо дыхнуло спертым, прокисшим запахом коммунальной квартиры. Передо мной открылась бесконечная клоака коридора, забитая гробоподобными шкафами, тумбами, окованными сундуками с ветошью прабабкиного приданого. С потолка сталактитами свисали велосипеды. Слово из земли воскресла мумифицированная старушка, крест-накрест перехваченная платком, засемила, подгребая ручонками и приговаривая:

— Ой, миленький! Ой, идем, доктор! Ой, внучек!

Доски пола скрипели под ногами и прогибались. Из-за замшелых перегородок доносились послеполуночные вздохи и храп, из укромных уголков, как из прошлого, выползали призраки и, согнувшись, спешили по нужде.

Так же неожиданно старушка исчезла. Постепенно глаза привыкли к темноте, прояснились тени лежанки с очертаниями человеческого тела. Неуверенно протянув вперед руку, я ощутил пальцами ветошь стеганого одеяла с торчащей ватой. Заключив, что тело разогрелось во сне и слегка двигается в такт дыханию, решительно сдернул лохмотья. На кровати безмятежно спал парень с развитым торсом качка. С глупым вопросом: «Врача вызывали?» — я бесцеремонно растолкал его. Парень сел, зевая и почесываясь, устался на мой не совсем чистый халат, перевел взгляд на докторский чемоданчик, как бы пытаясь уяснить, есть ли там наркотики... и звонко рассмеялся:

— Не обижайся парень. Бабуся у меня шепутная. Я в сортире газетку почитал, а она новость что подумала. Маразм, сам понимаешь.

Пропала ночь. Мне вслед проскрипело, как из преисподней:

— Доктор, это не дизентерия? Нет?... — и я выбрался на свежий воздух.

«Рафик» основательно припорошило. От работающей печки исходило приятное тепло, отогревая промокшие ноги. На коже сапог пропотевали солевые разводы.

— Выбирай якорь, водила! Работать надо.

Шофер смел с капота пригоршню снега, крякнув, протер лицо:

— Работать? Работа не еврей, в Израиль не уедет!

8.

Ремень спирают грудь, мокрая гимнастерка прилипла к спине. Пацаны складно сопят за спиной. У придорожных скал прилегли бойцы с измазанными черной краской лицами. У засохшего куста несколько человек, ожидая, стоят в полный рост рядом с носилками.



— Ты доктор? — спрашивает раненый; у него спокойное лицо с заострившимися чертами, на лбу фломастером написано время наложения жгута.

Я присаживаюсь на корточки.

— Как дела?

— Ничего. Ногу задело.

Просунув руку под аккуратно заправленное одеяло, чувствую остывшую восковую конечность, а рядом пульс и жар второй.

— Шалом, доктор, — обращается ко мне боец, протягивая руку. — Я санитар. Есть двое раненых, один...

— Вижу! Где второй? — поднявшись, перебиваю его.

— Я... — санитар тяжело опускается на камень. Он похож на Иисуса, присевшего в пустыне перед последней дорогой на Иерусалим.

Володя с Шуриком укладывают его на носилки, распарывают штаны. Как оспенными шербинами, ноги испещрены следами осколков. Досчитав до сорока, пациенты сбиваются.

— Капельницу... Повязки... Быстро! — тороплю я их.

Володя распахивает по карманам упаковки от стерильных салфеток. Ничего не должно остаться врагу.

С неизменной улыбкой и сигаретой подходит командир дивизии. Он только что прибыл со всеми офицерами штаба и полон сил:

— Как дела, доктор? Раненые в порядке? Может, лучше перенести их в бронетранспортер?.. Где командир отделения? Собрать людей! Приготовиться к прочесыванию местности! — отрывисто приказывает он. — Где следопыты?!

Запах порохового дыма мутит мозги и возбуждает лучше хорошего наркотика. В таких случаях начальство надо, во-первых, нейтрализовать, во-вторых, преобразовать его энергию в полезную тебе и пустить в нужное русло.

— Необходим вертолет. Состояние одного раненого тяжелое, — говорю я.

— Понятно. Вертолет будет через двадцать минут.

Раздается короткая команда, носилки всплывают над головами. Тонкая человеческая змейка, теряющаяся среди библейской пустыни, медленно карабкается по склону к разровненной природой площадке, где можно принять вертолет. Пехотинцы парами меняются под носилками. Замыкающим тяжело ступает Вадик, подгоняя:

— Шнелле, юде, шнелле!

Внизу, над умиротворенной патриархальной жизнью деревенькой, распластав крылья, плавными кругами парит орел — гордый и одинокий хищник над первозданной природой. Полет орла завораживает.

Разбив хрустальную тишину, душераздирающе завыл муэдзин, призывая правоверных на молитву. Его вопль, усиленный динамиками, отражается эхом. Подстегиваемые им, мы прибавляем шаг. Что-то вспугнуло хищника — и он, изменив траекторию, стремительно взмывает высь. Неужели так и не привык к человеческому голосу? Но нет — в небе появилось нечто новое, незнакомое и пугающее. Из-за минарета выглядывает сплюснутое, акулье тело «Кобры» — вертолета сопровождения.

Почти сливаясь с землей, долгожданная вертушка, цвета навозной жижи, описав полукруг, зависла перед нами. Преодолевая сопротивление отбрасываемого пропеллером воздушного потока, подтаскиваем к нему носилки. Первый раненый, приподнявшись на локте, слабо салютует нам рукой. «Мы еще вернемся», — не слышу, но читаю я по губам.

Шлемоголовые инопланетяне сидят в капсуле вертолета. Один из них крепит носилки вдоль борта.

— Осколочные ранения... Жгут... — кричу я ему, пытаюсь перекричать гул моторов.

— Доктор, доктор, — меня дергает за рукав солдат с разорванной розочкой щекой и кровавым подтеком на лице. Откуда такой взялся?! — Доктор! Командир послал меня спросить — могу ли я остаться?

Времени на раздумывание нет, я хватаю его за шкурку и поясной ремень и подаю вперед барахтающееся тело:

— Принимай. Еще один!

Шлемоголовый втягивает солдата внутрь.

Позже, из больницы, мне сообщают, что осколок застрял в носовой пазухе. Парня не прооперировали, будет до ста двадцати носить свои девять граммов, раз лежат, не мешают, а его рентгеновский снимок напечатали в научном журнале в рубрике «Курьезы» — напомнив, сколько миллиметров разделяют порой жизнь и смерть.

Низко-низко, резко забирая от нас в сторону, вертолет взлетает и, оставляя за собой светящиеся нити отстреливаемых тепловых шаров, уходит вверх, разворачиваясь в сторону Израиля. Мы провожаем его глазами, задирая головы. Высоко в небе тают барашковые следы от двух истребителей, идущих на север, в Бека, к базам террористов.

— На сегодня война закончилась, — подытоживает Шурик.

Солдаты уходят на прочесывание местности. Нас отводят в резерв — стоять на крутом изгибе дороги возле брошенной жителями деревни, в которой, по данным разведки, обитают несколько стариков, а по ночам в бинокль можно увидеть слабое мерцание огня в окошках. Место гнилое, заслужившее дурную славу: много лет назад «Хезболла» успешно напала здесь на колонну, захватив тела двух наших мальчиков. Только сейчас, после продолжительных тайных переговоров с участием Красного Креста, задействовав неофициальные дипломатические контакты, освободив живых террористов, мы вернули тела назад.

К нам присылают цадальника на джипе. Не слишком понятно, кто кого должен охранять, но союзник настроен решительно. Как преданную спутницу придерживают за шею, так он сжимает ствол «калаша». Автомат его подобен безропотной кляче, тянущей свое ярмо. Ни ветошь, ни масло не касались его механизма, обмотанная изолентой обойма приржавела к корпусу, но — берегись! — патрон в стволе, а взведенные пружины боя не подведут. Недаром говаривал «полковник-подоконник»:

— Всякие там арабы с негритосами из недоразвитых стран нам за «калашников» руки лобызать должны! Мы их безотказным оружием борьбы с монополистами-империалистами вооружили.

Скала гнилые зубы, цадальник предлагает лепешки с травой, полезной, по его словам, для продления жизни и, главное, потенции. Отказываясь, Володя смеется:

— Начальник, дай мне увольнительную, а там я и без его снадобий справлюсь!

Цадальник, догадываясь, о чем речь, хихикает с мужской двусмысленностью.

— Разговорчики, понимаешь! — я бесцеремонно проверяю предохранитель на его оружии, — от греха подальше.

Теперь главное — удержать интонацию:

— Шурик, тебе давно не икалось!

Шурик с младенческой наивностью моргает, открыв рот, и, сообразив, копается, невнятно бормоча оправдания, по карманам, извлекая сложенные вчетверо листочки, из которых выпадают затычки для ушей. Я бегло просматриваю его ответ высокому начальству. Молодец, прикрыл округлыми фразами всякое отсутствие мысли.

— Сойдет, — вслух роняю я. — Сейчас, пацаны, смотрите в оба...

Из нависшей над нами хибары раздается подозрительный стук, в слюдяном окошке зажегся свет. Мы насторожились, подняв автоматы. Стук повторился. Прошло несколько томительно-длинных секунд, называемых временем реакции. Или мы врываемся внутрь для выяснения источника стука, рискуя оказаться в западне, или ждем, — и тогда нас могут отстрелять, как куропаток.

Со скрипом двери, открываемой привидением, из угла жилища появился серый ослик и, подойдя к ограде, покивал нам своей тупой мордой.

— Дадим «хезболлону» хлеба, — обрадовался Шурик. — Задобрим вражину.

Вылезшая из хибары ведьма бранью и хворостиной загнала ослика в дом.

— Пресекли недозволенный контакт с противником, — не огорчился Шурик, хлебной горбушкой извлекая из банки шоколадную мазилку. — Ничего, нам больше достанется.

Через пару часов нас свернули, и мы вернулись на базу. Пацаны подают броневичок на стоянку.

— Прибрать... Убрать... Восполнить... — команду я.



— А пожать? — веселится Володя.

Я не отвечаю и стучу в окошко к радистам:

— Рустик, не в службу, а в дружбу, — подаю ему листочки Шурика, — разошли на все четыре стороны. Шоб успокоились.

— И все? — умный Рустик смотрит на меня ясными глазами.

— Дай связь.

Рустик просовывает трубку сквозь решетку.

— Здравствуй, это я. Не разбудил? Новости не слушала? Ну и хорошо. Мы уже встали. Ребята сейчас перышки почистят, пойдем принимать витамины с жирами и углеводами. Пока.

Мимо нашего броневичка гуртом потянулись пехотинцы. Приветствуя их, Шурик известным жестом выбросил вперед руку и заговорил, картавя:

— Товарищи евреи, решение вашего вопроса, о котором так долго говорили большевики, свершилось! — лукавая усмешка. — А то что вы промахнулись, вместо Палестины попав севернее — это следствие вашей политической близорукости, позволившей сионистствующим меньшевикам оболванить несознательные массы и увести их подальше от решения насущных проблем. Пеняйте на себя, батенька!.. Вадик, что ты рот раскрыл? Ты меня понял? Или повторить?..

— Я тебя понял, — в одно касание двухметровый Вадик взлетает на крышу броневичка, и вдвоем с Шуриком они отплясывают импровизированный танец с притопыванием, закладыванием пальцев за складки бронезилята и выделыванием коленцев. Смесь фрейлекса с камаринской. Солдаты гогочут и аплодируют.

После полудня, сбросив из-под крыльев тонны песка, вернулся танк с высоты «Двадцать звездочек». Вылезшие из башни танкисты машут метлами, расправляя затекшие конечности. Я нажал кнопку селекторной связи.

— Слушаю, — с шепелявым южноамериканским акцентом гаркнул офицер танкистов с ласкающим российский слух именем и фамилией — Хулио Лысенко.

Гусаров и генетиков прошу молчать! Наш Хулио — истинный аргентинец, у него в голове ветер прерий. Самая большая трагедия — пропущенный футбольный матч, а разницы между танком и бычком на родео — никакой, главное — на скорости удержаться в седле.

— Хулио, где пострадавший?!

В ответ раздается свист соловья-разбойника, и буквально через минуту Володя кричит мне из амбулатории:

— Доктор, морганисты-вейсманисты прибыли!

Трагедия оборачивается комедией, с прологом и эпилогом. Солдат не один, его плотн обступили товарищи — мол, в обиду не дадим. В роли парламентаров знаковая троица — Володя Либерман, Бублик и Лева «с Одессы».

— Ухо!

— Видите ли... — интеллигентно издалека начал Володя Либерман.

— Ухо!

Бублик пасмурно молчит, всем видом показывая, что говорить не о чем.

— Парня судить не будете? — поставил вопрос ребром Лева.

— Что за дискуссия?! — я поднял отоскоп, как жезл. — Пусть покажет ухо.

Танкист чуть не плакал:

— Я в порядке. Просто после выстрела полетел наушник.

— Все, Володя, закрывай лавочку, идем смотреть телевизор.

9.

Смотреть было нечего. Беснующаяся толпа, разогретая инстинктом стада и крови, рукоплескала своим кумирам — потомкам мамелюков и янычар, повязавших лбы зелеными тряпками со словами из Корана и клявшихся умереть за святое дело.

— Неистребимо слово пророка, — заскучал с выразительными интонациями Шурик. — Крестonosцы сюда ходили? Ходили! Суворов Исмаил брал? Брал! Наполеон при пирамидах прикурить давал?..

— Не хнычь, мамуля, — остановил его исторические изыскания Володя. — Просто все ждали нас!



Толпа, распаяясь, стала жечь израильские и американские флаги и чучело дяди Сэма в цилиндре.

— Америке хорошо, — продолжал хандрить Шурик, — она большая и она далеко. А Израиль маленький, — Шурик показал фалангу мизинца. — Вот такой. И рядом...

— Гранатой бы их, — мрачно заметил Вадик, сидящий в позе старого гренадера, опершегося на ружье.

Я переключил канал. После портрета сирийского президента нам показали вытянувшиеся перед допотопными, увязшими в песке гаубицами brave артиллерийские расчеты, щелкающие каблуками и рапортующие.

— Уберите этих придурков! — взмолился Шурик.

Сирийцы поменяли обыденную реальность на художественную. Фильм был снят по лучшим рецептам киностудии имени Довженко: доблестный сирийский солдат, не забывая сдвигать со ствола пороховую пыль и вытирать об рукав лезвие клинка, крошил сыпавшихся на него, словно картошка из прохудившегося мешка, израильтян направо и налево. Наши солдаты напоминали немецко-фашистских захватчиков, путались тощими ногами в импровизированных полах шинели и стреляли с бедра. Последний солдат израильской армии был взят в плен. Пушки на обоих каналах победно польхнули огнем...

За чугунной оградой больницы резвились киношники. «Дубль первый». По аллее, между разросшимися деревьями, туда-сюда ездил экипаж. «Дубль второй». Съезжаются гости на бал. «Дубль!» Подхватив юбку, актриса перебежала от подъезда с прислоненными колоннами к клумбе. «Дубль!.. Дубль!» Платформу с оператором катали за спиной актрисы. Она шла походкой павы, русская барышня из ушедшего века.

— Душенька моя, — страдал режиссер, — не суетись! Плавне-е-е...

— Про что снимаете? — любопытствовали сбежавшиеся сестрички-лимитчицы у озабоченной ассистентки с хлопушкой и блокнотом.

— Тургенев?.. Толстой?.. — гадали они, морща лобики и напрягаясь. — Бальзак! Оноре де!

— Девочки, — с усталой интеллигентностью говорила ассистентка, — это Печорин. Повесть о потерянном поколении.

Наверно, все поколения потерянные или обманутые. И у всех есть герои нашего времени, только об этом они узнают позже. Гораздо позже.

— По-моему, персонажи Ремарка ближе к нам, — продемонстрировал я эрудицию медперсоналу, намекая на дискуссию.

— На каком-то там фронте без всяких там перемен, — весело поддержал меня курносый паренек в открахмаленном халате и чепчике, студент. Ассистентка посмотрела на него поверх очков:

— Вы понимаете, в жизни... — начала она.

Студент согласно кивнул, медленно заводясь:

— Да, конечно, я понимаю.

— Стоп, — радостно закричал режиссер. — Снято!

— Пошли, — буркнул я студенту. — Пора грызть гранит науки.

Парнишка восстановился в институте после Афганистана, куда попал за непонимание принципов построения дружбы между народами: дал по морде негру, соблазнявшему дебелию провинциалочку импортными кроссовками. Пройдя школу бойца-интернационалиста, он сохранил простодушную улыбку, но в корне изменил свое восприятие мира, и на простой, без подтекста, вопрос о том, какая сыпь характерна для ветрянки, отвечал:

— Поражения кожи бывают от болезней и от напалма. Давайте я лучше расскажу...

Теперь я тоже могу о многом рассказать.

Навстречу нам ковылял, «нога косит, рука — просит», ходячая достопримечательность больницы — Израиль Соломонович, этакий местечковый слабоумный, провернутый в мясорубке государственного масштаба. Израиль Соломоновича и



ему подобных называли «России верные жида». Советская власть, ликвидировав черту оседлости, дала им возможность осуществить мечту поколений — получить образование, взамен приучив вместо синагоги ходить на партсобрания, заставив отречься от родственников за границей и других, менее удачливых, братьев и сестер, объявленных классовыми врагами и вражескими наймитами, позволив сохранить лишь рудиментарные остатки национального самосознания — пятый пункт, легкую картавость, несколько слов на идиш, и снисходительно не тронув доставшиеся от покойных родителей первоначальные имена с отчествами.

Вместе с советской властью Израиль Соломонович учился, мужал, строил и сражался. Первый раз судьба объявила ему, что принесенных жертв и преодоленных лишений недостаточно, в пятьдесят третьем году. Израилю Соломоновичу объяснили, что он, выполняя задание мирового сионизма, травил доверчивых граждан, и вызвали на собрание партактива. Израиль Соломонович вызов принял, надел принесенный из химчистки пиджачок, нацепил на него правительственные медали и привинтил орденскую планку.

— Я тоже был на фронте, — сказал председатель, — но у меня есть только медали.

— Потому что ты трус, — ответил Израиль Соломонович и слег с инфарктом, отстояв честь, достоинство и партбилет.

Казалось, все успокоилось, можно продолжать жить, — даже дышать стало легче. Израиль Соломонович работал, старел, строил кооперативные квартиры — сперва себе, потом дочери; растил внука. Но оказалось, что быстро дряхлеющая вместе с вождями система просто выжидала. В середине семидесятых она взяла реванш. Объявилась не какая-то там безымянная тель-авивская тетька, а Двора, родная сестра Израиль Соломоновича, которую он в последний раз видел, прощаясь на перроне, уезжая по комсомольской путевке учиться. С остекленевшими от слез глазами Двора тянулась к нему на цыпочках, повторяя: «Не пропадай, Изенька! Пиши, Изенька!» Пробежав несколько метров вслед за тронувшимся теплушкой, Двора крикнула: «Я найду тебя, Изька!» И нашла, прислав письма с полароидными снимками своих белозубых американских внуков. Израиль Соломонович с горечью почувствовал приближение беды. Дочь, разговаривая с ним, блуждала взглядом. Зять, инфантильный раззява, неприспособленный к жизни, перестал заходить, интересуясь здоровьем, а, нарочно раздражая, звонил, пересказывая последние новости от «Голоса Америки».

Через полгода венским транзитом молодые отбыли на тихоокеанское побережье Соединенных Штатов, а Израиль Соломоновича пригласили на партсобрание. Спектакль в дурных декорациях повторился, — с поправкой на время. Парторг, обращаясь поверх голов к светлому будущему, сказал с рабоче-крестьянской ясностью, что Израиль Соломонович получил от советской власти все — право на работу, профессию, жилье, обеспеченную старость, но вместо благодарности вырастил будущего солдата армии нашего вероятного противника. Израиль Соломонович молчал, соглашаясь с правдивой логикой; он ощущал себя предателем. У него хватило сил сдать партбилет, вернуться на автобусе домой, где его разбил инсульт. Жизнь потеряла для Израиль Соломоновича смысл. Идти было некуда. Оставалась одна больница. С автоматизмом собачки Павлова Израиль Соломонович ежедневно появлялся здесь, бродя по дорожкам. Работницы пищеблока, испытывая сострадание, иногда звали его снять пробу...

— Зд-г-равствуйте, молодые люди, — шамкает Израиль Соломонович, раздвигая склеенные прогорклой слюной губы. — Что скажете, хогошего?

— Нет в жизни счастья, — опять вставляет свое слово студент. — Зачетку крысы съели, куратор, — хлопает он меня по плечу, — на выезд подался, а нам, простым русским людям, остается корпеть под татаро-монголом, потому как бежать нам некуда, нигде нас не ждут.

С неба обильно сыпалась белая пышная крупа, перемешанная с изморозью. Крупные снежинки путались в кучерявых волосах-пружинках старика. Израиль Соломонович, пожав плечами своим мыслям, колченого пошлепал прочь.

— К весне тебя уже здесь не будет, — сказал мне студент. — И мосты будут разводиться без тебя.



— Да пошел ты, — беззлобно отругиваюсь я. — Какая тут романтика — часами ждать в скорой, пока их сведут обратно. Это на фотографиях красиво.

Но нет ничего лучше белых ночей! Ради них можно терпеть бесконечные осенние дожди и такие же бесконечные зимние ночи. Ради этого мгновения, когда город-призрак достается тебе одному... Ароматная свежесть после недавно прошедшего дождя, сочная зелень листвы подстриженных аллей; по пустынным улицам раздается перестук исчезнувших в небытие конок и экипажей; черная вода в каналах замерла, зацветая у гранита набережных.

По невскому фарватеру, покачиваясь на легкой волне, медленно движется яхта под алыми парусами.

— Девушка, вы Грина читали?

— Любите ли вы Брамса, молодой человек?..

И в обнимку, прижавшись плечом к плечу, мы бредем мимо уснувших на кольце Конюшенной площади трамваев к незакрытому на ночь парку за витой оградой, и в высоких окнах флигелей Русского музея дрожит, зажигаясь, заря.

10.

На Новый год в Ливане стреляли непрерывными автоматными очередями. Хлопьями падал снег, быстро оседая в лужах. В воздухе разрывались петарды.

— Христиане радуются, — глядя на них, задумчиво произнес Шурик.

— Шура, мы чужие на этом празднике жизни, — подколот его Володя. — Пей, пока не остыло.

Мы принесли Шурику, стоявшему на часах, термос с чаем. Он притоптывал, благодарно размахивая собачьим треухом, — будто сторож заготконторы с берданкой.

Еще один год прошел. Дед Мороз из трескающегося папье-маше у Гостиного двора одиноко мерз между моргающих крашеными лампочками обледенелых елей. По пустынному Невскому мела поземка. В переходе под Садовой устрашающе завывал ветер. На пухлых, прохладных губах девушки, треснувших от поцелуев на морозе, вишневым соком выступила капелька крови.

— Нам надо спешить на электричку, — сказала она. — Нас ждут в Комарово!

— Подождут. Без нас Новый год не начнется...

Сухой морозец жалил лицо и подгонял к даче, к жарко растопленной печи и накрытому столу. Чем возрадуется душа советского человека по праздникам?.. Ею, родимой! И «Советским шампанским» по такому случаю. Салатом оливье, шпротами и селедкой под шубой на закуску, марокканскими апельсинами для экзотики и эклерами из самого «Норда», чтоб прочувствовать радость жизни. Срубленная елочка с красной звездой на макушке пахнет хвоей и смолой, оттаивая в углу.

— В следующем году в Иерусалиме, — не к месту брякнул под кремлевские куранты ухо-горло-нос Оська, притягивая к себе чью-то талию, восторженно пищая от его юмора и нахальства. Нынче, по слухам, Оськина голова обросла пейсами, накрылась черной шляпой, а бывший питерский ловелас усердно корпит над святыми писаниями в Бруклине. Да и остальных, с кем начинали, широким броском раскидала жизнь от Австралии до Канады, только друг-однокашник Мишка со своим батальоном сидит на другом конце зоны безопасности.

В душе была горячая вода. Почти кипяток. Минут через пятнадцать я очнулся — нет, не сирена. Звонил телефон — обычный, не внутренний. Понял я это поздно, приплясывая босиком на холодном каменном полу. Звонил Мишка, — легок на помине.

— Привет! Что делаешь?

— Пою в клозете.

— «Happy new year?»

— Нет. «Oh-Oh! You're in the army now!»

— А! Я тебя поздравить хотел. Потрепаться. Как тебе служится, с кем тебе блудится...

— Спасибо. Давай после дембеля. На следующий год в Иерусалиме, — я улыбнулся, опять вспомнив Оську: везло же тогда человеку с бабами.

К утру те, кто еще сохранил после вчерашнего способность передвигаться и мыслить, выползли из испоганенной перегаром берлоги на свежий воздух и оказались в сказке. Мороз сковал стекла причудливым орнаментом. Над прикрытыми белоснежными сугробами домиками из труб струился легкий дымок и позванивал хрустальный лес.

С наступившим днем война вновь напомнила о себе. Выехавшая на позиции машина с солдатами Цадала подорвалась на mine. Есть убитые. Поварихе оторвало ногу. Следом пришло сообщение, что перевернулся бронетранспортер, еще несколько раненых. Началась перестрелка. Полный балаган и минимум информации, кроме одной, — всех пострадавших везут в больницу. Я не успеваю позвонить туда, убедиться в наличии оперирующих врачей, хирурга, ортопеда и даже гинеколога, как разом взрываются все телефоны. Звонят из округа, звонят из дивизии, звонит пигалица с пропускного пункта на границе — хочет принять участие, спрашивает, чем может быть полезна. Освободи линию, тебе все скажут, когда придет время! Звонят падкие до жареного журналисты. Они пеленгуют нас лучше противника! Всем нужны подробности. Раненый может умереть у порога, а ты об этом не знаешь, отвечая на расспросы. В таких случаях Володя незаменим.

— Семнадцать раненых, пять убитых, — безапелляционно заявляет он. Телефоны замолкают минут на десять. Информация переваривается.

— Шурик, — празднует победу Володя. — Завари мне и доктору кофе. Сахара — две ложки. Не жмись.

Тайм-аут проходит. Телефоны снова распалываются.

— Примите поправку, — резвится Володя. — Убитых двое, раненых пересчитываем. Нет, доктор подойти не может, — подмигивает он мне. — Доктор занят.

На другом конце провода мир переворачивается, кипит страстью, мы же продолжаем сидеть в неведении.

По внутреннему телефону звонит дежурный по штабу:

— Доктор, есть разрешение зайти в больницу. Сколько возьмешь санитаров?

— Обоих.

— Фамилия. Личный номер.

Я диктую. Пусть потомки узнают, кто и куда ушел на задание.

Снизу дежурный офицер в присутствии командира дивизии инструктирует солдат охраны:

— Двое на входе, двое на выходе. Посторонних не пускать! Доктор с санитарями работают. . . Смотреть в оба! — дополняет он. — Наш доктор — не премьер-министр, его заменить некем.

Разумное замечание. Ближайший к нам врач сидит в Израиле, а по мою душу уже, может быть, близко ходит обмотанный тротилом, одурманенный наркотой и обещанием утех с семьюдесятью девственницами в потустороннем мире самоубийца. Совсем не трудно подойти к врачу с просьбой о помощи, показать ворох справок-выписок и обратиться в дым, забирая с собой сионистского врага, а заодно ясно указывая местному населению, куда не следует идти лечиться.

Мы входим в больницу через черный вход. В узком коридорчике, против бронированной двери бомбоубежища, на коврик, высоко задирая жирный зад и блестя босыми пятками, молится Васька. Мои пацаны лукаво переглядываются. У них зачесалось отвесить ему смачный пендель.

— Шурик, — шепчет Володя, — не мешайте верующим товарищам справлять свою нужду.

— Я мешаю?! Мы же знаем, что наш Васька — атеист. И в институте изучал научный коммунизм.

— Ты еще скажи — политическую экономику!

— Не смейся. Вот поднимется Васька с колен и объяснит тебе, что Аллах сперва создал материю, а уже потом сознание.

— Врешь!

— Истинный крест. Он мне рассказывал.



Хозяйским шагом мы прохаживаемся по больнице. Пусто и сонно. Несколько больных дремлют по палатам. Врачи, развалясь на диване в ординаторской, курят и пьют крепкий, почти перченый кофе из маленьких чашечек. Говорящий по-русски доктор Ади, привстав, с радужной улыбкой восточного гостеприимства предлагает присоединиться.

— Некогда рассиживаться, — отнекиваюсь я, но все-таки сажусь на низкую кушетку у сестринского поста, положив автомат рядом.

Сестры сразу начинают шебаршиться, перекладывая, перемешивая, раскладывая... Все равно в последнюю минуту чего-нибудь хватятся.

За окном здоровый ооновец в пятнистой форме потопал в лавочку за сигаретами и «сникерсом». Битый-перебитый Mercedes — нежные японочки и элегантные француженки не для местных дорог — остановился у входа. Шурик с Володей, сообразив, катят к нему носилки. Из «мерса» выгружают раненых. Кто-то идет сам, кого-то ведут, поддерживая, кого-то волокут кулем. Сестры и доктора суетятся, но толку не видно. Распустив платки и завывая, в приемный покой врывается толпа арабских женщин с цепляющимися за юбки детьми. Вокруг них приплясывает, растопырив руки, одутловатый цадальник. Голосающий ритуальный клубок человеческого горя вертится по комнате, отгеснив нас друг от друга. Поверх голов я вижу, как двое солдат у входной двери, выставив ладошки, — не прикладами же против женщин! — пытаются противостоять напору. Я отвожу в сторону доктора Ади и, зверея, говорю ему свистящим шепотом:

— Баб — вон!

— Но охранник не справляется, — оправдывается Ади.

— Не справляется здесь — завтра будет учиться на передовой.

С уговорами и пререканиями женщин выпроваживают наружу, налаживая порядок. Раненых сортируют, срезают одежду, везут на рентген. Ортопед, с заляпанными гипсом руками, суетится: покажите ему снимок на свет, поправьте на носу очки...

Подъезжают еще несколько машин. В углу цадальники снимают на видео показания старика и его стонущей старухи — во дворе их дома разорвался минометный снаряд. Доставляя женщине дополнительные страдания, сестры усаживают ее, чтобы лучше видны были раны. Узловатыми черными пальцами старик машинально вертит оплавленный, бесформенный кусочек металла. Хирург забирает железо и кладет в большую пластиковую коробку, — здесь своя коллекция.

Появляются несколько прилично говорящих по-французски и по-английски ребят в красных комбинезонах из Красного Креста — они перевезут раненых, получивших первую помощь, до границы, для продолжения лечения. Вместе с доктором Ади я снова быстро обхожу раненых, определяя очередность.

Бойся молчащего! Тот, кто кричит, проклинает белый свет, молится и зовет на помощь, — тот дышит и жив. А тот, кого не слышно, кто ничего не просит, — может, он уже не с тобой и ничего ему не надо. Как тому бедолаге, которого угораздило в такой злополучный день попасть под машину — обычное дорожно-транспортное происшествие, одно из многих. Его даже не внесли внутрь, чтоб не мешал эвакуации, просто положили у стены в тенек, и две юные медсестрички в черных платочках заботливо накрыли его до подбородка белой простыней. Лицо отерли, а он хрипит еле слышно и продолжает пускать кровавые пузыри. Шурик, снаружи следивший за отправкой раненых, заметил пострадавшего и позвал меня, издав какой-то неопределенный звук, нечто среднее между свистом и возгласом удивления, — то ли булькнул, то ли хлопнул.

Медсестрички, как матрешки, хлопая глазами, стояли около раненого, довольные своим состраданием к ближнему.

— Иглу! — под пальцами, с треском раздавливаемого снега, хаотично двигалась, провисая на ребрах, грудная клетка. Матрешки переглядываются, застыв соляными столбами. Шурик рвет сумку санитаря, выдергивая толстую иглу для капельницы. С еле слышным шипением воздух, сдавливавший легкие, вырывается наружу. Теперь можно спокойно продолжать. Раненого, задышавшего ровнее, в сопровождении доктора Ади несут в операционную. Матрешки, обретя способность двигаться, пристраиваются за ними.



Я громко благодарю всех за работу, крепко жму руки. Лукавый Васька поджидает нас с банками пепси. Продолжая разговор, он подмигивает и говорит:

— У нас на научном коммунизме лектор один был. Он сказал: «Первыми христианами были бедные евреи. Подумать только — еврей и... бедный!»

Васька смеется, комически разводя руками.

— Если бы я был Ротшильд... — подобно Тевье-молочнику причмокнул губами Шурик и затянул привычное: — Где же вы, друзья-антисемиты...

11.

— ... Не гунди под нос, — обрывает Женя. — Если поешь, то пой в голос. «По долинам и по взгорьям!» Вот так!

— Не командуй, — не отрываясь от нард, огрызается Володя. — Ты находишься на частной территории.

В комнате запахло жареным, тонкой струйкой к потолку потянуло дымком.

— Разбойники резались в кости и жарили мясо, — обрисовал я ситуацию. — Володя, если ужин сгорит и Женя уйдет голодный, то...

— То ваш командир пойдет под трибунал, а вы ему на гауптвахту мацу носить будете, — закончил мысль Женя, ползая с карандашом по карте.

Требуются пояснения: с неопределенной частотой пиявочные засосы «Хезболлы» в Ливане и обстрелы ею наших северных поселений переполняют чашу еврейского терпения, и тогда густо начинает стрелять артиллерия. Армия оглядывается на правительство, правительство посматривает на властителей всего земного шарика, и клацающий сталью бронепоезд бога Марса медленно подается с запасного пути.

— Док, — теревит Женя, — человеческий ужин сегодня будет? Или мне опять шкварки у Молдавана кланчить?..

— Володя!

— Ага! — торжествует Женя. — Так я и знал!..

Продолжим объяснения на понятном мне уровне. После артиллерийской подготовки вперед должны пойти танки. Пойдут они или не пойдут — это еще вопрос, но в тиши кабинетов уже думают, как они пойдут. Думать в этом направлении мне не позволяет ограниченность образования, и я занимаюсь примитивным плагиатом — вытаскиваю карты, доставшиеся мне от предшественников, исправляя даты. Судя по глубине затирок, я не оригинален. Моего ума хватило позвать Женю глянуть на это безобразие глазами специалиста.

— И где ты собираешься принимать раненых? — допытывается он.

— Здесь! — я храбро тычу в красный квадрат и, ломая язык, выдавливаю из себя название ближайшей деревни.

— Ты там был?

— Был! — я вспоминаю занавоженный пруд, окруженный бетонными островами.

— Душу человеческую видел?

— Аж две. Женскага полу и с малыми детьми, — делится своей наблюдательностью Володя.

— Правильно. Деревня лет десять брошена, — дает справку Женя. — В ней обитают две семьи. У одной кормилец в Цадале, у второй — по другую сторону. Каждый год мы в этой деревне взрываем дома. Помогает, но не очень. В прошлом месяце с вертолета достали там двух террористов ракетой с лазерным наведением. Красиво! Соображай дальше... — это снова мне. — Ты же офицер!

— Хренушки! Я доктор!

— Доктор — это звучит! — подает с койки голос Шурик. — Каждая еврейская мама мечтает видеть своего сына доктором или адвокатом.

— Неправда! — возражает Женя. — Не изрекай банальных истин. Моя мама говорила: будь кем хочешь, только не шалопаем!

— А если здесь? — я ковыряю пальцем по зачищенному, но все же проступающему сквозь карандашные разводы квадратику.



— Соображаешь, — соглашается Женя. — Место равнинное, холмами прикрито. Одно «но»: ты встал прямиком на ось движения танков. Лысенко проедет через тебя и даже не заметит. Ну, господин офицер... — опять цепляет он меня.

— Я же сказал тебе, что я доктор!..

— Вот вы мне сообщили, в медицинский собираетесь, — издалека начинал «полковник-подоконник». — А в ногу не попадаете! Нехорошо. Хождение строевым шагом вырабатывает в людях чувство ритма, чувство локтя, чувство единения в коллективе. Подумайте сами, каким получится специалист, не освоивший азов и четкости шага?!..

— Маршируй, отбивая индивидуальность! — шипел я топающему рядом Мишке, в очередной раз начиная движение с правой ноги...

— Ты сперва боевой офицер, а потом уже тот, на кого выученный! — вторит «полковнику-подоконнику» Женя. — И не смейся!

Но смех распирает меня.

Меньше месяца назад выпала мне классная увольнительная: ночью выскочить из Ливана, утром на складе оформить заявку на глюкометр (обрастающая жирком армия должна следить за своим сахаром), а дальше — Израиль в твоём распоряжении на весь день. Я облачился в разглаженную под матрацем с отпечатавшимися ребрами пружин выходную форму старого пошива, позволявшую вызывающе держать руки в карманах, далеко за спину закинул ненужный здесь автомат, поплевав, обтер ботинки и, абсолютно уверенный в пятиминутном выполнении задачи, пошел на штурм бюрократических преград.

Главный военный лагерь страны жил своей суровой бивачной жизнью. Через каждые двадцать метров на блокпостах проверяли документы; окуная камни в ведра с краской, солдаты окантовывали ими большую клумбу; по вымощенным тропинкам сновали жирные, затянутые в мундиры, тетки с сигаретами и толстыми папками. Выловленные солдаты и солдатки очень смутно представляли себе нахождение склада, больше интересуюсь «соплей» на моем плече со знаком части — такие здесь раньше не появлялись. Поджарый майор отчитал меня за праздничношатающийся вид, но дал точные координаты.

Рабочий день на складе заканчивался. Мне объяснили, что бумаги надо завизировать по-новому, попросив поторопиться. Им-то что, а мне грозило угробить здесь свой кровный выходной. Я заметался между бараками и кабинетами. Какая-то сучка объявила мне, что ушла на совещание и будет через два часа; прыщавый хрен закрыл перед моим носом дверь и пожелал придти завтра.

— Сволочи, — натужно вырвалось из меня, — поубивать вас всех!

— Ругаться нехорошо, — передо мной стоял капитан из инспекции. — Есть проблемы?

Я сунул ему под нос свои листки.

— Ты в цирке был? Фокус-покус видел? Айн-цвай-драй — это про меня.

Минут через пятнадцать злополучный глюкометр был у меня в руках. Все это время капитан непринужденно травил байки, давая понять, что он, собственно, славный парень. На прощание капитан похлопал меня по плечу и пожелал:

— Береги себя!

Я, со своей стороны, поблагодарил его от лица действующей армии.

...Володя прямо на карту ставит тарелку с аппетитно поджаренными тостами.

— Минуточку... — Женя, с невозмутимостью генерала, рекогносцирующего позицию под вражескими ядрами, возвращает тарелку. — Дарю на пользу отечества, — острый карандаш делает на карте заметку. — Шурик, отпечатай всем командирам, что в нужную минуту доктор будет вести прием на высоте «Двадцать звездочек».

— А теперь — жрать! — Женя топает ногами, думая, что исполняет четкетку. — Лехаим! Лехаим! Лехаим! — азартно поет он, вообразив себя в трактире у скрипача на крыше.

— Заслужил, — я открываю шкафчик и достаю стеклянную емкость с надписью «алкоголь 70%». — Мы ничего и ни от кого не прячем и не скрываем.



— Просто пе-ре-ли-ваем благородную, — выдает военную тайну Володя, прихлопывая в ладоши. Никто ни разу не обратил внимания на чудесную метаморфозу — превращение розового технического спирта в прозрачную, как слеза младенца, жидкость.

— А тебе нельзя, — обрывает его радость Женя. — Ты на сирену не встанешь. Володя глядит на меня влажными глазами обиженного щенка.

— А всем на шабат кидуш можно, да?!

Он намекает на положенное от казны вино, которое разливают после субботней молитвы. Мне оно напоминает те «чернила», которые мы пили для согрева на картошке.

— Все остальные, — объясняет ему Женя, — как на обрезании капельку примут, так и продолжают с пеленок тренироваться.

Мне опять надо искать компромисс.

— Женя, можно без крови. Для того чтобы научиться пить, достаточно пройти битву за урожай и выучить моральный кодекс строителя коммунизма. Дадим Володе понюхать.

— А если сирена?

— Поверь опыту. Не будет сегодня сирены. Не разбудят...

Разбудили. Из штаба в два часа ночи позвонил Цвика — он дежурил.

— Док, я почесал в носу... и на пальце — кровь. Это не опасно? Может, поднимешься, глянешь?..

— Цвика, ты все перепутал. Чешись там, где обычно... не морочь людям голову.

Сон мне Цвика перебил. Обычно в Ливане мне снится Ленинград. Угрюмый, серый, придавливаемый к земле свинцовыми облаками. Тяжелая нельская вода плещется под гранитными шарами. Из-за сфинкса лучом восходящего солнца пробивается купол Исакия...

За окном, по бетонным блокам, прикрывающим от мин, стучали крупные капли дождя. Капли разбивались об арматуру и рассыпались радужными брызгами в мерцании ночных фонарей. Я закрыл глаза, пытаюсь ухватиться за улетающий сон. Над станцией Сестрорецк моросил бесконечный дождь. Пузырями вздувалось озеро Разлив. За штакетником дачных заборов мокли георгины и гладиолусы. От обилия воды почернела кора сосен. Там, где сходились в сторону Белоострова откатанные до блеска рельсы, мигал красным семафор.

— Мы уже никуда не едем, — с ушами прячась в воротник варенки, констатировал Оська окончание очередного курортного романа.

«Мы уже никуда не едем», — отдалось в голове и теннисным шариком запрыгало в черепной коробке. За окном такси, везущего нас к Московскому вокзалу, проплывал черный и чужой, мерно вздыхающий во сне город. Мы покидали его. Человеческие судьбы текли в неизвестность вдоль прямых и угрюмых улиц. На улице Восстания у здания Дзержинского суда, где когда-то судили Бродского, матово блестя тела никогда не высыхающая лужа. «На Васильевский остров я приду умирать». Он не пришел. Не надо возвращаться в поисках своей смерти.

12.

Хорошо тем, кто двигается, повернувшись задом к крутизне — они уберігают себя от опасности, сужая кругозор. Шаг вперед в Ливане — как прыжок в омут: не знаешь, что тебя ждет — то ли приятная прохлада глубокой воды, то ли ил и коряги близкого дна. Меньше чем через месяц службы, кинувшись с брони в такой же предрассветный час навстречу контуженному от отлетевшей гильзы, я споткнулся о следопыта, наступившего на мину. Лишь нескольких метров не хватило солдатам донести до нас носилки с легко пострадавшим, все ухнуло вниз, раздетое взрывом. Упавший на колени боец накладывал жгут поверх раздробленной и висящей на кожном лоскуте лодыжки. Санитар липкими, вымазанными в крови и земле пальцами прилаживал капельницу. Оглушенный первым боевым крещением, я сомнамбулой перешел к группе солдат, накрывших своими телами второго раненого, видне-



лась только его голова с затуманенным взглядом, лежавшая на плече товарища, — и просяще сказал срывающимся голосом:

— Разрешите мне, я врач!..

В дверь постучали. Не замолотили, а именно постучали. Коротко и ненавязчиво, испрашивая разрешения. Растерянный Володя привел «прапорщика» и с безразличием поглядывающего в потолок Рустика. Пыхтя как самовар, «товарищ прапорщик» потребовал освидетельствовать осужденного перед отправкой в тюрьму. Санитар померил температуру, давление. Колонна отходит через четверть часа — ставь доктор свою пломбу на филькину грамоту. Я складываю ладони домиком и смотрю на Рустика.

— В армии нельзя быть умнее других, — объясняет он. — Система сойдет с ума.

«Полковник-подоконник» выражался яснее: «Безобразно — зато единообразно».

В общем, у Рустика сменился командир. Прошлый считал дни до дембеля и вслух бредил о подруге. Рустик у него сказал ясно: спи где хочешь, в части можешь не появляться, но чтоб телефоны работали. Новый связник был молод и энергичен. Он мелькал всюду своим белым чубом, проверяя кабели и аппараты. Его отделение зажило по уставу. Не выдержав издевательств над правами старослужащих, Рустик подался в самоволку. Телефоны захандрили, добрые молодцы теперь корпели там, где когда-то было достаточно одного присутствия Рустика.

— Связь-то будет? — спрашиваю я.

Рустик, как местечковый коммивояжер, закатывает глаза. Наш диалог действует на нервы «прапорщика», и тот начинает поминать русскую мафию. Лучше бы он этого не делал. Я ласково смотрю ему в глаза и набираю номер:

— Димуль, привет! К тебе сейчас привезут хорошего мальчика. Береги его — он тоже питерский.

— Вас, петербуржцев, уже занесли в Красную книгу? — на другом конце провода потянулся, зевая, флегматичный Дима, тюремный врач. — За что сидеть будем?

— Обычная история: личное неприятие старшего по званию из-за гонора отслуженных лет.

— Понятно. Пакуйте. Примем, — икает Дима.

Я шлепаю печать и жму руку, желая Рустик у успехов. В Ливан он уже не вернет-ся. Володя хлопает его по плечу, подталкивая к выходу. — Не бойсь, у медицины везде свои люди.

Я достаю из холодильника пиво. Не спеша, смакуя, мы пьем приятную, прохладную, пенистую жидкость.

— Ты знаешь, — задумчиво говорю я, — надо будет с этой стороны двери повесить табличку: «Выходя, не забудь вытереть губы и усы!»

— Капитан за такие слова вас в *еврейторы* разжалует, — улыбается Володя.

Он единственный сын у матери, которая никогда не была замужем. До приезда в Израиль Володина мама работала в Академии педагогических наук и писала нраво-учительные житейские истории, начинавшиеся обычно так: «В последней электричке напротив меня села немолодая женщина с трудовыми жилистыми руками...» Или: «В вечернем парке я познакомилась с молодоженами. Он живет в мужском общежитии, она — в женском, и его к ней пускают до вечера...»

Может быть, потому что она всем объясняла, как надо жить, Володина мама свою собственную семью не устроила. Здесь, в Израиле, она продолжала заниматься любимым делом — на чужих примерах учить других. Она писала заметки о падшей на обещание легких заработков, которую благородный и глубоко верующий спас, прошел все круги гиюра и женился; о брошенной детьми немолодой женщине, нашедшей свое счастье со старым одиноким адвокатом; о профессоре, подметавшем улицы, который неожиданно встретил своего американского коллегу, знакомого по прошлой жизни в Москве, — и тут же, на бочке с мусором, подписал контракт на работу в Гарварде. Ее сочинения не отличались психологической глубиной, но людям, борющимся с превратностями судьбы, было приятно читать о тех, кому



повезло. Это вселяло надежду. Володина мама выступала по радио с очерками о «лодичах», «бершевцах», а в ее произношении слышалось «калужане», «саратовцы»... Но когда она в порыве чувств произнесла «хайфовяне», — я не выдержал:

— Передай твоей маме, что есть «парижане», а есть жители города Хайфы.

— Вы ослышались. Она говорила о *кайфовянах*, о новых гражданах нашей родины, поющих с утра до вечера под дудку Сохнута песню: «Эх, хорошо в стране еврейской жить...»

Первое время Володина мама звонила часто. Ее речь была с претензией на высокую культуру, доступную не каждому смертному. Она вела долгие разговоры о нужде стариков и детей, проблемах национальных и сексуальных меньшинств, вражде левых радикалов и ортодоксов, «черных» и «белых» евреев, мешая все вместе, как рачительная хозяйка, колдующая над блюдом из залежавшихся в холодильнике продуктов. «Кто-то должен за это ответить!» — восклицала она.

— Любезная, — я пытался остановить поток ее красноречия, — давайте не будем искать виноватых. Во-первых, во всем всегда виноваты евреи — это известно. Во-вторых, сионизм, как и коммунизм, придумали ашкеназы. В-третьих, врачи хотели отравить дорогого и любимого товарища Сталина. А я — еврей, ашкенази и врач. Видите, как все просто, искать долго не пришлось.

— Если бы мой сын не отзывался бы о вас хорошо, я бы сказала, что вы потенциальный реакционер. Все военные придерживаются консервативных взглядов.

— Вы ошибаетесь. Я абсолютно штатский человек с сугубо мирной профессией. Израильская действительность одела меня в военную форму и дала автомат.

Так мы говорили. Потом звонки стали реже. Теперь Володя звонит днем и диктует на автоответчик: «Привет, мать. Как дела? У нас тихо, как в гробу, и глухо, как в танке. Бай». Еще один вариант конфликта отцов и детей.

Мы прихлебываем пиво.

— Маме позвонишь? — спрашиваю я. — Пока наследство Рустика не разбазарили.

— Нет. У нее сегодня приятель. Старший сержант.

— Резервист? — глупо спрашиваю я.

— Нет. Такой же, как и мы.

Была «девушка моей мечты», была «женщина французского лейтенанта»... Теперь есть «подруга израильского сержанта». Володина мама сама угодила в историю созданного ею мира. Из-под пера Стефана Цвейга вышел бы маленький шедевр, со страстью клеймящий жестокие нравы окружающего мира. Я же постараюсь придерживаться будничного развития событий, излагая рассказ товарища...

В один из зимних вечеров, когда уже холодно, но нет дождя, Володина мама, засидевшись в гостях, возвращалась домой. По трассе, перемигиваясь красными огнями, плавно двигались машины. На русской волне передавали «Миллион алых роз», «Вернисаж» и другие популярные и не стершиеся в памяти песни. Женщина, проведшая несколько часов в новой квартире нестареющей подруги и ее прежнего мужа, испытывала легкую тоску. Она не спешила. Кроме того... она побаивалась сумасшедших израильских водителей, потому, не разгоняясь, вела свои белые «мицубиси» в крайнем правом ряду.

На перекрестке, выйдя почти на середину дороги, застыл, голосуя, солдат. Володина мама остановилась. После того как ее сын ушел в армию, она подсаживала попутчиков. Из сострадания, из жалости, из-за понимания нужды этих ребят. Она даже как-то пыталась написать об этом, но это была не ее тема.

Солдат по-хозяйски открыл заднюю дверь, бросил свою мокрую, заляпанную грязью сумку, потом сел рядом с водителем, откинул капюшон — и сразу уснул. В зеркале Володина мама урывками смогла рассмотреть его. Он был смугл до черноты, налысо выбрит, с тонкой бородкой вокруг губ. Перед Натанией она притормозила у автобусной остановки и разбудила попутчика. Солдат встряхнулся, протер руками лицо; она обратила внимание на его унизанные безвкусными серебряными кольцами пальцы и длинные ногти на мизинцах. Он явно не был бойцом, — скорее всего, сидел в конторе, следил за солдатками, варящими начальнику кофе.

— Где это?



— Натаня.

— Мне нужно в Аффулу.

— Но я живу здесь! — возмущенно воскликнула женщина. Она не умела разговаривать с нахалами.

— Утром я должен вернуться в... — это название Володина мама никогда не слышала.

— Куда? — растерянно переспросила она.

Солдат посмотрел на нее, махнул рукой — туда, на север, — натянул капюшон и вылез из машины. Встав перед капотом, он вновь застыл в привычной позе голосующего.

— Послушайте! — от волнения перейдя на русский, Володина мама выскочила под дождь. Пугаясь в ивритских словах, она старалась объяснить ему, что, понимая его состояние, она готова приютить его на ночь. Не дослушав, солдат загрузился назад в «мицубиси».

Вот такой получился роман без начала и конца. Солдат внезапно появляется у своей подруги, а потом исчезает на несколько недель. Обычно он приходит по вечерам и ждет ее, прикормив у двери, страшая тихих и соблюдающих приличия соседей. Володина мама заводит стиральную машину, кормит...

— ...И принимает на постой, — констатирует Володя.

Эта странная пара провела вместе несколько суббот. Утром ездили на море, перекусывали питой с фалафелем. Вечером он смотрел футбол, а она смотрела на него.

— Футбол — хорошая игра, — философствует Шурик. — В футбол играют бессмертные бразильцы, профессиональные аргентинцы, обстоятельные немцы, хладнокровные датчане, благородные французы, темпераментные итальянцы и истеричные израильтяне.

Завонил телефон. Большим глотком я прикончил пиво, предчувствуя, что перерыв завершен и нас ожидает бессонная ночь с мелкими, в лучшем случае, неприятностями. В трубке раздалось сбивчивое лопотание доктора Ади.

— Пацаны, по коням! В больнице — ЧП. Заходим! Володя, дуй за охраной к пехотинцам. Я в штаб, за разрешением.

13.

Накинув на плечи халат, я быстро прошел в операционную. Продолжая что-то лепетать, доктор Ади попевал сзади. В центре зала на столе лежало тело, накрытое простынями. У изголовья, рядом с аппаратом искусственного дыхания, на табурете сидел анестезиолог. Завидев нас, он встал и приподнял простыни, демонстрируя живот, расплосованный широким разрезом. Кожные края были разведены, но брюшина не тронута, и сквозь полупрозрачную серовато-голубоватую оболочку проступали и скатывались капельки крови.

— Кровит аневризма аорты, — объяснил я вытянувшим шеи от любопытства ребятам. — Хирург где?

— Ушел домой.

Резиновая гармошка с легким шорохом складывалась и надувалась; соответственно ее движению приподнималась и опускалась грудная клетка. У пострадавшего было выжженное лицо без возраста — то ли тридцать, то ли все семьдесят. Я поднял портативную рацию:

— Здесь доктор, мне нужен вертолет и связь с отделением сердечно-сосудистой хирургии.

Ответили сразу:

— Нет возможности ввести вертолет. Ищите другие пути эвакуации. Прием.

Широко раскрытые зрачки не реагировали.

— Сколько он уже так?

— Минут двадцать.

— Доктор, твое решение?.. — поторопили из штаба.

— Ждем вертолет. Вариантов нет. Готов объяснить ситуацию округу. Прием. — Разговор по рации краток, рублеными фразами, чтоб всем было ясно.



Я сажусь на табурет рядом с анестезиологом, кладу автомат поперек колен. Это самое тяжелое: *присутствовать*, когда не можешь помочь, когда бессилён перед силой обстоятельств... когда отдан на волю и благосклонность судьбы.

— Доктор Ади, работают все! Операционная сестра должна быть здесь. Каждые пять минут мерить пульс и давление. Хирурга вернуть, он еще не уволен.

— Можно пустить родственников? — доктор Ади заглядывает мне в лицо, стараясь понять, в чем причина задержки. Скорее всего, сионистский враг просто тянет время, чтобы похоронить больного и не создавать дополнительных проблем.

— Доктор Ади, здесь стерильная операционная. Родственники должны хорошо молиться.

— Пацаны, — объясняю я ребятам, поглядывая на молчашую рацию. — Жил-был маленький человечек. Он не знал, что вокруг война, — мотыжил и лопатил надел земли, как Маленький Принц чистил свою планету от баобабов. Сегодня вечером пришел он домой с поля — и говорит: «Живот болит». Народ у нас грамотный: если болит, надо идти в больницу. В больнице говорят: если живот, то вам к хирургу. А хирург ничего не сказал, для него «живот болит» — это аппендицит. Живот открыл, а там... вместо гноя — кровь.

— А что теперь делать?

— Оперировать. Ставить трансплантат.

Доктор Ади зовет меня к телефону — штаб подключил к разговору сосудистого хирурга, они готовы.

Сестра гостеприимно обносит нас подносом с чашечками кофе. Рация молчит. Шурик важно вопрошает Володю:

— Чему нас учит день минувший?

— Ну и чему?

— Тому, что незаменимых людей не бывает. Есть те, с кем приятно, и те, с кем не хочется, но нет выбора. Вот Рустика сослали, и ничего не изменилось: телефон звонит, доктора из Израиля нашли. Спросили, как самочувствие...

— Кого? — подыгрывает Володя.

— Кого-кого... Пациента! Хотели узнать, какого цвета испражнения. Потел ли.

— Кончай трепаться, Спиноза! — мне не до шуток. — Главное, заруби на своем выдающемся носу, не спеши с принятием решений. Подумай, пошевели мозгами. Мотю по глупости потеряли... Все мы под смертью ходим. Пшик — и ангелы принимают тебя под белы ручки в чистилище.

— Док, я фаталист, — отвечает Шурик. — Что будет, пусть то будет. Меня с другом после курса послали на север. Офицер сказал нам: один сидит на заборе, другой — в Ливане; выйдете за дверь, там и решите, кто куда. Друг говорит мне — ты у родителей один, а у моих еще сестра есть, поэтому в Ливан пойду я. А офицер нас перепутал...

Рация ожила, зашипела, сквозь шорохи эфира прорезался голос:

— Док, вертушка на подходе...

— Быстро! — мы перекатываем тело на носилки; отключенное от аппаратов, оно дышит — судорожно, глубокими рывками, но регулярно. Вот она, жажда жизни!

Мы с анестезиологом берем носилки спереди, посередине сестра придерживает трубки и простыни, Володя с доктором Ади хватаются сзади. Шурик, тыча автоматом в небо, как бы охраняет нас. За больницей скатываемся вниз по откосу, на поле. Пехотинцы фонариками отмечают место посадки. Перед нами возникла бесплотная тень вертолета и сразу же, вильнув винтами, растворилась в ночи...

Того бедолагу прооперировали, с новой аортой он прожил еще три дня, а потом... Чудес не бывает.

Из больницы выходит Васька. Он приветственно взмахивает рукой и восклицает:

— Да здравствует израильская оккупация. Самая гуманная оккупация в мире!

— Смейся, паяц! Что ты тут делаешь? Нормальные люди давно спать легли.

— Родственника навещал. У него сердце больное. Это не опасно?

— Если не трогать — нет. С меня на сегодня достаточно.

— Евреи, — оборачиваюсь я к отходящему на подъеме доктору Ади, — ждут Мессию две тысячи лет, а у нас и часу не прошло!



Черные валуны густым пунктиром пересекали лед Финского залива. Сухой снег сек лицо, холодный ветер, разгоняясь на просторе, проникал под куртку, холодя. Студент воткнул палки, натянул на уши лыжную шапочку, заменившую привычный чепчик, и поджидал меня. Впереди, на осыпающемся в море рукотворном островке бурела бесформенная масса брошенного форта. Вдвоем мы вошли в прикрытую от ветра гавань. Подтянувшись за чугунные кольца для швартовки катеров, проникли вовнутрь. Эхо вольно гуляло по казематам. На каменной стене стыли контуры голой бабы.

— Мечтал тут кто-то, — заметил студент.

Нет разнообразия солдатской фантазии. Сквозь смотровые щели, розовея в солнечной дымке, виделся град Петра.

— Что за страна, — с горечью воскликнул мой спутник. — То на кронштадтский лед бросит, то куда подальше...

Поворошив по углам смерзшиеся кучки мусора, он подобрал уголек и стал колдовать над рисунком.

— Чего женщину портишь? Чем она тебе не любя?

— Не мешай. Импровизирую на тему Гойи — «Родина-мать пожирает своих сыновей».

Притулившись у стены, я, ломая спички, попытался разжечь костерок, — не для тепла, для уюта.

— Знаешь, на кого ты сейчас похож? — спросил студент.

— Знаю, — я растер ладонью покрасневший нос. — На израильского агрессора, поджигающего Москву в 1812 году.

— Верно. Картина русского художника Верещагина.

— Слушай, живописец от слова «живо», что ты еще предложишь эпохального?!

— Спину Израйла Соломоновича. Чем не идея! Шедевр постперестроечного периода — «Последний советский еврей чапает до ОВИРа».

— Смешно. Потомки оценят твою фантазию. И на интеллектуальной викторине спросят: «Еврей — это нация в Америке или вымершая народность Приморского края?»

Последний старшина уходящего гарнизона не задрал за собой бронированные двери, они приржавели и примерзли, никому не препятствуя и ни от кого не защищая. Мощные оборонительные сооружения, возведенные на века, превратились в саркофаг. Неостребованные, как и дамба, отстроенная ударными темпами, следуя ошибочной доктрине, что опасность для города должна придти с моря. Укрытые сугробами пустые лафеты нацелились на «запятые» склонившихся над лунками любителей подледного лова. Нацепив лыжи, мы тронулись в обратный путь в сторону Лисьего Носа. Удаляясь от нас, форт медленно тонул в белом безмолвии.

14.

Нахально развалившись на моей койке, заткнув уши плеером, Женя в такт музыке дергает ногой и мычит в трансе, отвлекая нас.

— Наш сапер вообразил себя принимающим ванну с пенкой в приятном общении с голливудской дивой, — высказал критическое мнение Шурик.

Айв Гринберг, доброволец из Нью-Йорка, довольно хмыкает. Айв всегда радуется, когда упоминают его родные Штаты. Говорит Айв с невообразимым американским акцентом, как будто набрал полный рот горячей манной каши и одновременно раздирает зубами неподатливую жвачку. Но стоит поискать, и тогда открываются интересные факты в его биографии. У Айва, поклоняющегося демократии и золотому тельцу, в Иерусалиме обнаружилась богобоязненная тетья с мужем-раввином. Когда Айв, в порыве единения со своим народом, решил провести на исторической родине несколько лет жизни, то долго не мог определиться между армией и религиозным обучением в ешиве, но материалистический подход компьютерного гения привел Айва к нам.

Сегодня Айв забрел не на огонек, а привел нового санитаря. Армия обороны Южного Ливана уходит в коллективный отпуск (как вам такое нравится?!), и его

позиции занимает наша часть. Среди солдат, идущих на передовую, потомки черкесов, бежавших в Палестину с Кавказа от российского императора и турецкого султана.

— Нацмены, — определяет Шурик.

— Сам ты «нацмен»!

— Был. Там. Прошу уважать национальные чувства велико... — Шурик запинаясь, подыскивая себе определение.

— ...Жида великого, — с кровати подает голос Женя. Даже в наушниках он слышит, что происходит вокруг.

Новый санитар подтянут и внутренне спокоен, он словно влит в военную форму, — не то что мои разгильдяи, уже усвоившие местную левантийскую расхлябанность. У него скуластое лицо с мясистым носом и разлетевшимися над ним нависшими бровями — профиль хищной птицы.

— Потомок Чингисхана! — выражает свое восхищение Шурик.

— Цыц, — я усаживаю санитара и начинаю объяснять специфику и особенности нашей работы, для убедительности скользя указкой по квадратикам на карте.

Женя, издали поддакивая, строит глубокомысленные рожи. Не в пример ему, санитар внимательно слушает, записывая отдельные необходимые вещи в солдатский блокнот, пристроенный длинным шнуром к карману. Пишет он кириллицей. Шурик и Володя, подглядывая из-за его плеча, переглядываются.

— Ну-ка, энтомологи, займитесь делом. Берите Айва за шкуру и дуйте на склад. Нечего на мух раззевываться.

Айв, почувствовав опасность, быстро перемещается к двери:

— Никуда ходить не надо! Нико принесет все положенное!

— Айв, нам многое положено. Но хочется то, что у тебя на складе есть, а нам не положено, — выступает вперед Володя. — Доктору — поменять чайник, мне — новые штаны, Шурику — второй матрас... он уже старослужащий.

Айв, прижатый к стенке, мычит, выдавливая из себя:

— Нико...

— Не бойся, Айв, — успокаивает его Володя. — С Колей мы договоримся.

Айв как рыба открывает рот, заглатывая воздух:

— Вы... вы хуже Коза Ностры!

Наступает момент выхода премьеры, и я произношу сакраментальную фразу:

— Айв, не огорчай папу!

Потомок Чингисхана вежливо наблюдает за нашим концертом. Обеспокоенный долгим отсутствием Айва, появляется уже упомянутый Нико-Коля, здоровый славянский парубок. Гениальные артисты всегда работают на контрасте — толстый и тонкий, добрый и злой, Дон Жуан и Лепорелло. На фоне Коли Айв кажется жалким и тщедушным. Доброжелательная улыбка Коли останавливает всех желающих пожить на айвином складе. Коля таскает и грузит тюки и ящики, а Айв следит, чтобы Колю не слишком эксплуатировали. В мире нет более безотказного человека, чем Коля. Он и лишние часы отстоит, и авторемонтникам подсобит, даже Ваське поможет поднести коробки с пепси. Только у нас Коля может празднично посидеть, посмотреть телевизор и поговорить за жизнь, если Володя не попросит чугуном плечиком попрердеть дверь амбулатории от излишне страждущих.

— Ты что, болен? — вежливо, с тяжелым русским акцентом интересуется у таких Коля. — Полежи, полечись... а не пройдет — приходи завтра.

— Мне доктора! — по-петушиному насакивает на него больной.

— Я и говорю: не пройдет — приходи завтра, — не повышая голос, повторяет Коля.

— Сейчас! Доктора! — больной переходит на визг.

— Володя тебе таблетку дал, — судит Коля. — Теперь иди, прими ее, полежи. Или тебя отнести? — под гимнастеркой медленно шевелятся литые шары мускулов, это действует лучше всяких лекарств.

Если Айв представляет у нас, согласно происхождению, пуп земной, то Коля появился с задворок, с окраин советской империи, где никогда не было ни евреев, ни армян, которых всегда привыкли бить первыми, но было немного русских, присланных для содействия скорейшего научно-технического прогресса. С распадом



Союза их стали резать первыми. Колины родители купили сыну визу и билет и отправили его к дальним знакомым в Израиль. Помыкавшись и настрадавшись на черных работах, Коля ушел в армию и, будучи абсолютно беспроblemным, попал в Ливан. Здесь ему хорошо, у него есть друзья, он нужен, да и стреляют тут гораздо меньше.

— Коля, — говорю я, — возьми этого мальчика на склад и дай ему все, что ему не хватает для сумки санитары... и все что нужно. Они идут на позиции.

— А ты добренький, — зlobствует Женя.

— Не добренький, а добрый. Их сейчас построят на плацу трясти манатки.

— Не трясти, а проверять, чего не хватает.

— Послушай, если он возьмет вместо положенной капельницы дополнительную и что-то прихватит для лучшей жизни в блиндаже, с Айвом ничего не случится.

Женя все-таки вывел меня из себя.

— Вперед, пацаны, броневик досматривать! — команду ю я, поднимаясь.

— Что ты такой нервный? — ангельски спрашивает Женя.

— Ты как думаешь, «Хезболла» сегодня стрелять начнет? — вопросом на вопрос отвечаю я.

— Будет фраером, если не начнет. Мы ей слишком жирное сало подвешиваем.

Шурик с Володей нехотя приподнимаются со стульев. Перспектива перетряхивать все снаряжение их не радует.

— Шевелитесь, бойцы, — понукает Женя, — командир приказал. Шурик, — ласково тянет он, предвещая недоброе. — Где твой солдатский медальон?

Оторванным хлястиком медальон свисает из заднего кармана брюк. Подбрасывая его, Шурик делает непотребные движения задом.

— Хорошо тебя подружка Шмулика научила, — смеется Володя и получает одобрительную затрещину.

— Я как-то видел фильм, — голосом искусствоведа, читающего лекцию, отвечает Жене Шурик. — Там была сцена, которая трогала зрителей за живое. Американский генерал сидел за столом, а перед ним вместо дукатов высыпали солдатские медальоны. Генерал сидел и плакал. Очень убедительно.

— Позовите Айва, — паясничает Володя. — Пусть он тоже поплачет.

— Я не хочу, — серьезно заканчивает Шурик, — чтобы по мне плакали генералы...

15.

Суворовский проспект своими изломами нарушает гипнотическую геометрию петербургских улиц. Он сужается, спотыкаясь о пересекающие его трамвайные пути. Одинокий, оседающий под землю особняк с уснувшим в цветнике львом не украшает его. Начавшись там, где Староневский переламинается в строгий и величественный Невский, Суворовский проспект сперва по касательной проходит мимо кирпичной глухой кладки детской больницы, а в конце тянется вдоль зеленых досок высокого забора, соединяющего торцы безликих зданий. Слева виднеются серые купола Смольного собора. Мы сворачиваем на Тульскую, в противоположную сторону. Под колесами грохотнул настил Охтинского моста. Теперь собор голубеет во всей красе. Берег Невы здесь низкий, незакованный в гранит, неухоженный, скрывающийся за разросшейся зеленью и промышленной застройкой административное сердце города — Смольный. Водитель гонит машину в гараж. Наплел что-то диспетчеру о прохуdivшемся насосе, и мне выпал отдых на халяву, пока поменяют насос или машину...

— Это мы так ждем команду «фас», — возмущенно тянет меня за ногу Женя. Он свеж и ухмыляется во всю широту своей кошачьей рожи — успел с утра пораньше нализаться у Молдавана сметанки.

— Брысь, — гоню его я, выбираясь из броневичка наружу. Мои пацаны трут глаза, зевая. Всю ночь мы провели на броне. За грядой лысых холмов вскипают белые грибы разрывов. В душе теплится надежда, что с рассветом обстрел прекратится, можно будет поесть и поспать по-человечески. С возрастом хочется комфорта.



Коля приносит картонные коробки сухого пайка. Японским ножиком Женя вспарывает одну из них. Я жую изюм, перемешанный тропическими сухофруктами, пацаны рассовывают по карманам карамельки. Воспользовавшись огненным прикрытием, на базу вошла колонна. Солдаты скидывают с обшитого броней грузовика, прозванного «гробовозом», свои тяжелые сумки и расходятся. Один, оставшийся, топчется у заднего борта, оглядываясь.

— Гад буду, если мы не получили подкрепление, — предполагает Володя. — Коль, сходи, проверь.

Коля косолапо топает к пареньку и ведет его к нам.

Начальство отреагировало на мои постоянные рапорты о нехватке человеческих ресурсов и на неделю прислало Уди — инструктора с курсов санитаров. То есть, уточняет Уди, он еще не инструктор, он только с отличием закончил такой курс, а начать преподавать должен через неделю.

— Понятно, — гнусаво вторит ему Володя. — Неделю посмотрит на Ливан в замочную скважину — и два года будет салажне лапшу на уши вешать. Док, Коля отведет его в поликлинику, пусть посидит за тебя, — предлагает он.

— Уди остается с нами, — решаю я. — Коля, будь другом, отнеси его шмотки к нам и принеси ему спальник. Он потом Айву за него распишется.

— Там, — я показываю вперед, вводя Уди в курс событий, — оборонительный пункт нашей армии. С ночи его обстреливает «Хезболла»...

— Раненые есть? — перебивает меня Уди. Он дурак или хочет испытать судьбу, показать свое умение?... Пацаны равнодушно отворачиваются. Я пропускаю его вопрос мимо ушей.

— В случае нашего выхода, если придется идти пешком, ты несешь рацию и идешь в паре со мной.

Коля навешивает передатчик на Уди и перетягивает лямки, подгоняя. Уди прогибается и покачивается, сопротивляясь массе и Колиным рывкам.

Надежды, что с наступлением дня обстрел прекратится, оказались напрасными. Укрывшись в деревне, минометчики «Хизбаллы» продолжают стрелять. Их цель ясна — бить до крови, спровоцировать расширение конфликта.

Взобравшись на крышу броневичка, Уди неотрывно смотрит туда, где идет бой.

— Ну когда же будут раненые?! — постанывает он.

— Горячий у тебя боец, — говорит Женя. — Остудить надо.

— Идиот, — ворчу я. Все хотят быть героями, но никто не хочет умирать. Человека можно учить долго, но никто не знает, как поведет он себя под огнем. Побегит ли сдуру подставлять голову под пули, только успевай схватить, забьется ли под броню так, что не выковырять, или привыкнет и к этой особенности жизни. Все суета сует и томление духа, а кушать хочется всегда...

— На обед мы заказываем пиццу с грибами и анчоусами, — с телефона, приложенного к столбу, Володя звонит Молдавину и, хохоча, выслушивает витиеватый ответ.

К нам из штаба, по-бабьи разбрасывая ноги и руки, бежит Цвика. Что-то важное, иначе бы он послал вместо себя солдата.

— Есть раненые, — выдыхает он, привычно хватаясь за свою промежность. — Порядок движения обычный. Никаких разговоров по рации! Ни-ка-ких!

Кровь закипает в жилах... Танк и две бронемшины, взбивая белые клубы пыли и дыма, трогаются в путь, болтая нас на ухабах. Не успев растрасти нутро, мы прибываем на место и рассредоточиваемся. Уди со страхом и любопытством оглядывается. Все тихо. Непонятно, чего бояться.

— Смотри сюда, — я продолжаю урок топографии на местности. — Видишь белое здание на этом холме? Здесь база ООН. Добрый дядя следит за порядком. По ту сторону холма в низине деревня. В ее названии слышится нечто философское — «Бытие». Стреляют оттуда.

— Куда?

Я показываю на соседний холм со скрытой верхушкой и бетонными надолбами. Отделившаяся от них серая цепочка людей медленно начинает спуск.

— В прошлый раз нас тут подорвали, — вспоминаю я свой первый выход, следя за ними.



Раненых двое, они были на наблюдательном пункте и не успели добежать до укрытия. Командиру зацепило руку, он идет, придерживая ее здоровой. Второй солдат получил совсем не героическое ранение — и теперь, лежа на животе, слабо пытается ухватить срезанные штаны.

— Спокойно, спокойно, — я придерживаю его руку с капельницей, чтоб не вырвал ненароком.

Два взмаха ножа — и бронежилет раскрывается, распадаясь на части. Рубашка на спине набухла от крови — осколки ободрали поясницу. Я прослушиваю легкие, раненый дышит глубоко и ровно. Ощущая контраст холода брезента носилок и тепла тела, ощупываю раненого — грудь, живот, конечности. Сюрпризов нет.

— Морфий!

— Ему не больно? — заморожено глядя на раны, спрашивает маленький солдатик.

— Мальчик, как тебя зовут? — интересуется Володя, прилаживая вторую капельницу и собираясь сказать какую-то гадость.

— Миля.

— Дурак, мне хорошо, — выдавливает раненый, не оставляя жалких попыток прикрыть ладонью распоротые ягодицы.

— Быстро. Ребята, быстро!

Кто знает — отстрелялась ли на сегодня «Хезболла»...

Нас отводят назад, на базу. Проходя мимо друг друга, мы с потомком Чингисхана обмениваемся дружеским похлопыванием по плечу — приветствием, заменяющим слова. Таким я его запомнил — большой, сильный, улыбающийся.

По дороге на вертолетную площадку раненого вырвало в броневищке, и Уди, вытирая его, измазался в блевотине, поняв окончательно, что война — это совсем не то, чему учат на курсах...

Вместо эпилога...

Маяковский не знал, кому на небе зажигаются звезды, а мы знаем — нам, возвещая приход шабата.

За поворотом фары вырвали из кромешной темноты голосующего солдата. Я резко надавил на тормоза, и, занеся зад, машина со скрежетом встала. В поздний час в пустынном месте вопросов не задают. Любое движение здесь — движение вперед. Видимо, приходя в себя от неожиданной удачи и, одновременно, боясь её потерять, солдат не открывал рта.

— Тебя раньше не могли отпустить? — первым спросил я.

— Меня никто не отпускает — я сам себе начальник. Перед отпуском надо было закрыть дела.

— Значит, отдыхать едешь?

— Да. Пять дней... минус день ухода и день прихода. Неплохо после трех недель в Ливане, а?

— Возможно. Но можно было попросить больше...

— Не у кого. У меня нет сменщика.

— Печально. А меня в школе учили, что незаменимых людей не бывает.

— Я про школу давно забыл, — отрезал он и добавил поучительно: — Нашей маленькой стране нужны защитники!

— Ишь ты какой... воодушевленный... — подобрал я нужное слово, увидев на погоне собеседника «гробик» младшего лейтенанта. Он даже переоделся в парадную форму!

— Короче... — заключил я не слишком любезно. — Тебе куда? Мне до Тель-Авива, — я назвал перекресток на трассе.

— А точнее?

— Там налево и направо, свернуть с проспекта...

— Хорошо!..

Он достал мобильник.

— Мама, у меня попутка до дому! Да! Голодный!.. Не спи! Вставай! — это уже подруге. — Я по тебе соскучился... — прошептал еле слышно. — ...Ребята, идем на диско! В кафе! — телефонная память казалось бесконечной. — Умрите от зависти, меня доvezут до порога!

— Можешь подремать, время есть...

— Некогда! — он запел песни первых поселенцев, в которых слышались мелодии пионерских костров и приморских партизан, поражая энергией молодости и веселья, а потом опять стал звонить.

— Mam, уже на столе? Еще не остыло? Скоро буду!.. Ты меня ждешь? — И снова переходя на шепот: — Лечу! Увидимся, тысяча поцелуев!.. Пойдем гулять?! Когда? Сейчас! Час! Полтора, от силы!

Вдали приморского шоссе призывно мерцал голубой огонек. Я прибавил скорость, стараясь догнать. Расстояние не сокращалось. Только у самого Тель-Авива, на дорожной развязке, огонек взял в сторону, — и мне стало не по себе, когда я понял, что гнался за полицейской машиной. Счастье, что они не воспользовались радаром!..

Очень скоро, когда жизнь стала настраиваться в прежнее и слегка забытое русло, с вечерним возлжанием на диване перед телевизором, прошлое напомнило о себе. Прервав передачи, появилась заставка специального выпуска, с кровавым подсветом. Горела высокая трава. Яркие языки пламени лизали черное небо. Пересекая экран, упругим шагом молодого лосенка прошел невысокий врач с характерным ранцем на спине. Я узнал его по походке — мы когда-то работали с ним на высоте «Двадцать звездочек». Только я теперь здесь, продолжая составлять пазл жизни, а он все еще там.

Потом сообщили, что упало два вертолета, и в длинном списке погибших назвали младшего лейтенанта. Ни фотография, ни имя ничего не сказали мне, я не видел его лица, не спросил, как зовут... а вот адрес, соседняя улица...

Значит, не зря зажигаются звезды одинокому путнику, освещая путь.

За окном, у овощной лавки, сгружая коробки, гулко, так, что слов было не разобрать через двойные рамы, бранились грузчики. С высокого потолка с лепниной на длинном шнуре свисала люстра. Я потянулся, и диван ответил легким скрипом высохшего дерева. Торопиться некуда, можно понежиться в постели. Из всех иллюзий, которыми мы наполняем свою жизнь, нет чувства приятнее, чем проснуться дома.

Зазвонил телефон. Я пошарил рукой вокруг себя, нащупывая. В трубке раздались гудки. Выходит, мобильный, — противный у него сигнал, усиливающийся. Почему-то я подумал, что через мгновение завоет сирена, и резко сел, оглядываясь. Знакомые обои, когда-то бежевые, теперь выцветшие, с прочерченными золотым пунктиром лианами, засаленные возле выключателя и полочки для плащей и шляп. Звенело оттуда.

— Привет! Поздравляю. Теперь ты свободный человек, сдавший автомат и ботинки. Желаю успешно отгулять заслуженный отпуск!

— Спасибо, Мишка! И тебя также.

Всегда он звонит немножечко некстати. Ступать по паркету было тепло и приятно. Я подошел к окну, повернул тяжелый бронзовый шпингалет и впустил в комнату шум улицы и легкий ветерок, откинувший тюлевую занавеску. За крышами домов проглядывался костлявый силуэт Эйфелевой башни. Неужели я теперь могу спать спокойно, без ночных тревог... За окном завывала, нарастая, сирена. Я рефлекторно дернулся, умом понимая, что ко мне это не относится, бежать мне некуда и не к кому. Сирена застыла на высокой ноте. Внутри похолодело от ее настойчивости, и только перегнувшись через ажурные балконные перила, я заметил в конце узкой улочки машину, преградившую дорогу карете скорой помощи.

Оставалось только улыбнуться.

Сергей ЧЕПРОВ

ЗОЛОТОЙ ЗАВИТОК

* * *

Порхая в ночи мотыльками,
Спешим на губительный свет.
А после разводим руками,
Когда уже выхода нет.

В полшаге всего от порога,
Куда добровольно — нельзя,
Мы вдруг вспоминаем про Бога,
Молитвы ему вознося

За грешное, брэнное тело,
За душу, что еле жива,
Мы молимся так неумело,
С трудом подбирая слова.

Откуда молитва исходит,
С каких позабытых стихий?
Но Он наши беды отводит
И наши прощает грехи.

И только отхлынут печали —
Мы вновь устремимся во тьму,
Забыв, что себе обещали
И что обещали Ему.

ПУТНИК

Под солнцем ли, под дождичком
унылым,
С потрепанной котомкой на спине,
Бредет мужик, покуда хватит силы,
Искать удачи в дальней стороне.

И голод утолить, похоже, нечем,
И песнь-то для пути не весела,

И лапотки заброшены за плечи
До времени, до встречного села...

Там, глядь, родня отыщется какая,
Пособник ли кому-нибудь нужон...
Бредет мужик, упрям и неприкаян,
Своей землей. И, все-таки, чужой...

Он мыслью, может, где-нибудь
в бедламе,
Хотя и по карманам — ни гроша...

А там, над золотыми куполами,
Витает в небе светлая душа.

* * *

И скромней времена,
И помельче награды.
Но... чем дальше война,
Тем пышнее парады.

От сегодняшней боли
Душу прошлым мы лечим.
Потому что нам боле
И гордиться-то нечем.

* * *

И птиц отлёт, и листьев хоровод.
В подпалинах и рощи, и луга.
От тяжести река вот-вот замрёт,
Соединив надолго берега.

Короткий день на свет ещё не скуп,
Когда прощальным золотом горит.
А осень то нагонит вдруг тоску,
То светлую печалью озарит.

* * *

Словно лучик солнечный,
Золотой
Из рубанка тянется
Завиток,

Вьется, распрямляется,
Рвется, и опять
В локоны свивается
Золотая прядь.

Солнечные кольца —
Только их затронь —
Зашуршат, заколются,
Щекоча ладонь.

И ложатся кучкою
У станка
Золотые лучики
В завитках.

Даже если солнышко
Скроется,
По колено в солнечном
Море я.

И тогда нет отдыха
Лучше, как
Полежать на солнечных
Лучиках.

* * *

В округе нашей, возле той избы,
Сошлись давно когда-то две судьбы.
Друг друга взглядом молча обожгли
И разошлись. А годы шли и шли...

Но произнесенные слова
Из уст в уста потом несла молва.

Сегодня, как и много лет назад,
При встрече двое опускают взгляд.
И мой неразговорчивый сосед
Уже не усмехается им вслед.

— Была ли тайна? — спросите.
— Была!

И две души она сожгла дотла.
Что знал в округе каждый человек,
Для двух осталось тайною навек.

* * *

Погода изумительно весенняя!
Блин солнца — хоть сворачивай да ешь!
И в Светлое Христово Воскресение,
Как никогда, я нынче трезв и свеж.

Струится благодать изнутри ли, свыше ли,
И как бы ни был грешен человек,
Вдруг понял я: весною не надьшишься,
Как жизнью не пресытишься вовек!

* * *

По морозцу в ноябре
Столько снега свежего.
Вот и лепят во дворе
Люди бабу снежную.

Издалече всем видна
Баба та бедовая.
Только вот совсем одна.
Холостая ль? Вдовая?

Мужика б ей от тоски.
Экая нелепица:
Снежные-то мужики
Ну никак не лепятся.

Супротив мужская статья
Этой процедуре.
Видно, зиму вековать
Ей одной, как дуре.

И одной встречать метель,
Коли закружится.
И в холодную постель
Все одной ложиться.

* * *

Окутал парок, одурманил.
Душою и телом обмяк.
А баня и в Африке баня,
Коль сыщется там сибиряк.

Всё побоку: слава ли, деньги,
Все суеты жизни земной...
Здесь только берёзовый веник
Да ковшик воды ледяной.

Я выползу, гол и излечен,
«О, Господи!», — лишь оброну.
Душа улетает навстречу
Морозному ясному дню.

* * *

С. Филатову

Ни заборов здесь приличных,
Ни запоров от воров.
Но на доме есть табличка:
«Здесь живёт поэт Чепров».

И любой воришка скажет:
— Раз поэт, едрёна вошь,
Кроме книжек да бумажек
Ничего тут не возьмёшь.

Лягу спать, не запираясь,
Я ж к открытости привык.
Но пакет лапши китайской
Всё же спрячу между книг.

Нет. Людишек вороватых
Не боюсь я ни шиша.
Вдруг придёт поэт Филатов —
И прощай тогда лапша.

Эдуард РУСАКОВ

ЧИСТАЯ ПРАВДА

Р а с с к а з ы

*...Ты приговорила меня к высшей мере
И тут же привела приговор в исполнение,
Расстреляв злыми и
оскорбительными словами,
И в каждом твоём слове была чистая правда.*

ЧИСТАЯ ПРАВДА

Ностальгический рассказ

Правда есть, но она никому не нужна, и это — чистая правда.

Лет двадцать назад, вскоре после окончания мединститута, я побывал с моим другом Денисом в дивном городе Дивногорске, в командировке. Какой-то там краевой форум хирургов проходил, уж не помню, чему посвященный. Днем в ДК «Энергетик» доклады, прения, вечером — банкет в гостиничном ресторане; а потом мы с Дениской заманили в наш двухместный номер двух официанточек и до утра разлагались с ними на полную катушку. Но запомнились мне не пьянка и не этот ночной разврат, а то, как ранним утром, едва рассвело (друг Денис уже куда-то свалил с обеими девками), я проснулся, — музыка, нежно играй! — встал, подошел к окну — и ахнул! (Музыка, громче!) На мою похмельную голову вдруг обрушилась свежая роскошь осеннего законного пейзажа — желтая листва, синий Енисей, рыжие скалистые горы на другом берегу, белые чайки... Красота! Прелесть! Золотое очарование! Я даже застонал от счастья, сразу протрезвев, — и вся эта красочная картина, ощущение острой внезапной радости, все это мне запало в душу, осталось в памяти навсегда.

Прошли годы, теперь я женат, мне за сорок, у меня двое детей, есть машина, дача, полный набор... И работой своей я вполне доволен — замглавврача в краевой больнице, кандидат наук. Но как же часто я вспоминаю то раннее похмельное утро в осеннем Дивногорске! Как замирает сердце от одного лишь воображаемого предощущения подобного счастья... и как хочется повторить, снова испытать это утреннее, юное и шальное чувство. Но для этого надо вновь увидеть ту дивную красоту...

Сколько раз за прошедшие годы я собирался зарулить в Дивногорск, да все как-то не было повода. А без повода — разве можно... Разве кто поймет и оценит истинную-то причину...

Но недавно, на прошлой неделе, когда совсем уж стало невыносимо тоскливо и муторно с одинаковым отвращением утром идти в больницу, а вечером возвращаться домой, я вдруг решил, решился, отважился — и заявил жене, что сегодня же (а это была пятница) уезжаю в командировку в Дивногорск, на два дня, а вечером в воскресенье вернусь.

— На больничной машине? — спросила жена.

— На своей, — ответил я. — Казенная в ремонте.

Жена посмотрела на меня недоверчиво:

— А ты не врешь?

Я искренне рассмеялся и предложил показать ей командировочное удостоверение (которого у меня, конечно же, не было), — и жена отмахнулась (как я и рассчитывал): ладно, мол, чего уж там, поезжай, коли надо.

И я помчался, счастливый и трепетный, как юный влюбленный на первое свидание. Сидя в машине, я радостно предвкушал, как приеду в Дивногорск, в ту самую гостиницу, что на набережной, как сниму там отдельный одноместный номер, как перед сном прогуляюсь по набережной, выпью прямо там же, на берегу, на прибрежных камнях, фляжку армянского коньяка, а потом вернусь в свой уютный и чистый номер и долго не смогу заснуть, а потом все-таки засну, а потом рано утром проснусь, подойду к окну — музыка, играй! — и на меня снова обрушится, захлестнет мою душу то самое, нежное, свежее, юное, распутно-похмельное, безоглядное счастье, и я вновь увижу золотую листву и синий Енисей, и рыжие скалистые горы на другом берегу... Я даже зажмурился от сладкого предвкушения — и чуть не встретился во встречный КамАЗ.

Вы уже догадались, что меня ожидало горькое разочарование. Нет, и Дивногорск был на месте, и горы, и Енисей, и золотая осенняя листва... Но гостиницы — не было! То есть... она была, но была полуразрушена, окна всех пяти этажей забиты досками, на входной двери красовалась табличка «Ремонт», а вокруг не было видно ни души.

Медленно проехав по набережной, я встретил прохожего, из местных, который предложил сопроводить меня до другой гостиницы, на горе, но я отказался. Мне нужна была именно эта гостиница — и никакая другая. Не на горе, а именно эта, на берегу. «На берегу — нету», — сказал местный житель.

Что же делать? Я понял, что мне не удастся повторить то давнее дивногорское утро, пережить те давние ощущения. Это невозможно, как невозможно вернуться в прошлое, в молодость, в детство... Да и зачем? Жить надо настоящим и будущим... Назад — в будущее!

И я помчался в обратный путь — из мечты в реальность. Но возвращаться в тот вечер к жене не хотелось, — и я позвонил Денису, тому самому моему другу, с которым мы некогда провели ту сказочную ночь в Дивногорске, да и не только там. Денис был в разводе, жил один — и охотно предоставил мне ночлег. До утра мы с ним пили и вспоминали ту давнюю дивную ночь, тех шальных официанточек, которые отделись нам вовсе не ради денег, а ради чистого бескорыстного приключения... да и вообще в ту пору мы про деньги как-то не думали, стремясь урвать у жизни побольше счастья, — и нам это удавалось.

Утром, напившись крепкого кофе, я отправился домой, к жене.

— Ты же говорил — на два дня? — вяло удивилась она.

— Управился за один вечер, — соврал я.

— А где ночевал?

— В той самой гостинице, на набережной, про которую я тебе рассказывал... помнишь?

— Помню, помню, — сказала жена. — Ну и как Дивногорск?

— Красота! Утром вышел на балкон — глаз радуется! Горы, скалы... а Енисей! А белые чайки!..

— Зачем ты врешь? — перебила меня жена. — Я звонила в Дивногорск — нет там никакой гостиницы на набережной, она давно на ремонте.

— Но я...

— И вообще... в Дивногорске ты не был!

— Как это — не был?!

— Я звонила в больницу — там ничего не знают про твою командировку. Зачем ты врешь?

— Я не вру! Не вру! — воскликнул я. — Хочешь знать, зачем я ездил в Дивногорск? Хочешь?.. — И я рассказал ей чистую правду — о том, как уже много лет мечтал вновь побывать в этом сказочном городе, в той самой гостинице, где когда-



то, в молодости... Ну и так далее. Я ей рассказал все как было! Даже про официанток не утаил. Чистую правду!

— Так я тебе и поверила, — раздраженно скривилась жена. — Чтобы ты просто так помчался черти куда? Тоже... романтик нашелся. Ну зачем ты врешь? Зачем?! Неужели так трудно сказать правду — пусть горькую, но правду!..

И я сказал ей ту «правду», которую она хотела от меня услышать. Я рассказал ей, что вовсе не ездил в Дивногорск, а ночевал у одной женщины, с которой у меня «ничего серьезного», клянусь, так, мимоletный романчик, и я клянусь, клянусь, что подобное больше не повторится. Никогда-никогда. Ни за что.

— Я так и знала! — вскричала жена, мгновенно поверив этому вранью и заливаясь щедрыми слезами. — Я так и знала!

— А если знала, зачем расспрашивала?

— Ты не любишь меня! Не любишь!

И так далее. И тому подобное. Старые песни о главном. Бурные слезы, громкие слова. И далась ей эта любовь...

Спать в тот вечер я улегся на диване, в гостиной. И снилось мне, что я — в Дивногорске, на балконе гостиницы, на набережной — и вокруг никого, и рядом никого, и на набережной никого, и во всем мире — только я один, синие-синие горы и холодный равнодушный Енисей.

БАЛЛАДА О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Рождественский рассказ

До Рождества еще далеко — бабье лето, — но я должен загодя сдать в один глянцеvый журнал десяток рассказов, в том числе и рождественский. Тянуть нельзя — обещали заплатить сразу, оптом, потом ведь могут и передумать.

Вот и сижу в своем инвалидном кресле-каталке с пристроенным ноутбуком, высасываю из пальца всякую хрень. С тех пор как после инсульта меня разбил паралич, я прикован к этому креслу, почти не высываюсь из дома, но с газетами и журналами продолжаю сотрудничать. Веду авторские колонки, пишу рецензии на фильмы и книги, строчу рассказы туда-сюда. Жить-то надо и паралитику — медсестре платить за уход и процедуры, соседке — за то, что раз в неделю у меня прибирается, да и бывшей жене, с которой давно в разводе, иногда подбрасываю. Не от любви, из жалости. Хотя меня самого никто особенно не жалеет.

Трудно сосредоточиться. Шум жизни мешаает, врывается через распахнутую дверь балкона, пробивается через тонкие стены из соседних квартир. Жизнь шумит, кричит, лает, гудит, гремит, скандалит, хохочет...

Я живу рядом с центральным городским парком, который с недавних пор перестал называться парком культуры и отдыха. Просто парк. Просто место для развлечения — сплошные аттракционы. Отдохнуть там, по-моему, невозможно, а культурой вообще не пахнет. На расстоянии верблужьего плевка от моего балкона, на другой стороне улицы, за металлической оградой и располагаются все эти грандиозные качели-карусели, американские горки и прочие потешные сооружения, доводящие дам и девиц до истошных воплей и визгов, словно все они, эти девицы и дамы, возносящиеся в небеса и тут же обрушивающиеся в преисподнюю, испытывают одновременно нечто вроде коллективного, хорового оргазма. В этом многоголосом крике мне слышатся одновременно и восторг, и ужас. Эти вопли я слышу каждый день, с утра до вечера, на протяжении многих месяцев и лет.

Можно, конечно, заткнуть уши, но тогда я стану глухим паралитиком, а это уже чересчур. Нет, от жизни не спрячешься... И не надо прятаться! Лыко в строку! Ведь этот языческий коллективный визг тоже можно использовать для рассказа. Почему бы и нет...

Почему бы не сочинить рождественский рассказик про молодоженов, которые долго не могли достичь сексуальной гармонии, пока однажды не зашли в парк и не прокатились на этих вот горках... Ну и что, спросите вы? А то, что именно на этом



аттракционе — впервые в жизни! — молодожены вдруг испытали доселе неведомое им наслаждение... и закричали дуэтом: он — драматическим тенором, она — колоратурным сопрано. А закричали они от счастья и от любви. «А-а-а!!!» — вот как кричали они, словно их режут тупыми ножами.

Впрочем, стоп. Для рождественского рассказа этот сюжет не годится. Во-первых, зимой аттракционы в парке не работают, во-вторых... во-вторых, рождественский рассказ должен быть добрым и трогательным, а тут явно угадывается какое-то глумление... Сразу видно, что сочинил паралитик.

Я уничтожаю только что написанный текст и решаю отвлечься. Открываю электронную почту, уничтожаю ненужную мне рекламу и порнуху, просматриваю бегло деловые послания — и вдруг замечаю письмо от какой-то Белочкиной из Израила. Какая такая Белочкина? Что-то смутно мерцает в памяти... нет, не помню такую. И вообще, нет у меня знакомых в Израиле! Впрочем, почему бы им и не оказаться в Израиле, моим знакомым...

Открываю, читаю: «Дорогой Вадим, я случайно узнала твой электронный адрес от одного из наших общих знакомых... Здравствуй, любовь моя! Полвека молчала, а тут не смогла удержаться. Как я плакала, когда узнала про твою болезнь... Надеюсь, сейчас тебе лучше? Ради бога, ответь мне, пожалуйста. Любящая тебя Миля Белочкина».

Вот тебе и сюжет! Передвинем все это к январю — и готов рождественский рассказ. Только кто она, эта Миля? Убей — не помню! Придется спросить ее прямо, без церемоний. Все равно ж мне терять нечего.

И я послал ей письмо с вопросом: «Кто ты, Миля?»

Не прошло и пяти минут — словно она там, в Израиле, в своем Иерусалиме, сидела неотрывно у компьютера и ждала от меня весточки. И дождалась... И откликнулась!

«Неужели, Вадим, ты забыл свою первую школьную любовь? Миля Белочкина — это я, твоя Миля, твоя недотрога, которая так жалеет сейчас, что была тогда недотрогой... Вспомнил?»

«Конечно же, вспомнил! — тут же соврал я в ответ, хотя ничегошеньки-то о ней не помнил, но нельзя же расстраивать пожилую женщину. — Ты была такая нежная, такая чудесная... А ты помнишь, как я к тебе приставал?...»

«Плохо приставал, Вадик, — ответила Миля с явной горечью из далекого своего Иерусалима, — плохо приставал. Ах... если б ты приставал ко мне по-настоящему!..»

Тут связь прервалась, и больше я не дождался от нее ни слова.

Что за Миля? Быть может, она перепутала меня с кем-то другим? Хотя... нет, вряд ли... И тут вдруг я вспомнил — но не лицо забытой Миля, и даже не голос ее, — я вспомнил прикосновение к ее телу, то давнее прикосновение в темной школьной раздевалке, в душном углу, между чужими пальто и куртками... ее мягкое гладкое тело, трепещущее под моими дрожащими пальцами, расстегнутая кофточка, упоительно сладкий вкус ее губ... И все, и ничего больше, только бешеный стук моего сердца и ее напряженное молчание... И все, и ничего-ничего больше!..

Да, плохо я к ней приставал, Миля совершенно права. И еще она права, что не захотела меня простить, перестала со мной встречаться, ведь я оскорбил ее своей заячьей робостью. Но кто мог бы подумать, что она будет помнить меня всю жизнь... Разве такое возможно? Разве бывает вообще такое?!

Бывает еще и почище, подумал я, успокаиваясь и приходя в себя.

Все это, конечно, трогательно, но для рождественского рассказа маловато. Не хватает концовки. Вот если бы эта самая Миля сорвалась вдруг с теплого и насыщенного места и примчалась бы ко мне из Израила... И мы встретились бы с ней по-настоящему и по-новому — спустя полвека!... И если бы я под влиянием этой встречи совершенно чудесным образом вдруг выздоровел бы и избавился от паралича, а потом бы мы с Милей вместе встретили Новый год... А потом, в ночь перед Рождеством, мы бы, как в юности, с подростковой силой и нежностью полюбили бы вдруг друг друга... И все бы у нас получилось, и мы были бы счастливы, хоть и немолоды,



да и при чем тут возраст, ведь можно догнать свое счастье и на финишной кривой, это я так шучу... А если без шуток, то мы были бы счастливы, счастливы, счастливы, и вот это был бы настоящий рождественский рассказ!

Ну и кто же мне мешает его написать?..

А никто и не мешает.

Тогда взял бы и написал...

А я уже написал.

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ

Рассказ о женской доле

Маргарита с детства мечтала о ребенке. Еще сама была ребенком, а уже мечтала. Играла только в дочки-матери, нянькалась с куклами, строила им кухоньки, спаленки, наряжала в одежды, кормила песочком.

Выросла, а мечта осталась прежняя — ребенок даже снился ей по ночам, грезились наяву. Но Маргарите не везло на женихов, хотя внешне она была вполне приглядная — стройная, черноволосая, кареглазая, круглолицая, румяная. Но веселые молодые люди ее избегали, побаивались, она им казалась слишком серьезной, в ней не было ни огонька, ни изюминки; а еще их отпугивало то, что она при первом же знакомстве весь разговор сводила на детей — мол, как она мечтает о ребеночке и тому подобном. Все равно что при встрече с вором-рецидивистом завести разговор о прелестях тюрьмы или исправительно-трудового лагеря. Всех мужчин отпугивало, а некоторых даже и обижало, что она видит в них лишь потенциальных отцов своего «маленького». А где же любовь? Где любовь, спрашивается?! Ведь мужчины — романтики, а Маргарита была начисто лишена романтизма.

Вот и дожила до тридцати лет старой девой, пока не подвернулся ей цирковой лилипут Игорь Олегович. В ту пору Маргарита была весьма состоятельной бизнесвумен, хозяйничала в нотариальной конторе, где под ее началом служили пятеро мужчин, но ни один не отважился сделать ей ребенка. Даже корпоративные вечеринки не помогли — каждый раз молодые нотариусы приводили своих жен и подруг, а Маргарита опять возвращалась одна в холодную трехспальную койку.

Но встреча с цирковым лилипутом Игорем Олеговичем перевернула всю ее жизнь. Первый раз она его увидела не в цирке, а на улице, в сквере, на скамейке. Видит — сидит хорошенький аккуратненький мальчик в модном костюмчике, сидит и горько плачет.

— Кто тебя обидел, мальчик? — спросила взволнованная Маргарита. — И где твоя мама?

— Какой я вам мальчик?! — гневно произнес Игорь Олегович детским голосом и посмотрел на нее злыми заплаканными глазами.

Маргарита растерялась и отошла, а потом остановилась и оглянулась — «мальчик» провожал ее злобным взглядом.

А недели через две она оказалась в цирке, на шоу лилипутов «Маленькая страна», опять же из корпоративной солидарности, за компанию с подчиненными, которые уговорили ее пойти на этот экзотический аттракцион. Лилипуты резвились на арене как дети, кувыркались, плясали и пели, скакали на маленьких пони, прыгали на батуте, но главное — пародировали жизнь «взрослых», изображая известных политиков и артистов, а Игорь Олегович (которого Маргарита, конечно же, сразу узнала) дерзнул даже пародировать самого президента и произнес уморительную речь, завершившуюся призывом: «Россия, вперед!» После этих его слов лилипуты устроили на арене потешный парад, сопровождавшийся грандиозным салютом и фейерверком.

Но самым замечательным номером был сеанс гипноза, который под завораживающую дробь барабана провел тот же маг и волшебник Игорь Олегович, похожий на ряженого во фрак симпатичного мальчика. Он взмахнул светящейся палочкой и воскликнул звонким мальчишеским голоском:



— Мне нужна ассистентка! — Окинул быстрым взглядом публику и заметил в одном из первых рядов Маргариту. — Вот вы, милая дама... Да-да, я к вам обращаюсь! Прошу на арену, не бойтесь!

И, подвластная его чарам, Маргарита встала со своего места и прошла на арену. Она видела только его, всемогущего мальчика во фраке со светящейся волшебной палочкой в руке. Она подчинилась ему с первого слова, впав в транс по его приказу; и весь мир исчез, только они вдвоем, она и ее *маленький*, ее сынок, ее ненаглядный шалун и проказник... Публика хохотала, а Маргарита прижимала к себе коварного малыша-гипнотизера, брала его на руки, убаюкивала, укачивала, укладывала в оказавшуюся тут же, на арене, детскую маленькую кроватку. Когда же Игорь Олегович вывел ее из состояния гипнотического транса, произнес: «Раз, два, три!» — Маргарита проснулась, пришла в себя, огляделась растерянно по сторонам — и тут же упала в обморок, потеряв сознание.

Подбежал дежурный врач, Маргариту унесли с арены, быстро привели в чувство. Но Игорь Олегович, осознавший некоторую вину перед ней (он, конечно же, понимал, что перестарался, проводя этот провокационный сеанс гипноза), удержал Маргариту в своей комнате после окончания представления. Он провел с ней мягкую душеспасительную психотерапевтическую беседу, а когда Маргарита совсем успокоилась, отвез ее на служебной машине — не к ней домой, а в гостиницу «Север», в свой номер люкс.

Эту ночь они провели вместе, и никакие подробности случившегося никому не известны.

Известно только одно — с того дня Маргарита и Игорь Олегович были неразлучны. Они полюбили друг друга не с первого взгляда (ведь первая их встреча на улице была неудачной), но с первой же ночи, — и потом уже ничто не могло помешать этой любви. Они вместе жили (уже не в гостинице, а в двухкомнатной квартире Маргариты), вместе гуляли, и он частенько заглядывал в ее нотариальную контору; обедали они в будние дни в ближайшем кафе, а по выходным — в ресторане гостиницы «Север», где можно было встретить его коллег-лилипотов из шоу «Маленькая страна». Маргарита посещала все цирковые представления с его участием. Когда же труппа отработала по контракту сезон, Маргарита все бросила — и квартиру, и бизнес — и отправилась вслед за своим *маленьким* по городам России, а потом и в Европу...

Жаль, конечно, что у них не было детей (хотя Маргарита надеялась на чудо, ведь она знала, что липипуты могут иметь потомство), но и без детей им было хорошо, особенно Игорю Олеговичу. Да и Маргарита вполне утоляла свой материнский инстинкт, когда по ночам убаюкивала капризного Игорешу, лаская его и приговаривая: «Спи, мой маленький, спи, моя деточка...» Игореша ворчал и фыркал, как избалованный котенок, но прощал ей эти глупые слова, потому что от собственной матери он никогда-никогда не слышал ни одного нежного слова.

Одного лишь боялась Маргарита, — что ее ненаглядный Игорь Олегович, которому было уже далеко за тридцать, может умереть раньше нее (как она читала, липипуты в среднем доживают лишь до сорока) — а уж этого она бы точно не пережила. Но, как вскоре выяснилось, бояться ей следовало совсем другого. Что самое обидное, она сама и оказалась кузнецом своего несчастья!

Когда труппа «Маленькая страна» гастролировала по Европе, Маргарита, не очень-то веря в успех, обратилась к швейцарским врачам, чтобы те провели ее «маленькому» курс лечения гормоном роста — генотропином. В глубине души она надеялась на чудо — и чудо произошло! Через несколько месяцев после начала лечения Игорь Олегович подрос на двадцать сантиметров — и это был не предел! Через год он вымахал уже до полутора метров, почти догнав Маргариту, а через полтора года его рост достиг 172 сантиметров, — и тогда Маргарита впервые испытала легкую тревогу: а этого ли она хотела?.. О том ли мечтала?.. Ее *маленький* превратился в нормального взрослого рослого мужчину... но почему же нет радости в ее душе? Ей казалось, что у нее отняли ее маленького, а его место занял этот басистый брутальный дылда, почти не похожий на прежнего нежного Игоря Олеговича, чем-то очень чужой, пугающий и совсем-совсем не родной...



А однажды он ей заявил, что встретил и полюбил другую женщину.

— Как — другую? — воскликнула Маргарита.

— Да так, — усмехнулся Игорь Олегович. — Я встретил женщину своей мечты.

— А я? — еле слышно пролепетала она.

— А тебе придется со мной расстаться, — сказал он безжалостно и даже злорадно, наблюдая, как покрывается красными пятнами ее некогда румяное, а ныне бледное худое лицо. — Я тебя разлюбил, Маргарита.

— Но ведь я... ведь мы... ведь ты... ты — мой маленький...

— Что за бред! — расхохотался он басом. — Протри глаза, Марго. Какой же я «маленький»? Твой гипноз закончился. Сейчас я скажу: «Раз, два, три!» — и ты проснешься. И начнешь новую жизнь, уже без меня. Давай же! Раз... два... три!

Но она не проснулась, гипноз продолжался, она продолжала его любить и совсем не хотела начинать новую жизнь. Она просто не могла!

— Что мне делать? — прошептала она. — Я не смогу без тебя жить...

— Еще как сможешь, матушка. Заведи себе нового лилипута. А еще лучше — купи собачку. Тойтерьерчика или болонку... такую маленькую, нежную... Я не шучу, Марго! Срочно купи собаку! И возвращайся на родину, там твое место. С деньгами на первое время я помогу — я ж не сука бессердечная.

И он помог, и она вернулась в родной город на берегу Енисея, купила однокомнатную квартиру... а потом — купила себе маленькую и пушистую беленькую болонку, назвала ее Белкой и зажила с ней тихо и мирно. Вернулась в нотариальную контору, правда, уже не хозяйкой, а рядовым нотариусом. О детях больше и не мечтала. Впрочем, кто ее знает, о чем она мечтала, когда часами сидела в кресле у телевизора и гладила, гладила, гладила свою пушистую душистую Белку:

— Ах ты, моя маленькая...

Но, как гласит старинная женская мудрость, на чужом несчастье счастье не построишь. Не удалось это сделать и Игорю Олеговичу. Однажды, прогуливаясь в сквере со своей Белкой, Маргарита увидела вдруг его — своего единственного! — на той самой скамье, где когда-то, в той, прежней, счастливой жизни, она встретила его впервые. Тогда он был маленький и несчастный, но такой хорошенький, такой изящный... Сейчас же перед ней сидел грязный и пьяный, небритый и дурнопахнущий мужчина, — и это был он, ее блудный Игореша! Из его бормотания она поняла, что удача от него отвернулась: из цирка пришлось уйти — перестав быть лилипутом, он утратил все свои прежние таланты; любимая женщина его бросила, потому что не нужен ей нищий неудачник. Вот он и вернулся на родину, — но не может устроиться на работу, и жить ему, если честно, негде, и вообще... жизнь пропала, пропала жизнь, ох, пропала, пропала...

— Это неправда! — воскликнула Маргарита. — Ты еще молод, ты сможешь найти свое мужское счастье! А пока поживешь у меня... Вставай же! Пошли!

И она повлекла его за собой, к себе, в свое уютное гнездышко.

— А собачка не возражает? — хихикнул он и протянул руку, чтобы погладить Белку, но болонка оскалила белые зубы и зарычала.

— Она к тебе привыкнет, вот увидишь! — звонким молодым голосом сказала Маргарита. — Все будет хорошо, я тебе обещаю! И не спорь, пожалуйста!

А он и не спорил.

Они жили долго и умерли в один день.

КАК Я УМИРАЛА

История болезни

Когда не с кем говорить, нужно писать. Вот я и решила описать всю свою жизнь, хотя вряд ли кому это будет интересно, а уж тем более — полезно. Мне скоро сто лет исполнится, вокруг все — чужие, а я ведь по-настоящему-то и не жила. Всю жизнь только и делала, что умирала, умирала, умирала...



Хоронить меня начали еще с младенчества — родилась я недоношенной, слабенькой, папа очень за меня боялся и все время носил на руках, отбирал у мамы, укачивал, убаюкивал. Мама даже смеялась — ты еще грудь ее покорми! Папа меня вынянчил, всякими травками укрепил, свежим медом и чем-то еще, — мама потом рассказывала. Папа был ветеринарный фельдшер, а мама — дочь сельского священника. Жили мы в Канске, у папы было много работы, каждый день к нему люди с утра приходили — у кого лошадь заболела, у кого корова. У меня от той давней поры рецептурный справочник сохранился с папиными карандашными пометками, и я знаю, чем отличается насморк у собаки от катара у кошки... или как надо лечить сердечный запал лошадей, как спасать коров, отравившихся на пастбище беленой или дурманом. Папа всех-всех вылечивал — лошадей, овец, коров, коз, собак, кошек. Платили ему молоком да яйцами, но и деньги иногда давали. И меня он вылечил — от свинки и от краснухи. Бабушка Марфа, мамина мама, когда мы к ней приезжали в деревню в гости, помнится, восклицала: «А Шурка-то, Шурка-то — еще жива!» Это я — Шурка.

Ко мне все болезни приставали, я без конца хворала и физически развивалась медленно, поздно начала ходить, разговаривать. И все вокруг удивлялись — как это я еще жива... А папа с мамой радовались, ведь я у них третий ребенок, — у меня еще была старшая сестра Катя и братик Витя. Но меня папа с мамой любили больше, я же чувствовала, потому что я была самая слабая, самая болезненная, но и самая чувствительная.

Когда началась первая мировая война, папу взяли на фронт, где он лечил лошадей в кавалерии. А потом он там же, на фронте, заболел чахоткой... вернее сказать, туберкулезом. Ему тогда было всего тридцать пять лет — и умирать, конечно же, не хотелось. В 1916 году его отпустили на побывку домой. У меня хранится фотокарточка, где мы все сняты: бородатый худой папа, грустная молодая мама, Катя с Витей и я — на руках у папы, мне тогда всего годик был. Папа маме тогда сказал: приехал с вами проститься, скоро умру, будь готова, детей береги, особенно Шурку. Мама плакала, конечно, но что она могла поделать, тоже ведь понимала, что чахотка неизлечима, тогда же не было ни фтивазида, ни стрептомицина; уж если даже писатель и врач Чехов от чахотки умер, не смог сам себя вылечить, то мой папа-то и подавно.

Он и умер вскоре после возвращения на фронт. Мама все причитала: «Зачем я его отпустила — хоть бы дома помер, мы б его здесь и похоронили...» Но папу похоронили где-то там, в Галиции, и никто из нас не был на его могиле. А мама осталась одна, с тремя детьми на руках... а тут революция, а потом гражданская война... Хорошо, что мама успела до замужества епархиальное училище в Красноярске закончить — и устроилась потом работать учительницей в начальных классах. Так всю оставшуюся жизнь и проработала. Утром в школу идет, а сестра Катя и брат Витя домашним хозяйством занимаются и за мной присматривают. Ну и бабушка Марфа поначалу помогала, пока не померла. Когда уже умирала, мама нас всех к ней, к ее постели, подвела, мы ее в лоб поцеловали, а меня мама на руках держала — и тоже к бабушке поднесла. Я заплакала, а бабушка Марфа сказала: «А Шурка-то, Шурка-то — еще жива...» И тут же тихонечко померла. А я сразу перестала плакать.

Потом мы переехали из Канска в Красноярск, поближе к маминим дальним родственникам, где мама опять устроилась работать в начальную школу. Я подросла и тоже стала учиться, но продолжала часто болеть, особенно ко мне приставала простуда: от любого сквозняка — сразу насморк, кашель и маме морока. А жили мы трудно, еле сводили концы с концами. Поначалу была своя корова и свое молоко, но потом и корову у нас отняли, когда узнали, что мама — поповская дочь, а все мы — социальные лишенцы. И Катя поэтому не смогла в институт поступить, а Витя три года зарабатывал себе рабочий стаж, чтобы поступить в медицинский, но работать врачом ему пришлось совсем недолго — он на фронте сразу погиб. Но это уже потом, после, а до этого была наша молодость, и я тоже стала большой, молодой и красивой — посмотрите на эти снимки, видите, какая я молодая и красивая! Глаза светлые, ясные, голубые, волосы пышные, волнистые... Я была из нас троих самая-самая красивая — это не я придумала, это Костя мне так говорил, а зачем ему врать...



С Костей мы познакомились в двадцать седьмом году, в троцкистском кружке. Я была еще совсем девчонкой, в школе училась, а он меня старше на десять лет, совсем взрослый, красивый — худощавый, стройный, орлиный профиль, в модной юнгштурмовке с большим отложным воротом и галстуком, со значком «Ворошиловский стрелок» и двумя толстыми авторучками в нагрудном кармане, в сверкающих хромовых сапогах с высокими голенищами выше колен... Как можно было в него не влюбиться?! Нельзя было не влюбиться в такого — и я влюбилась с первого взгляда. Он всюду ходил с другом Кешей, и в первый же вечер мы втроем после кружка пошли гулять по вечернему Красноярску. Они были такие верные друзья, Костя с Кешей, такие рыцари-комсомольцы, и долго потом не могли решить между собой — кому же из них я должна достаться. Каждый уступал другому, каждый проявлял благородство, хотя я-то сразу для себя решила: Костя — мой на всю жизнь!

Так оно и получилось, но не сразу. Очень скоро Костя стал как бы моим женихом, но ведь я же была еще совсем девчонка, школьница, и о замужестве моем моя мама даже слышать не захотела. Во-первых, моя старшая сестра Катя не была еще замужем. Во-вторых, у меня как раз тогда и начался проклятый туберкулез: затемнение в правом легком, та самая чахотка, от которой умер мой папа... Мама была в отчаянии, она уже решила, что теряет меня, а ведь я была ее любимой доченькой. Какое уж тут замужество! Тут лечиться надо, спасти свою молодую жизнь.

Но вот что было самым замечательным! Мой Костя, конечно, был очень расстроен, когда узнал о моей болезни, он очень, очень переживал... Но! Эта страшная новость лишь подстегнула его желание на мне жениться — и он стал еще более упорным и настойчивым. «Шурочка, я тебя вылечу своей любовью! — говорил он мне, стоя на коленях возле моей кровати. — Без тебя мне не нужна жизнь!» Ну и так далее... Но мама моя все равно была категорически против. Она говорила, что надо думать о лечении, а не о любви. Мол, любовь подождет, если это, конечно, подлинная любовь, а не блажь и не мимолетное чувство.

Короче, несколько лет ушло на лечение. Лучшие годы своей молодой жизни я потратила на больницы и дома отдыха, пила всякую гадость вроде барсучьего и собачьего сала, ездила даже на озеро Шира, где в меня влюбился сам главный врач, но это детали...

А потом, в тридцать седьмом году, когда я уже вроде бы подлечилась и готова была выйти замуж за Костю, — грянула другая беда. Меня вызвали в НКВД и стали расспрашивать про тот давний троцкистский кружок, который я и посетила-то всего два-три раза, еще в школе. «Ведь вы комсомолка?» — спросил улыбчивый следователь. — «Конечно, — говорю, — а как же». — «И как вы сейчас относитесь к троцкизму?» — «Полностью осуждаю, — говорю, — и жалею, что когда-то по детской дурасти проявляла интерес к этим идеям. Сейчас я на все сто процентов поддерживаю товарища Сталина в его борьбе с троцкизмом и правым бухаринским уклонизмом». — «Отлично, — улыбается следователь — и кладет передо мной две фотографии. — А эти вот молодые люди вам знакомы?» И на снимках я вижу Костю и Кешу. «Да, — говорю, — это вот Костя, мой жених, он теперь тоже убежденный сталинец и давно отказался от прежних заблуждений...» — «А этот?» — «Это наш бывший товарищ, его зовут Кеша... — Тут я замялась, что-то внутри меня подтолкнуло добавить: — Мы с ним давно не встречаемся, я ничего не могу о нем сказать... Вы лучше спросите у него сами!» — «Обязательно спросим», — сказал следователь и убрал фотографии в папочку.

А потом арестовали и Кешу, и Костю. Но Костя легко отделался — его только исключили из партии, а вот Кешу расстреляли. По-моему, это наказание было слишком суровым, хотя наши органы знали, что делали, просто так никого не наказывали. Время было суровое, наша страна находилась в окружении враждебных капиталистических государств, назревала мировая война — нельзя было ослаблять бдительность и проявлять снисходительность и терпимость к малейшим вражеским проискам.

Примерно через год после этих грустных событий мы с Костей поженились. Костя дал моей маме страшную клятву, что будет беречь меня пуще зеницы ока и



ухаживать за мной, как за любимым ребенком. И клятву свою он сдержал. Помню, в первую нашу ночь я так сильно разволновалась (ну... сами понимаете), что у меня вдруг начался приступ безудержного кашля. Как только Костя меня обнимет — я начинаю кашлять. И его жалко, бедного, и с собой ничего не могу поделаться. Кашляю, кашляю, — и докашлялась до того, что у меня горлом кровь пошла. Вся подушка в крови и рубаха моя ночная вся в крови, и Костя тоже в крови, а сам бледный-бледный... Да что же это такое! Что ж я, думаю, так и умру, не став женщиной?... «Обними меня крепче, Костинька! — шепчу ему хрипло. — Обними крепче, родной! Ничего не бойся! Пропади все пропадом! Не жалея меня! Не жалея!» И он обнял меня безжалостно и нежно, и я прижалась к нему, и стала его женой, даже боли почти не почувствовала, наоборот, мне было так сладко, так сладко... А постель наша вся в крови — это просто какой-то кошмар, всюду кровь: и внизу, на простыне, и сверху, на подушке... И мы оба с ним в крови, и я больше не кашляю, а он почему-то плачет, совсем как маленький... Ты чего, говорю, мне же лучше, мне хорошо, — и смеюсь, смеюсь, и его обнимаю, а он все плачет, а я смеюсь... Так мы с ним и заснули — в его слезах и в моей крови, обнявшись как брат с сестрой, как дети, бегущие от грозы... Впрочем, что это я говорю какие-то глупости, как я могу это помнить... Но ведь столько лет прошло, а ведь помню же, помню — и никогда не забуду то ощущение, будто Костя не муж мой, а сын мой. С тех пор я его и стала «деточкой» называть, но только мысленно, про себя, вслух ни разу, конечно, он бы страшно обиделся, если бы я его назвала «деточкой», посчитал бы обидным намеком, напоминанием о том, что своих детей у нас никогда не было.

Жить мы стали втроем — я с Костей и мама — в двухкомнатной небольшой квартире, которая досталась Косте от его недавно умершей мамы. Костя был очень вежлив с моей мамой и называл ее мамой, а меня называл Шуренком, словно котенка какого, но я не обижалась. Иногда Костя мягко ворчал на мою маму за то, что она никак не могла отказаться от бога, прятала в шкафу икону. Бывало, приоткроет дверцу шкафа — и тихонько молится, глядя на икону, а потом закроет дверцу и ключиком запрет. «Ох, мама, мама, — говорил Костя, — ведь вы же советская учительница, чему вы можете научить своих школьников?» — «Ладно, Константин, не сердись...» — «А если кто из посторонних узнает, что мы храним дома иконы?» — «Да кто же узнает-то? Мы же ведь никому не скажем...»

Костя качал головой укоризненно, но этим и ограничивался. Он был добрый и справедливый, мой Костя, хотя гибель друга Кеши, конечно же, ранила его на всю жизнь. Он, кстати, после этого не пытался восстановиться в партии, даже не заговаривал на эту тему, вообще о политике старался не говорить... Так, просмотрит газеты, хмыкнет — и все. До войны он успел окончить юридические курсы, начал работать адвокатом, хотя и без высшего образования, но тогда это было вполне возможно. Время требовало смелых, энергичных людей, преданных идеалам коммунизма — и одним из таких был мой Костя. Поэтому он прошел через все невзгоды, и я — рядом с ним.

Костя всегда был со мною ласков и нежен, возился как с ребенком, все «Шурочка» да «Шуренок», да «Шуреночек мой пушистый». Когда я ему сказала, что боюсь умереть во время родов, он тут же дал слово, что не допустит этого, что дети нам не нужны, без детей обойдемся, «мне твое здоровье, Шуренок, дороже всего на свете». Хотя мама моя мечтала о внуке или внучке, но я ей сказала: ты, может быть, хочешь, чтобы я скорее умерла? Мама заплакала и перестала напоминать о внуках. Так и жили мы с Костей вдвоем, тихо, мирно и дружно, и он был для меня «моей деткой», а я для него была «пушистым Шуренком».

А потом началась война — и все наши мужчины ушли на фронт. И брат Витя ушел (едва успев закончить свой мединститут), и муж сестры Кати ушел (когда Катя была беременна моим племянником Вадиком), и мой Костя («моя детка») тоже ушел на войну. Он служил в артиллерии, мой Костя, и часто присылал мне письма, написанные химическим карандашом, но я все равно за него боялась, не просто боялась, я умирала от страха каждую ночь, засыпая, а когда просыпалась, то удивлялась тому, что еще жива.



Очень скоро пришла похоронка на брата Витю — он, как позднее выяснилось, погиб, когда их с самолета сбросили над партизанским отрядом, а немцы их снизу всех перестреляли. Кто-то их, немцев, предупредил. Представляю, как это было: брат Витя, военный врач, спускается на парашюте, а снизу его встречают немецкие пули... Ужасно! Кошмар! А потом перестали приходить письма от мужа сестры Кати — и только после войны мы узнали, что он пропал без вести где-то в Восточной Пруссии, где сейчас Калининградская область... или уже губерния, я запуталась... Только Костя, моя «детка», исправно слал мне свои бодрые письма, поддерживая меня, а то я бы иначе обязательно умерла от страха за него и за себя, потому что я не представляла себе жизни без моего Кости.

И вот он вернулся. Кто-то же должен был вернуться с этой страшной войны — и вернулся мой Костя. И хоть я никогда не верила, да и сейчас не верю в бога, но в тот день, когда Костя вернулся, подумала: слава тебе, Господи!

После войны Костя был со мной еще более ласков и заботлив, так как жалел меня, хроническую больную туберкулезом. Да и детей ведь у нас так и не было, вот он, Костя, и тратил на меня свои нерастраченные отцовские чувства. А я на него — материнские...

Правда, вскоре появились хорошие противотуберкулезные лекарства (фтивазид, стрептомицин), от которых мне стало значительно лучше. Даже мой лечащий врач сказал, что теперь я могу начать жизнь сначала. А уж как Костя радовался! Мы с ним почти каждое лето ездили на море — то в Ялту, то в Алупку, то в Евпаторию, и я себя чувствовала все лучше и лучше.

Но потом случилась новая беда — захандрил мой любимый племянник Вадик, сын сестры Кати, который рос без отца, пропавшего без вести на фронте, без мужского воспитания, изнеженный мамой, бабушкой, да и я приложила свою любящую руку. Безотцовщина губит детей, особенно мальчиков — одних ожесточает, других расслабляет. Вот и Вадик вырос изнеженным, слабовольным, чрезмерно впечатлительным. Поступил в мединститут, хотя сам мне признавался, что при виде трупов его мутит: на занятии в анатомичке он даже упал в обморок. Влюбился в девочку Надю, которая им помывкала. Писал упадочные стихи: «Ни о чем не жалею, ничего не желаю...» Ну разве так можно — в семнадцать-то лет?! «Губы рано остыли, плечи рано устали...» Однажды прихожу к ним домой, купила по случаю колбасы любительской за три двадцать и решила им подкинуть полкило, а дверь мне открыла соседка по квартире (они тогда в коммуналке жили). Катя, сестра моя, конечно, была на работе. «А Вадик, — спрашиваю, — дома?» — «Был дома, — говорит соседка. — Да вы сами к нему загляните. Может, спит...»

Но Вадик не спал. Я дверь в их комнату приоткрыла — и чуть не умерла на месте от страха. Вадик лежал на полу, раскинув руки, в луже крови. Я, хоть в глазах у меня и помутилось, сразу же поняла, что он перерезал себе вены на руке бритвой. И лежит себе, как на пляже, а кровь потихонечку вытекает, вытекает... Я как закричу! А он как подскочит! «Тетья Шура, а вы откуда?» — «Мое сердце — вещун! — кричу. — Мое сердце меня сюда направило! Что ты наделал, Вадик? Как тебе не стыдно?» — «А зачем мне жить, если я никому не нужен?» Ну и так далее... Впрочем, он тут же и устыдился, руку бинтом замотал, я лужу крови с пола подтерла, чтобы сестру Катю не напугать, — а потом потащила Вадика в травмпункт, ему там швы наложили, хорошенько забинтовали, сделали противостолбнячный укол и ввели внутривенно глюकोзу с витаминами и с чем-то еще успокаивающим.

Но успокаивать надо было меня. Я после этого случая слегла, и опять моему Косте прибавилось заботы. Теперь он уже хлопотал не только за меня, но и за Вадика, присматривая, чтобы тот снова не наделал глупостей. А потом Вадик сам пришел ко мне с повинной и встал на колени передо мной, лежавшей на кровати, и мы с ним оба заплакали, и я взяла с него страшную клятву, что он больше никогда-никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, — вы меня понимаете, что я имею в виду... И клятву эту Вадик сдержал — умер он через много лет, своей естественной смертью, от второго инфаркта. И жизнь прожил неплохую, имел семью, детей и внуков,



хотя сам себя считал почему-то неудачником, но ведь это же не ему судить, разве может сам человек беспристрастно и объективно оценивать свою жизнь? Нет, конечно...

Так вот я и жила — в вечном страхе то за себя, то за Костю, то за Вадика, то за маму. Туберкулезный процесс в легких вроде бы заглох, очаги зарубцевались, хотя весной и осенью болезнь обострялась. Но тут еще стал кишечник барахлить, пришлось соблюдать диету. И какие-то странные боли все чаще охватывали поясницу, а потом сжимали все тело; руки немели, ноги теряли чувствительность... Но врачи говорили, что это все нервное — от моей мнительности и ипохондричности. Им лишь бы отвязаться, а мне-то страдать каково!..

Только стало мне чуть-чуть полегче, как слегла моя мама. Она уже старенькая была, давным-давно на пенсии, а в ту осень резко ослабла. У нас в квартире еще не топили (сентябрь), хотя на улице было резко похолодание, а мама холод тяжело переносила, лежала в кровати под двумя одеялами, — и все равно ухитрилась простудиться и заболеть пневмонией. В конце сентября она умерла. С того дня полвека прошло, а я как сейчас помню — мама лежит в гробу на столе, а мой Костя стоит, весь такой растерянный, тоже старый уже, лысоватый, с брюшком, задыхающийся от одышки, — и мне так жалко его, даже жалче мамы, потому что мама-то уже умерла, а он — вот он, живой, но ведь еле живой, еле дышит, хотя ему еще и шестидесяти нет, а здоровья совсем никакого...

Похоронили маму, а через год и Костинька мой ушел от меня. Умер в автобусе, когда ехал утром на работу, в суд. Он ведь адвокатом работал, в тот день спешил на процесс, волновался, что опаздывает. А еще мы с ним в тот день немножко поссорились, и он, моя «детка», очень переживал, я не сомневаюсь. Накануне он поздно пришел домой, где-то с товарищами просидел весь вечер, я и устроила ему бойкот. Дура, дура, какая дура... А в то утро, в последнее свое утро, он тихонько попил чаю, посмотрел на меня так грустно, так виновато и жалобно, прямо как старый пес. А я молчу, отвожу глаза... Он вздохнул и пошел на работу. Вышел во двор, оглянулся — ждал, что я ему рукой помашу из окна. Но я не помахала. Он прошел шага два и снова остановился, оглянулся — я опять не помахала. Потому что дура, дура, упрямая дура! А ведь это он попрощался со мной, когда оглядывался и смотрел на окно, попрощался со мной навсегда. А я...

Помню, в последнюю нашу ночь, когда я спала, отвернувшись от него к стене, мне приснилось, будто гонюсь за ним, догоняю, зову, зову... Так и не догнала. Вот и сбился сон: Костя умер в автобусе. Стало плохо с сердцем, он потянулся рукой к внутреннему карману пиджака, где лежал валидол — так и не дотянулся. Потому что эти дураки-пассажиры стали ему искусственное дыхание делать... вот дураки! У него сердце рвется на части, ему полный покой нужен, а они — искусственное дыхание. Дураки, дураки, дураки!..

Так мои «детки», мама и Костя, меня оставили. А я к умирающей маме даже священника не позвала, а ведь она просила. Мама всю жизнь верующей была, но так без исповеди и без отпевания и ушла, а все я виновата, все чего-то стеснялась, стыдилась, боялась, дура... Дура и есть. Дура неверующая — вот я кто! Костя-то ладно, он сам в бога не верил, ему над могилой звезду поставили, а уж маме-то надо было крест... А я опять постеснялась — как же так, мол, учительница советская — и крест... И поставили ей безликий памятник, без ничего, ни звезды, ни креста, только прямоугольная стела из серой мраморной крошки... и на ней слова: здесь лежит учительница такая-то. И все. Вот и хожу к ним теперь, к своим «деткам», и плачу у них на могилках, уже полвека плачу...

«А Шурка-то, Шурка-то все еще жива!» — сказала бы моя бабушка Марфа. Нет, неправильно мы с Костей жили. Надо было жить для себя, надо было больше радоваться жизни, а мы мало радовались, больше боялись и по сторонам оглядывались. Так и не пожили по-настоящему-то, и жизнь наша прошла слишком быстро. Как теперь жить одной — не представляю. Несколько раз пускала студентов, вроде веселей, но потом отказывала — обидно, что ходят по комнате, где жил мой Костя. Не



могу никого принять вместо него. Сердце не принимает, душа отвергает всех. А уж какая стала нервная, слов нет! То желудок прихватит, то запоры мучают, то сердцебиение спать не дает, то ужасные опоясывающие боли все тело перехватывают, дышать невозможно. Столько раз казалось, что у меня рак... Будто вся изнутри опутана раком. Но ведь живу же, не умираю! А вот сестра моя Катя — она от рака умерла. И мой любимый племянник Вадик недавно умер от второго инфаркта. Дня за два до смерти позвонил мне, попросил зайти. Я зашла, хотя чувствовала себя плохо. Ну так ведь я всегда себя плохо чувствую... Захожу к нему — он лежит, бледный весь, на табуретке возле кровати лекарства всякие. Дышит тяжело.

— А где, — говорю, — твои сыновья со внуками?

— У них свои заботы, я ведь давно один живу, — говорит и улыбается. — Ну что, тетя Шура, будем прощаться?

— Ты это брось, — говорю. — Прекрати свою меланхолию.

— Помните, — говорит, — как много лет назад вы меня спасли, когда я сделал себе чик-чик?

— Как же, помню... А к чему ты об этом сейчас?

— Да к тому, что зря вы мне тогда помешали, — говорит и все так же улыбается, словно говорит что-то приятное; но что ж тут приятного, в этих-то его словах. — Зря вы тогда...

— Нет, не зря, не зря! — говорю, а он тихо смеется и больше со мной не спорит, только руку мою берет, целует — и говорит:

— Люблю я вас, тетя Шура... хоть вы и смешная... Мы с вами очень разные люди... но ведь люблю...

— И я тебя люблю, Вадик! — бросаюсь к нему, но он тихо меня отстраняет:

— Вы, главное, не расстраивайтесь. Вы, главное, живите долго...

И вот я живу, а он — умер. И все мои близкие и дорогие — все они умерли. Они все так старались, чтобы я жила, всю свою жизненную силу мне отдали... И я живу за них... вместо них... А зачем? Сама не знаю. Кто скажет, кто научит — как и зачем жить? Прожито много, а сказано мало нужных слов... Нет, ничего не сказано, ничего не узнано. И кончается жизнь. Как долго... и как быстро!

Как-то, впервые в жизни, зашла в церковь — и спрашиваю у священника: «Как мне жить, батюшка? И зачем? Зачем жить, если я никому не нужна? Об одном лишь молю — как бы мне скорей умереть!» А он мне: «И думать не смей. Не тебе своей жизнью распоряжаться. Живи, как подсказывает тебе твоя совесть и как велит время». — «А при чем тут время?» — «А при том, что не в пустыне живешь, а среди людей, во времени, в мире, в стране... Не спи наяву!»

И вот я пытаюсь не спать наяву. Но ловлю себя на том, что даже наяву переживаю свои ночные сны. А снятся мне все чаще мои «детки» — мама и Костя, и Вадик, и сестра Катя, и даже папа, которого я наяву не помню, а во сне — вспоминаю, честное слово. Но чаще всего, конечно же, снится мне Костя — то я вижу его летящим по небу, в окружении птиц и пчел, то голым рядом с собой, то будто бы он целует меня в засос, а однажды, стыдно даже признаться, он мне приснился голым, с окровавленным членом; я прошу его надеть хотя бы трусы, а он смеется, а потом вдруг как заплачет... И вот плачет, плачет, даже рыдает, и мне его так жалко, я даже во сне понимаю, что он мертв... А он мне говорит: я тебе, говорит, Шурочка, разрешаю завести другого мужчину. Я сержусь, — как ты можешь?! — а он снова плачет, рыдает... Так я в слезах и проснулась, весь день потом ходила разбитая и больная...

Конечно, читаю хорошие книги — Драйзера, Лондона, Алексея Толстого, воспоминания маршала Жукова. Книги — мои собеседницы, без них было бы совсем тоскливо. Беру книги в краевой библиотеке, так как покупать не могу себе позволить, пенсии с трудом хватает на жизнь впроголодь. Да мне много-то и не надо: съем супчика, яблочко натру с морковкой — и сыта. А летом приду в парк, погуляю, куплю там мороженое, съем — и обед не нужен.

Как-то вспомнила, что Костя в последние месяцы жизни несколько раз просил меня вышить ему подушечку для дивана, чтобы я сама вышила, я же умею выши-



вать — и гладью, и болгарским крестом... Больше-то ничему в жизни так ведь и не научилась; правда, еще после войны окончила курсы стенографии, но ведь не работала, нигде и никем никогда не работала, только после Костиной смерти пришлось поработать несколько лет кассиршей в книжном магазине, чтобы хоть на какую-то пенсию заработать, а то так бы и жила теперь голодранкой, дурочкой бестолковой... Так вот, он про эту подушечку мне несколько раз говорил, а я — потом да потом... Так и не сделала ему подушечку, так он и не дождался от меня даже такого пустяка, моя «детка», а ведь для себя-то я всякую чепуху без конца вышивала, болгарским крестом особенно, и очень красиво получалось, а кому это все теперь нужно...

Однажды приснился мне Сталин — такой строгий, красивый, в белом мундире и в орденах; мне так приятно, что я с ним рядом, и я такая гордая-гордая; и будто мы с ним идем под руку по проспекту Мира, который когда-то назывался проспектом Сталина, и тут на перекрестке, где стояли какие-то люди, Сталин стал вдруг петь и плясать, как пьяный, чем, конечно же, очень себя унизил... Я даже застыдилась и отошла от него в сторону, притворилась, будто мы с ним совсем не знакомы. А когда проснулась, долго не могла отойти от этого чувства стыда, хотя понимала же, что в реальности ничего подобного быть не могло, ведь я Сталина всегда уважала и сейчас уважаю, а тех, кто его чернит, я не уважаю. Мы даже с моим племянником Вадиком из-за Сталина однажды поссорились, но потом Вадик со мной перестал спорить, рукой махнул — мол, что со старой дуры возьмешь. А я знаю, я верю, что Сталин спас нашу страну от врагов, мы и сегодня живем во вражеском окружении, ведь никто нас не любит, да и за что нас любить...

Мне скоро исполнится сто лет, это ужасно. У меня никого не осталось — ни родных, ни друзей, ни ровесников, все поумирали. Из собеса меня навещает добрая девушка Наташа, которая помогает мне по хозяйству, готовит еду и, как мне иногда кажется, подсыпает мне в суп медленного яда, от которого я должна вот-вот умереть, но почему-то до сих пор не умираю. Наташа добрая, но я не уверена, что ее доброта от сердца, а не от ума. Мне кажется, она ждет моей смерти, чтобы потом завладеть моей квартирой... или — что вероятнее всего — они там в собесе это сообща задумали, чтобы меня медленным ядом отравить и потом мою квартиру продать, а денежки между собой поделить. Ну и пусть, ну и пусть... И давно пора. Сколько можно еще так мучиться...

В последнее время я увлеклась поэзией, стала читать запоем стихи Андрея Дементьева, Эдуарда Асадова, Степана Щипачева и других замечательных советских поэтов. «Любовь — не вздохи на скамейке и не прогулки при луне, любовью дорожить умейте...» — ну и так далее. Разве можно без волнения читать эти строчки! Ничего нет на свете сильнее любви! А чтобы поделиться своими чувствами с другими, я стала переписывать самые мои любимые стихи в маленькие тетрадки, и эти тетрадки Наташа, которая из собеса, по моей просьбе засовывала в почтовые ящики к моим соседям по подъезду. А что? Чем читать дурацкие «письма счастья», которые неизвестно кто рассылает всем и повсюду, или рекламные газеты с дурацкими объявлениями, которые вообще никому не нужны, лучше пусть люди читают хорошие светлые стихи и облагораживаются душой. Ведь настоящая поэзия очищает душу, я в этом уверена на все сто!

А на днях мы с Наташей вышли во двор погулять, она меня на кресле-каталке выкатила, — и вот там, во дворе, возле мусорного ящика, я вдруг увидела в грязи несколько своих тетрадок со стихами... Какие жестокие, неблагодарные, холодные, бессердечные люди! Я им от всей души, от горячего моего сердца, а они — в мусорный ящик...

Я, конечно, заплакала, ведь мне было очень обидно. Но потом успокоилась. Темные, бедные люди — разве можно на них обижаться... И я ни на кого не обижаюсь, потому так долго живу.

И мне кажется, я не умру никогда.



БУМАЖНАЯ МАСКА

Роман с опечатками

1.

В начале было Слово. И Слово было Боль.

Превозмогая боль, мучительно рожала меня моя мама. Боль испытал я, едва появившись на свет. Больно мне было переживать крушение первой любви. Еще большее был разрыв с женой и детьми. Незаживающая больная рана — смерть мамы, которая почти еженощно является мне во снах, и боль от этих свиданий самая тяжкая, самая изнурительная. В одном из таких сновидений мама призналась, смущенно улыбаясь, что меня, оказывается, подменили в роддоме; она сама узнала об этом не сразу, а мне так и не решилась признаться при жизни. И вот теперь я не знаю, что думать, можно ли верить этому сну; и если все это правда, то кто ж я такой на самом деле? Кто я такой?!..

Но особенно больно складывать из слов фразы.

2.

В одном из самых мрачных казематов Петропавловской крепости вот уже в течение девяноста лет томится таинственный узник в железной маске. Трудно смотреть без ужаса на эту хрупкую высокую фигуру. Это наследник дома Романовых, цесаревич Алексей Николаевич Романов, посаженный на цепь красным саграрпом Зиновьевым и до сих пор не выпускаемый на свободу. Даже новые, демократические власти боятся огласить тайну законного претендента на царский престол — они ждут его естественной смерти... Не дождутся!

3.

В каземате своей однокомнатной квартиры вот уже более полувека томлюсь я — узник в бумажной маске. Кто я? Откуда я взялся? От кого я прячусь? За кого я себя выдаю? На все эти вопросы у меня пока нет ответов.

4.

Недавно я понял, что являюсь правнуком Антона Павловича Чехова, который имел мимолетную связь с моей прабабушкой Конкордией Ивановной, когда проезжал через Красноярск в мае 1890 года. Мой официальный прадедушка, сельский священник отец Иоанн, как раз в те майские дни приехал в Красноярск по вызову архиерея и остановился с супругой в той же гостинице «Париж», что и знаменитый писатель. И вот поди ж ты! Пока отец Иоанн пребывал с визитом у владыки, слабовольная и падкая на мужскую ласку матушка-прабабушка успела-таки согрешить с Антоном Павловичем, который, как всем известно, был очень охоч до женской красоты. А как уж потом радовался прадедушка! Ведь несколько лет их брака до той поры оставались бесплодными, а тут — этаким сюрприз! «Слава тебе, Господи!» — шептал отец Иоанн. Но Господь, как вы понимаете, был тут совсем не при чем. Сам прадедушка никогда не узнал эту страшную и прекрасную тайну, дедушка тоже ничего не знал, как и мама моя ничего не знала... и никто никогда ничего мне об этом не рассказывал. Но ведь надо уметь сопоставлять несопоставимые факты. Надо уметь читать между строк! Надо уметь различать в незнакомых лицах до боли знакомые и родные черты... Нет никаких сомнений — я правнук Чехова! Не хотите — не верьте! Но я-то знаю, что это правда, и сам Антон Павлович, у которого, кстати, других детей не было, если бы вдруг воскрес и увидел меня, то, конечно бы, тут же воскликнул бы, простирая ко мне дрожащие руки: «Сынок! Это я, твой папа!»

5.

Обожаю Чехова. Одно лишь ему не могу простить: его язвительный и несправедливый отзыв о сибирских женщинах, за которым, конечно же, угадывается намек на мою прабабушку, жертву его мимолетной страсти: «Женщина здесь так же скучна, как сибирская природа: она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не пьет, не

смеется, не миловидна и, как выразился один старожил в разговоре со мной, «жестка на ощупь»...»

6.

Неправда! Наши женщины, а уж моя бабушка особенно, всегда умели нежно и страстно любить, а если даже они и были «жестки на ощупь», так это от сурового резко-континентального климата, от долгой зимы и короткого лета, от холодных студеных ветров и жестоких морозов, которые и впрямь делают женскую кожу жесткой, но зато заставляют негасимо пылать женские сердца.

7.

Пришла пора открыть еще одну страшную тайну. Я — внук Иосифа Сталина, который согрешил с моей бабушкой Аленой Демидовной в Ачинске, в 1917 году, когда бежал из Туруханской ссылки. Мой дедушка воевал тогда на далеком западном фронте, а бабушка была так одинока! Вот и пустила к себе постояльца, который оказался таким порывистым и горячим. От него моя мама унаследовала сталинские желтоватые глаза — с разрезом как у газели. Не случайно, о нет, не случайно моя любимая бабушка долгие годы хранила в шкафу портрет дорогого Кобы — рядом с иконой Спасителя! Оба эти образа были одинаково для нее дороги и святы, и когда бабушка втайне даже от домашних по вечерам молилась, то целовала с равным благоговением портрет и икону. Я все видел — и я все помню!

8.

И последняя моя страшная тайна: я — внебрачный сын Мао Цзедуна, зачатый в те самые дни 1949 года, когда великий кормчий, возвращаясь из Москвы, зарулил в Красноярск для ознакомления с нашей тяжелой оборонной промышленностью. Впрочем, об этом я уже где-то рассказывал, но, к сожалению, мне никто не поверил, расценив мой правдивый рассказ как фантазию, такую литературную шутку. Но я не шутил и не шушу! Я серьезен как никогда. Ведь я не мальчишка. На финишной кривой не шутят, тут пора о душе подумать. А душа моя ноет, болит и томится по чистой незамутненной правде. Правда же заключается в том, что я и впрямь являюсь правнуком Чехова, внуком Сталина и сыном Мао. И ничего тут нет странного, все очень даже логично.

9.

Спрашивается: кто же я есть на самом деле? Если столько разных жгучих кровей во мне перемешано, — кто я по национальности? Русский, грузин, китаец? А может быть, я — марсианин?!.. Но это, конечно, шутка. Может быть, я искусственный человек, гомункулус, монстр Франкенштейна, плод научного эксперимента?.. Это тоже шутка, конечно же. Может, я — живая пародия? Как это у Пушкина (про Онегина): «Уж не пародия ли он?»..»

10.

И он... И она... И они... И я... И вы... И мы все...

Все мы — живые пародии на нормальных людей, которые существуют лишь за пределами нашей пародийной страны. И все герои нашей великой русской литературы — пародии. Не только уже упомянутый Онегин (пародия на Байрона), но и его друг-соперник Ленский (чья сладкая предсмертная ария «Куда, куда?..» — чистой-пая же пародия на немецкий романтизм!), и несносный болтун Чацкий, и мрачный бабник Печорин (порождение мрачной фантазии черкесского поэта Лермонтова), и убивец Раскольников, начитавшийся западных книжек и завидующий Наполеону... все они, все до одного — ходячие и говорящие пародии! И вся Россия — пародия на Запад, но отчасти и на Восток, потому что двуглавый орел с одинаковым рвением и зоркостью всматривается и в одну, и в другую сторону, и от этого раздвоения наша многовековая российская шизофрения становится все злокачественней и неизлечимей...





11.

Но... чу! Звуки российского государственного гимна заставили меня встрепенуться. Я рванулся к окну — и увидел проносящиеся по улице автомобили, из которых высовывались обнаженные по пояс парни и девушки, а в руках они держали российские трехцветные флаги (мнемонический прием для запоминания порядка расположения цветных полос: сверху вниз — «Бе-Си-Ки», что означает «белый-синий-красный», — теперь никогда не забудешь, братан, не перепутаешь, это очень важно!); они размахивали этими флагами и кричали: «Россия! Россия! Россия, вперед!» А из окон их автомобилей вырывались триумфальные звуки российского гимна... И это было прекрасно! И не так уж важно, чему именно они радовались, эти замечательные ребята, что именно они так бурно праздновали — очередную ли победу наших футболистов над командой Мадагаскара или триумф поп-группы «Кис-кис» на фестивале стран Заполярья, или очередной разгром эстонских войск на Чудском озере... Да не все ли равно! Главное — Россия опять впереди! А самое главное — это то, что именно эти триумфальные звуки родного российского гимна пробудили меня от спячки, от многолетней моей дремоты, заставив впервые за долгие годы почувствовать, что я — русский! Да, я русский! Русский! Несмотря на весь мутный хмельной коктейль, бурлящий в моей крови, все же духом, душой я русский! И все мы, живущие на этой земле — русские! Ибо наша земля — мистическая, волшебная, колдовская; и будь ты китаец, еврей или даже негр преклонных годов, — все равно ты русский, если живешь на русской земле и не собираешься ее покидать.

12.

Я это понял только что, вот сейчас, сию минуту! Это — главное, величайшее открытие моей жизни! И теперь я могу спать спокойно, жить спокойно, работать спокойно, любить спокойно... и умереть спокойно.

13.

Потому что я очень устал и нуждаюсь в заслуженном отдыхе.

Конец романа.

Список замеченных опечаток:

1. Во фразе «И Слово было Боль» — вместо слова «Боль» следует читать «Бог», ибо именно так написано в Святом Благовествовании от Иоанна («В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»). Суесловие и кощунство — главная беда автора, о чем свидетельствуют многие его «произведения», в том числе и это.

2. Вместо слова «высокую» надо читать «восковую» — и вся фраза должна звучать так: «Трудно смотреть без ужаса на эту худую восковую фигуру», — из чего становится ясно, что никакого узника в железной маске в Петропавловской крепости нет, а есть лишь восковая фигура, да и то навряд ли, и все это — плод расстроенного авторского воображения.

3. Вместо слова «томлюсь» надо читать «таюсь». Тогда вся фраза приобретает совершенное другое значение и звучит так: «В каземате своей однокомнатной квартиры вот уже более полувека таюсь я — узник в бумажной маске». Никто автора в этот «каземат» не заточал, и его «томление» — дело сугубо добровольное и весьма постыдное, ибо настоящий человек, тем более мужчина, всегда может найти, чем заняться в жизни, стоит лишь захотеть.

Кстати, эту, как и некоторые другие замеченные опечатки, являющиеся по сути оговорками и описками, можно легко объяснить с точки зрения фрейдовского психоанализа, — и тогда становится совершенно ясно, что автор подсознательно прячется (таится) от собственной совести (см. Зигмунд Фрейд, «Психопатология быденной жизни», Москва, изд-во «Наука», 1989 год, стр. 19).

4. Вместо слова «мимолетную» следует читать «мнимую», — и вся фраза приобретает обратный смысл: «Недавно я понял, что являюсь правнуком Антона Павловича Чехова, который имел мнимую связь с моей прабабушкой Конкордией Ива-

новой, когда проезжал через Красноярск в мае 1890 года». После этого все утверждения автора о его кровном родстве с великим писателем выглядят просто смешотворными!

В этом же фрагменте: вместо слов «сын» и «папа» следует читать «правнук» и «прадедушка», — автор явно заболтался, запутавшись в собственных измышлениях.

5. Вместо слова «пьет» следует читать «поет», — именно так у Чехова: «Женщина здесь так же скучна, как сибирская природа: она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется, не миловидна и, как выразился один старожил в разговоре со мной, “жестка на ощупь”...» (А. П. Чехов, «Из Сибири», Полное собрание сочинений и писем, изд-во «Наука», Москва, 1978 год, том 14-15, стр. 27). Зря автор приписывает классику упреки в адрес сибирских женщин, что они, мол, не пьют. Еще как пьют! Не поют — это да, а с чего же им пить, нашим красавицам? С какой радости? Когда тебя окружают занудные и сомнительные субъекты... вроде нашего автора, — тут не запоешь, а заплачешь!

6. Вместо слова «бабушка» следует читать «прабабушка», — опять автор путается в собственной родословной.

7. Вместо слова «страшную» следует читать «странную». Фраза должна звучать так: «Пришла пора открыть еще одну странную тайну». Автор как бы сам сомневается в достоверности своих генеалогических «открытий».

8. Вместо слова «кривой» надо читать «прямой», — и вся фраза приобретает совсем иной смысл: «На финишной прямой не шутят, тут пора о душе подумать». В этом также виден подсознательный намек на нереальность рассказываемой истории (ведь «кривда» — антоним «правды!»), а также стремление лукавого автора уклониться от серьезного разговора даже с самим собой.

9. Вместо слова «шутка» следует читать «жутко» («Но это, конечно, жутко...»). Автор продолжает играть в прятки с собственной совестью. Через фразу эта же опечатка повторяется: «Это тоже шутка, конечно же». Не «шутка» — а «жутко»... Жутко! Жутко! Жутко!!!

10. Вместо слова «черкесского» следует читать «чеченского» («порождение мрачной фантазии чеченского поэта Лермонтова»), — ибо, как доказала Марьям Вахидова в статье «Тайна рождения поэта», Михаил Юрьевич Лермонтов был плодом внебрачной связи его матери, 15-летней Марии Арсеньевой, и 30-летнего чеченского вождя Бейбулата Таймиева, поэтому должен впредь именоваться Михаилом Бейбулатовичем Таймиевым («Сибирские огни», 2008 год, №№ 9, 10).

Вместо слова «шизофрения» следует читать «психопатия» («и от этого раздвоения наша многовековая российская психопатия становится все злокачественней и неизлечимей»). Нет, не надо переносить диагноз своей собственной болезни на всю страну! Да, Россия больна, но всего лишь психопатией аффективно-неустойчивого круга, а вовсе не шизофренией. И диагноз «психопатия» позволяет верить не в такой уж мрачный прогноз для возрождающейся России, — ведь психопатическая страна может жить да жить, сквозь годы мчась на птице-тройке, а шизофреническая страна обречена на распад и тотальную деменцию (слабоумие) (см. М. Абрамсон, «Учебник исторической психопатологии», Москва, 2007 год, изд-во «Наука», стр. 173).

11. Вместо «обнаженные по пояс парни и девушки» следует читать «обнаженные по пояс молодые люди», так как девушки топлес — это все же большая редкость в нашем резко континентальном климате, да и патриотический порыв должен бы скорее способствовать росту их целомудрия, чем распушенности.

12. Вместо слова «жить» следует читать «пить», а вся фраза будет звучать так: «И теперь я могу спать спокойно, пить спокойно, работать спокойно, любить спокойно — и умереть спокойно». Из чего следует, что для автора «пить» важнее, чем «жить», и весь вышеприведенный текст свидетельствует о склонности автора к напиткам не только безалкогольным, что наводит на догадку о подлинной, не такой уж возвышенной и духовной, природе его мнимых генеалогических, литературоведческих и историко-психопатологических «открытий».

Работа по выявлению незамеченных опечаток продолжается.



Аист — танец одиночества с болотной
скукой,
сквозь извилины растущей,
словно изнутри меня осока
лезет тягой к свету вездесущей.

Словно я, меняя форму линий,
ощутил на теле опереньи,
красный клюв, как молнию, и крылья
в снегопаде белом озаренья.

Где из наважденья все предметы:
люди и пейзажи на озёрной
глади,
персонажи оперетты
в смутном фокусе трубы подзорной,

ускользающий мираж за дымкой
апокрифа Еноха в пернатом
изложении,
вечность-невидимка,
смерть которой служит адвокатом...

Чтоб затем продолжить панораму
медленного действия в назиданье
жизни, поспешающей к этапу
возвращенья оной в наказанье.

*

Журавль спит, во сне раскинув крылья,
над осенью в прощальном крике тая,
ему приснился бег автомобилей,
и чайной розы запах из Китая,

над храмами, где просветлённый Будда,
сон продолжая в новом измереньи,
извлёк весенний танец ниоткуда
с торжественной печалью Воскресенья.

Фонариков бумажных увяданье,
разбросанных повсюду по долине,
снов человеческих окружила стая,
под листопадом спящая доньне.

*

У Ангела на два крыла дороги
стояла в перьях боль, по телеграфным
столбам толклись обрывки фраз и поминутно
пересекались скрипом тормозов.

Но Ангелу хотелось оглянуться
на насекомый бег по его телу...
Мешала боль, стянувшая затылок
пучком высоковольтных передач.



И Ангелу уже давно не снилось,
каким он был в своём далёком детстве,
когда лепил из глины человечка
и когда звёзды в небе зажигал.

*

Трясогузка — волна на погнутой пластинке,
но звука
из-за шороха листьев осенних труба не доносит.
Если можно трубой назвать небо,
а вращением круга —
земную поверхность,
где царствует осень.

Трясогузка — зеркальное переложенье летучих
паутин невесомых,
они их полёт и дыханье
на фоне полос реактивных,
таких же плакучих,
как ив над рекою в осеннем костре полыханье.

У трясогузки в запасе лежат наблюденья
над быстротечно скользящим потоком воздушным,
в котором вся жизнь обернулась в прозрачные тени
и в смене времён затерялась на тропах пастушких.

*

Феникс на чёрный экран проецирует взгляд свой,
где кинолентой сосредоточено время
в виде пейзажа из затемнённых преамбул,
как подсознание, лишённое света;
но бредит
корень, питающий крону, залитую солнцем.

Крона без корня — как мысль без предчувствий.
Предтеча...
Феникс — предтеча, когда распадается стронций,
смерть образуя из населяющих вечность
атомов.

*

Чайка в хриплом репродукторе простора
пронзительно, как упырь, оглашает берег;
но этот крик здесь уместен,
хотя и гордо
в тревожном предчувствии спазма бредит.

Чайка, романтических песен сути
не смущаясь несоответствием —
продлевает
в морские дали свой голос утлый
служителя хаоса и печали.

Её крик на разделе твердыни с бездной
стоит, как Харон в оперённой лодке,



указующий клювом-жезлом
в небытиё
один из коротких

путей,
в котором есть всё же надежда
в виде паруса над горизонтом
и мгновение счастья безбрежного
в единении сердца с солнцем.

Поэтому крик чайки, раздирающий душу,
привязан к восторгу гибели,
когда, легко оставляя сушу,
глаз приветствует мир невиданный.

*

На потресканном круге гончарном кровавая глина пытает
золотушные пальцы осеннего странника Бога. — Не клади
меня душу, — вопит, — как же ей обживаться, как вместить
высоту в шелудивый огрызок оврага!.. Но Бог не послушал.
Потому что и сам не вмещался в размеры вселенной.

Огоньком папиросы прорисован полёт законный моего
силуэта в вагоне экспресса. Далёкий для иных силуэтов, что
так же полны ожидания того, что приходит к уже
опустевшему телу... Как во сне, перевёрнут октябрь... Конец
и Начало стали смыслом единым в охровом его обиходе.
Каждый символ в преддверии снега — всего лишь попытка
обернуться безмолвием в новом своём воплощении...

Изнутри озирая, как глина могла бы, как древо озирая свои
корни и ветви с потоками влаги вдоль волокон, до самой
вершины, до самого солнца, стоящего тускло над пропастью
в день листопада. Когда ветер цепной о служеньи хозяину
вспомнит... Изнутри озирая окружающий мир, я подумал:

Когда эволюция кончится, согласно виденьям, пришедшим
на Патмос, и мёртвые встанут с живыми назад оглянуться,
на пройденный путь, что казался таким бесконечным, что
откроется им напоследок? Что их было лишь двое. Адам,
сотворённый из глины, из ребра его — Ева, и множество их
отражений в пространстве глазного хрусталика на
гигантском лице Андрогина.

Телец не даёт застояться воде ядовитой в пространстве.
Паутинками мысли парят, и огнём полыхает рябина. Из руки
октября всем дано будет благословенье. Я внутри Водолея,
звук доходит ко мне через воздух, и предчувствия движут
прозрений моих колесницу.

Самолёт пролетает так низко, что я успеваю схватиться
руками за железную балку на днище и уже высоко
разжимаю уставшие пальцы. Но, вопреки всем законам
паденья, усталое тело моё поднялось ещё выше, и уже
самолёт подо мной превратился в случайный нарисованный
крестик на самом краю мироздания.

* * *

Я вижу себя чёрным голубем крыш,
в красных лапках моих

белый снег тишины.

И кружит надо мной ночь-летучая мышь
коридором в загробные страны луны.

Я вижу тебя белой цаплей болот,
в красных лапках твоих

муть зелёной волны.

И кружит над тобой чёрный дрозд-небосвод
коридором в загробные страны луны.

Но не вижу себя и не вижу тебя
там, где ворон очнётся вчерашнего дня.



Илья ОГАНДЖАНОВ

МЕСТО СИЛЫ

Р а с с к а з ы

КОГДА ЗАЦВЕТАЕТ ЖАСМИН

Стылое осеннее утро. Пустынное шоссе в рыжих подпалинах опавшей листвы. По стойке смиренно стоит одноногий указатель с облупившимися буквами: «Новые дома». Вдоль раскисшей обочины тянется худая канава, и соседский Мишка деловито расхаживает по грязи в зеленых резиновых сапожках, кроша длинной сучковатой палкой тонкую ночную наледь. На пустыре за дорогой багровеют ржавые коробки гаражей, придавленные к земле непроницаемым пепельным небом.

Сколько лет все одно и то же... Через месяц дорогу припорошит, и на асфальте проступят две призрачные колеи. Накрепко замерзнет вода в канаве. Гаражи скроются под снегом. Потом распутица, дожди, промытый воздух задрожит на ресницах. Пустырь покроется островками чахлой напрасной травы. Одуванчики с любопытством высунут из нее огненные и седые головы. Пересохнет канава, бесстыдно обнажив свое затхлое гнилистое лоно, и солнце засияет ярко, ослепительно, нестерпимо. И снова опадут листья. И соседский Мишка — или Петька, или Сашка — примется ломать тонкий сахарный ледок. И лишь указатель день и ночь, в любую погоду занозой будет торчать в окне — «Новые дома». Кажется, новыми они никогда и не были. Насупленные четырехэтажки на трех улицах, магазин, детсад, больница — вот, пожалуй, и все новости. Сколько лет, сколько зим...

Скоро сорок шесть стукнет. В том году отгуляли юбилей, да так, что трещали полы и сервант надсадно звенел посудой. Он быстро напился, погрузившись в сладкое спасительное забытье. Преподнесенные настольные часы в золоченом корпусе под амбир с каллиграфической гравировкой «Инженеру Николаю Алексеичу Васильеву от инструментального цеха Реммонтажстроя» жена водрузила на книжную полку, потеснив равно ценимых ею Толстого и Достоевского.

— Видишь, Коленька, как все тебя любят.

Он ничего не ответил. Последнее время Ольга все больше напоминала их школьную учительницу литературы, старую деву Инну Иванову, с одышкой и циклопическими очками на рыхлом, лоснящемся от пота носу, — «образ маленького человека в свете идейной тьмы реакционной политики царизма».

Мысли уносились куда-то далеко-далеко, он и сам не знал куда. Да и какая разница. «... ционной ... литики ... изма», — назидательный голос Инны Ивановы звучал в памяти все отдаленнее и глуше, уступая место другим, неведомым голосам: цыц, цыганка, отцвели цикламены, отзвенели цикады, скисло поцелуя звонкое цинандали, цианистый калий, в цитрусовой цитате Цицерона, не забыть купить цитрамона...



Должно быть, ученики так же смеются теперь над Ольгой, над потасканным образом лирического героя с его истеричной героиней, над лишними людьми, их лишениями и невзгодами, над этим ее дурацким шиньоном. А какая коса была у нее на выпускном! И как робко все было в ней тогда, как тревожно-маняще...

Он закрыл дверь и не спеша спустился по обшарпанной вонючей лестнице. «Здесь были мы... Оля плюс Коля... Валька сука... Спартак чемпион...» А если только это и останется после нас? Бетонные стены и косо процарапанные на них слова...

Под ногой хрустнул тонкий игольчатый лед, избороздивший лужу у подъезда. В мутной, до конца не замерзшей за ночь воде плыло облако, похожее на взбитую пену для бритья. Он закурил, глубоко затянулся. Бросил горящую спичку, метя в облако. Спичка зашипела и потухла.

Он с трудом перемахнул широкую лужу и, глядя под ноги, быстро зашагал привычной дорогой — магазин, детсад, больница. Граммов триста «Докторской», батон белого, пакет молока... Прилипшая к тарелке манная каша... крикливая и беспробудно заспанная молодая воспитательница... плюшевый мишка с пришитыми вместо глаз холодными перламутровыми пуговицами... Пыльный угол для искупления провинностей, в который хотелось втиснуться и выйти сквозь стену Иван-царевичем в тридевятом царстве, где бело-лиловой пеной закипает и плещет в окна сирень и не отцветает жасмин. «Пожалуйста, пожалуйста», — неизвестно кого шепотом умолял он в своем детском сердце хоть одним глазком посмотреть на этот неведомый жасмин, о котором читал по слогам в задушенном хлоркой сортире на обрывке журнала «Садовод»: «Время, когда наступает волшебная пора цветения жасмина»... Полкило сосисок, половинку черного и яблок жене: врач сказал, нужны витамины... «Что поделаешь, Оля, не плачь, ну не дал бог, чего теперь убиваться»... Бутылку «Столичной» и пачку «Явы»... Магазин, детсад, больница. Отметка на проходной. Несколько торопливых шагов вдоль ремонтных мастерских, мимо груды металлолома и вросшего в землю «Кировца» — к лазу в заборе. И дальше, чавкая по грязи, через пустырь — привычная дорога до гаража.

Все знали, куда и зачем он ходит. Знала Ольга — и молчала. Молчала и отводила глаза, вздыхала у телевизора. Знали на заводе: да ты бы как-то это... в общем... сам понимаешь, раз такое дело, как говорится, седина в бороду, а денежки врозь... Вызывал парторг, отточенным карандашом отбивал по столу морзянку, стучал сдобным кулачищем: исключим-выгоним-привлечем... ей же едва шестнадцать! Знали у нее дома: «Был бы жив отец, не болталась бы по гаражам, беспутная!.. Отвечай, когда мать с тобой разговаривает!.. Машенька, доченька, одумайся, пожалей нас с бабушкой, в глаза же людям смотреть стыдно!..» Знали в школе. Парни слащаво лыбились, девочки ехидно хмыкали, перешептывались за спиной, затевали комсомольское собрание; коллеги-учителя сочувственно смотрели на Ольгу.

Это случилось как-то само собой. Утром встречал ее по дороге на работу. Улыбчивая, с пристальным взглядом, вздернутым носиком, будто всему и вся хотела сказать: «А ну-ка!» По-старушечьи сгорбилась под тяжестью ранца. Пальцы перепачканы чернилами и фломастерами. Бантик сбился и стал похож на увядший цветок. «Здравствуй, Машенька. Ты сейчас в каком классе?» В первом, втором, третьем... «Отличница наверно?» И шел дальше, почти сразу забывая о ней.

Ранец сменился сумкой через плечо, на ногтях появился яркий лак, завитые волосы волной сбежали до плеч, и об учебе и отметках спрашивать стало неловко. Теперь он думал о ней всю дорогу до проходной. И потом, входя в цех, открывая дверь в свою комнатенку, садясь за письменный стол, заваленный по-осеннему шуршащими отчетами. Бывало и у кульмана, корпя над чертежом. И по дороге домой — снова думал. И даже дома, при Ольге, заблаговременно закрывшись газетой.

— Почему вы сегодня такой задумчивый? — спрашивала с просыпающимся женским любопытством в голосе. — А у нас вторым уроком тригонометрия. Я в ней ни-и-ичего не понимаю... и задачу не сделала. Ну и ладно — спишу на перемене у Первалова.

И хотелось тут же вытащить из портфеля тетрадку и дать ей списать, посрамив математический гений этого прыщавого выскочки Первалова. Пусть никакой тет-



радки там и не ночевало. Да и что ей там делать — школьной тетрадке во взрослом портфеле...

Сквозь щель над воротами гаража лился дымный солнечный свет. Они сидели на заднем сиденье «Победы», отстраняясь друг от друга. На ее воспаленных губах играла виноватая улыбка. На маленькой бледной груди темнели сморщенные жалкие соски. Голые ноги покрылись гусиной кожей.

— Ты разочарован? — она первый раз сказала ему «ты» и, пытаясь скрыть смущение, потянулась к своему вывернутому наизнанку коричневому школьному платью, брошенному на спинку переднего кресла, излишне весело и капризно обронив через плечо: — А ты колочий, надо чаще бриться.

Было слышно, как в нагретой майским солнцем траве стрекочут кузнечики. Их убаюкивающее тиканье тонULO в шуме проезжавших машин. По временам ветер доносил из поселка приглушенные звуки властно напоминавшей о себе жизни.

— Поздно уже. Я, наверно, пойду.

И в ее дрогнувшем, словно надтреснутом голосе послышались обещание и мольба:

— До завтра?..

В колком свете голой лампочки призрачно поблескивала отрихтованными боками допотопная «Победа», собранная из металлолома и выточенных в свободное от работы время недостающих узлов и деталей: сигаретка в зубах, матерок, прибауточки, руки по локоть в машинном масле и солидоле, «подсобляй, Алексеич», — и он подсоблял, пытаясь уверить себя, что вся эта возня под капотом ему нравится.

На стене висели сшитые когда-то Ольгой кожаные мешочки. Из них торчали гаечные ключи, пассатижи, отвертки. Покинутыми гнездами темнели мотки проволоки. Беззубо скалились тиски. В углу, затянутые паутиной, валялись прохудившиеся автомобильные камеры, дырявые грибные корзинки и его детский велосипед с оборванной ржавой и безжизненно повисшей цепью. Чтобы она не зажевала брюки, штанину на правой ноге он закатывал или прихватывал бельевой прищепкой. И тогда можно было свободно кататься, пока мать с отцом не вернулись со смены.

Мимо проносятся взлохмаченные кусты и деревья, распахнутые и закрытые окна, загадочная чужая жизнь за ними. Шуршит о спицы высокая трава, парусится рубашка, упругий ветер бьет в лицо... И не то чтобы мечталось уехать куда-то, — просто нравилось крутить педали, а еще — что шуршит трава, убегает дорога... и ветер в лицо.

Он останавливался на пустыре за гаражами. Вдалеке, над разросшейся мусорной свалкой, кружили вороны, разрывая тишину прокуренными бабьими голосами, и призывно, потерянно вторили им неизвестно каким ветром занесенные сюда чайки. Он задумчиво резиновым носком кеда пустые бутылки с опивками на донышке и сломанной веткой ворошил в бархатной золе холодные угли костровища. Растревоженный пепел тихо кружил в воздухе, словно стайка мотыльков, и безжизненно оседал на почерневшие пивные пробки, рыбы головы и скомканные недогоревшие пачки сигарет. По выходным, растелив на земле газетку, тут отдыхали мужики, а как стемнеет, приходили компании с магнитофоном наперевес, и парни мяли девок по кустам.

Он навсегда запомнил, как в темноте что-то копошилось, мучительно белело и плаксиво утробно стонало. Из кустов показалась растрепанная Варька-продавщица, Варька — повелительница гирь и весов, укротительница новодомовских забудды, Варька-завезли-не-завезли, лахудра крашенная, прилавок грудью не раздави. Покачиваясь, неверно ступая, подошла. Пьяно улыбнулась.

— Подглядываешь, сосунок...

И вдруг вся подалась вперед, обдав жарким прелым духом, обхватила за шею, притянула к себе, и он, задыхаясь, почувствовал страшный вкус ее влажных горячих наглых губ.

Маша ждала у гаража. Из-под короткого пальто выглядывало школьное платье. Потрескавшиеся на сгибах сапоги забрызганы грязью. Волосы прилежно расчесаны. Вся словно вжалась в себя на промозглом злом осеннем ветру.

Говорить не хотелось. Да и о чем? Все давно было решено.

— Вот — взяла у бабушки на столике. Она принимает на ночь по полтаблетки от бессонницы.

Они вошли в гараж. Он закрыл ворота. По привычке протер лобовое стекло. Аккуратно, вчетверо, сложил пыльную тряпку. Завел машину. Выключил свет.

Они сидели на заднем сиденье. Мерно урчал мотор. Гудела выхлопная труба. Казалось, они мчатся в осенних сумерках куда-то далеко-далеко. Он не раз думал укатить куда-нибудь. Проведать родителей в деревне, к институтским приятелям, за грибами, на озеро... Куда еще? Маша теснее прижалась к нему и тихонько всхлипнула. Как глупо — еще вчера все это представлялось таким серьезным: «Сначала подействует снотворное. Гараж наполнится выхлопными газами. Мы ничего не почувствуем». Кому и зачем он это говорил?.. И говорил ли вообще?.. И он ли это?.. И зачем здесь она, доверчиво прильнувшая, словно они сидят, обнявшись, в жарком купе и смотрят в окно на уплывающий перрон?.. Ее волосы сладко пахли крапивным шампунем. Он зарылся в них лицом и закрыл глаза.

Урчал мотор. Гудела выхлопная труба. Ровно бежала дорога. Мимо пронеслись поля, леса, разные города и поселки, чужие дома, полные такой знакомой и таинственной жизни. Пронеслось волшебное время, когда зацветает жасмин...

Так бы ехать и ехать, никогда и нигде не останавливаясь.

МЕСТО СИЛЫ

От электрички дорога шла полем, вдоль полотна, теряясь в колкой высокой траве. Солнце стояло высоко. Раскаленный воздух плавился и дрожал в глазах, будто набежавшие слезы. Горько пахло полевыми цветами и пылью. Мысли путались от зноя, неотвязного комариного звона, гуденья слепней, стрекота кузнечиков. Но идти было легко, привычно.

Отец с раннего детства брал ее с собой в походы. Согнувшись под тяжестью рюкзака, она безропотно шагала километр за километром, пока кто-нибудь из взрослых впереди не крикнет: «Привал!» Отец не терпел нытья. Дочери лейтенанта пехотных войск жаловаться не полагалось.

Она привыкла много ходить, подолгу гуляла после уроков, после лекций, после работы и по выходным. Особенно летом, когда так тепло и красиво вокруг. Часами бесцельно бродила по улицам, паркам, скверам всех тех захолустных городков, в которых служил отец. Она едва успевала завести подруг, как его снова куда-нибудь переводили. А когда перевели в Москву, пусть и на самую окраину, в общежитие с наглыми усатыми тараканами и подслеповатыми коридорами, пропахшими сигаретным дымом, перегаром, кислыми щами и лежалым грязным бельем, она никак не могла нагуляться — все было таким большим, просторным и праздничным.

И она ходила по Тверской и Суворовскому, по Арбату и Садовой, в блузке с длинными рукавами и юбке до пят, скрывавшими ее сильные, широкие в кости руки и ноги и не по-девичьи тяжелую грудь. На прогулки она брала с собой какую-нибудь книгу, потолще. В толстой ведь непременно содержится уйма полезных мыслей. Открывала ее наугад, пролистывала несколько страниц. Но достаточно полезных мыслей не находилось. И она откладывала книгу до следующего раза.

Больше всего ей нравился Новодевичий монастырь. Там было тихо и спокойно. Лениво текла река, у берега плавали деловитые утки. Золотые высокие купола торжественно сверкали на солнце. Но в церковь она не заходила. Можно ли туда некрещеной?.. И надо ли, как все, перекреститься? Или нельзя, грех?.. А спросить как-то стеснялась.

Впереди никого не было. Дачники давно перебрались через пути и, нагруженные пухлыми продуктовыми пакетами, хозяйственными сумками, старыми плетеными корзинками, поспешили к своим домам, хозблокам, сараям, к самодельным теплицам и огородам с ровными прополотыми грядками, похожими на образцовые могилки.

На железнодорожной насыпи серел гравий, сквозь него местами пробивалась редкая сухая трава. По тонущему в солнечном мареве полю бежали золотисто-зеленые волны. Угрожающе, над самой головой, проплывали грузные облака.



— От станции по прямой, до леса. Там тропинкой через березовую рощу — к озеру. И на берегу, на пригорке, будет тот самый дедов камень. — Галя, ее новая знакомая, говорила, что место силы открывается только избранным, духовно незамутненным, и это надо заслужить: очиститься, освободиться от всего материального.

— Мы же все рождаемся с небесно-голубой аурой. И все мы едины, одна большая семья. И все у нас должно быть общее. Весь мир — наш общий дом. Так что не делите неделимое. А вы, Женечка, я вижу, наш человек, — и пожимала руку, поила пахучим чаем, настоящим на бесчисленных собственноручно собранных травах, помогающих, способствующих, влияющих, — и проникновенно заглядывала в глаза.

Галя была очень добра к ней. Женечкой ее никто не называл. Разве что мать... Но матери она не помнила. Доктор в части запил, а молоденький фельдшер из призывников, первокурсников мединститута, проглядел воспаление легких. На стене в общежитии висела сделанная в фотоателье подретушированная цветная фотография матери, и отец, подвыпив, часто разговаривал с ней: «Вот видишь, Аля, пусть и не стал генералом, зато в столицу переехали. Как и обещал». Потом рядом появилась фотография отца, капитана пехотных войск в отставке.

Отец всегда звал ее по-мальчишески — Жекой. В школах давали разные клички: Жень-шень, Жень-совет, Женевьева, а за глаза, рука-то тяжелая, обзывали Жень-трест. На работе она была сначала Евгешей, затем Евгенией и, наконец, Евгенией Борисовной. Одно время Леонид Семенович из отдела статистики называл ее Женюсей. Его низкий густой голос звучал ласково, с переливами, точно он подманивал бездомную собачонку:

— Вам бы, Женюся, с вашими достоинствами не бухучетом заведовать — полком. Просто эпическая фея! Мадмуазель Брунгильда!

Она смущенно и благодарно улыбалась. Пусть жалкое, по воскресеньям, если жена у подруги, в парикмахерской или бегают по магазинам, непрочное, мучительное, а все же счастье. И до последнего ничего ему не говорила.

Когда обнаружился живот, Леонид Семенович перестал ее подманивать и снова звал, как и все, как ни в чем не бывало, — Евгений.

Раскаленный горячий воздух плавился и дрожал в глазах, будто слезы. Звенели комары. Басовито гудели слепни. Кузнечики стрекотали на кончиках заглохшей от зноя порыжелой травы, словно на кончиках пальцев, касаясь горячей кожи, щекоча и тревожно волнуя. И жаркие волны пробегали по телу и затихали где-то под сердцем.

Пропитанные креозотом шпалы влажно чернели на солнце, отливая холодным блеском, тянулись до горизонта, будто к небу приставили громадную лестницу.

Дальний лес казался недостижимым островком. Мысли путались и теснили друг друга. Чудился дедов камень на пригорке. Огромный мшистый валун, выросший из самого чрева земли, и по нему мечется одинокий муравей. Она встает на колени перед этим всезнающим, могучим камнем. Прикасается к его шершавому прохладному лбу. Вынимает из кошелька обтрепанную по краям фотографию маленькой девочки с чудесной бессмысленной улыбкой на румянном кукольном лице, — и просит, просит...

Кого и о чем просить? Казанскую, Владимирскую, святых угодников?... Батюшка в церкви сказал: «Надобно смириться». Но как?... И она ходила в храм, понуро, неподвижно простаивала у безмолвных сумрачных икон и просила, просила... Ходила в костел, мечеть, синагогу, к буддистам, кришнаитам. Била в бубны, перебирала четки, с затекшими ногами сидела в позе лотоса, читая непонятные заунывные мантры. И даже несколько раз, по совету соседки, терла отполированный до блеска нос исполняющей все желания бронзовой овчарке на станции метро «Площадь Революции». И снова — просила, просила... Кого и о чем просить? Какими словами? Отче наш... патер ностер... аль-ля иляха... хари Кришна... хари рама... ом-м...

Просыпаясь среди ночи в липком поту, шептала как заклинание: «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет всего лишь сон, всего лишь сон, пожалуйста...» И за чем-то вспоминалось, как в школьном диктанте написала «пожалуста» — с глупой ошибкой. Учительница стыдила ее перед классом, и все смеялись, и буква «Й» нагло



ухмылялась своей загогулиной. «Пожалуйста, пожалуйста, только бы это скорее закончилось», — просила она кого-то могучего, доброго, неведомого, зная, что просить бесполезно, и ничего не изменить, не исправить. Врач из реанимации так и сказал ей: «Ничего нельзя сделать. Слишком поздно спохватились, мамаша»...

Раскаленный воздух плавился и дрожал. В горле першило от летучей травяной пыли. Как старые заезженные пластинки, гудели слепни, звенели комары, стрекотали кузнечики. Горько пахло полевыми цветами и полынью.

Высокая трава клонилась от собственной бесполезной тяжести и тревожно шуршала под ногами, будто кто-то шел рядом.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Василич зевнул и сонными слезящимися глазами обвел комнату. В полстены — пожелтевшая физическая карта Союза Советских Социалистических Республик для средних школ, масштаб один к пяти миллионам, с квадратиками, треугольничками, кружочками, ромбиками важнейших полезных ископаемых, похожая на распяленную коровью тушу. Рядом — черно-белая фотография матери, где она совсем молодая, какой он никогда ее не видел, и выцветший малиновый вымпел «Ударнику социалистического труда». Телевизор в углу. На затянутом пылью экране смутно различимы промятое кресло, прислоненный к подлокотнику протез с плотно надетым тапком и разрозненный отряд пустых бутылок под столом. На столе трехлитровая банка из-под соленых огурцов. В ней, как снежинки на ветру, роятся мухи. Разбуженные ранним июньским солнцем, они дружно жужжат и яростно бьются о прозрачные стенки. В стекле кривится отражение одуловатого, небритого, перечеркнутого морщинами лица.

— Эх, Василич, садовая башка! Целую неделю ведь скакал по комнате, ловил. И вот те на, — совсем из головы вылетело! — привычно заговорил он сам с собой.

По отчеству его стали величать, еще когда отбывал срочную сержантом. За основательность, деловитость и строгий нрав. И так как-то повелось... Когда провожали на пенсию после того несчастного случая, на подарочном кубке написали: «Дорогому Василичу, виртуозу фрезы, на добрую память!»

Он косо посадил на нос очки, кое-как приладив подвязанные медной проволокой непослушные ушные дужки, взял со стола банку и уставился на рой черных снежинок. Их жужжание всегда казалось ему противоестественно жизнерадостным.

— Веселитесь!.. Ни горя вам, ни забот. А я вот щас озабочу, огорчу вас по самое ай-я-яй. Тада поглядим, как запоете...

Приоткрыв пластмассовую крышку, Василич осторожно впустил одну муху в увесистый кулак. Подавленная безмерностью человеческого тепла, она присмирела и затихла. Василич прихватил пленницу сложенными щепотью толстыми пальцами и поднес к глазам. Но, не привыкший к обращению со столь деликатными предметами, не рассчитав силы — из сплющенного брюшка вытекла мутная белесоватая капля, похожая на слезу. Наверное, от бессилия выплакать ее муха жужжала с такой отчаянной, надсадной веселостью. И если бы не Василич, слеза эта, собиравшаяся, как нектар, из объедков, отбросов, нечистот, так бы и засохла в мушином тельце. Раздавленная муха одним движением была выброшена в открытое окно.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... да мертвая петля в придачу.

Второй мухе чудом удалось вырваться на свободу из-под приоткрытой крышки. Спикировав на потолок, она уставилась на перевернутый вверх тормашками мир, в котором одна из ее сестер тщетно пыталась выскользнуть из лап что-то ей объяснявшего Василича.

— Внаглюю садитесь на телевизор, обгаживаете экран — и на все вам плевать. Сотрясаются основы основ, полыхают пожары войн, перекраивается карта планеты... Мировой капитал заедает рабочего человека. На производстве учащаются несчастные случаи. Калека на калек сидит и калеку погоняет! А вам, жужжалки безмозглые, хоть бы что, — плодитесь да размножаетесь на припеке.

В заключение этой эмоциональной политинформации Василич вытащил из кармана синих пузырящихся треников пинцет для выщипывания бровей — то немного, что осталось у него от покойной жены и всей той давнишней, почти забытой жизни с выглаженными рубашками, тюлевыми занавесками, чистой скатертью в цветочек и дымящимся борщом, — отщипнул мухе три левых лапки, подбросил ее и прислушался. Жужжание по-прежнему было раздражающе жизнерадостным.

— Ничего, захочешь приземлиться, не так запоешь.

Лишив четвертую муху всех лапок, он внимательно следил за ее метаниями по комнате. С утратой надежды на приземление жизнерадостности в жужжании не убавилось. Напротив, появилась какая-то упрямая злая восторженность.

— Полетай-полетай, пока сил хватит, а там плюхнешься и притихнешь как миленькая.

У следующей он оторвал лапки и брюшко. Не издав ни звука, она безропотно приняла смерть.

— То-то, без брюха не проживешь. Это тебе не ноги. Оно, конечно, с крыльями можно и без ног. А ты попробуй-ка без крыльев!

Чтобы узнать, каково же без крыльев, он отщипнул очередной своей подопытной крылышко, похожее на сухой лепесток. Муха волчком завертелась на столе. Уцелевшее крыло жужжало менее радостно, но все же с оптимизмом, пусть и сдержанным.

— Это потому что у тебя надежда осталась. А вот у этой, — и Василич, будто в назидание, выпустил на стол бескрылую муху, — только ножки да рожки, и она уже не вякает. Правда, ножки пока все на месте, все шесть, как есть. А если бы пять? Четыре? Три, две, одна? Ни одной?!..

И он поочередно выпустил на стол шесть бескрылых мух, у которых в общей сложности не хватало двадцати одной лапки. Последняя, начисто ошипанная, — два выпученных глаза и невыплаканная слеза, — покатила по столу, распугивая своих прихрамывающих и едва ковыляющих товарок.

Василич удовлетворенно обозрел этот мушиный лазарет, сгреб его в горсть и выкинул в окно.

За окном багрово пламенел закат. К столу протянулась широкая огненная полоса, и банка словно вспыхнула. Из нее глухо доносилось бодрое жужжание.

— Ничего-ничего, вот завтра испытаем напалм и наводнение, тада поглядим.

Василич лег на кровать, зевнул и уставился в потолок. Потирая лапки, там сидела спасаемая муха.

— Да-а-а, бывает и такое. Случай. Судьба!



Борис ЧИЧИБАБИН

«ПО ПОЛЮ РУССКОМУ В РУССКОЕ НЕБО...»

Чичибабин был поэтом Аввакумова склада, человеком, говорившим правду — даже когда это вело его на Голгофу. И если поэзия — по Достоевскому — есть «страстно поднятый перст», то в этом смысле Чичибабин прямо наследовал великому Некрасову, которого начинаешь по-настоящему понимать только в наше, проклятое время — время униженных и оскорбленных, обманутых вкладчиков и умерщвляемых пенсионеров.

«Поэт всегда мешает дураку...» — сказала в стихотворении, посвященном памяти Чичибабина, харьковчанка Ирина Евса. Не собираюсь оспаривать эти слова. Только подброшу в топку дров, добавив, что поэт мешает и умному, хитрому подлецу. В известном смысле подлинный поэт, апеллируя к совести человека, мешает всем. Кроме тех, кому он нужен как воздух. Но таковых всегда крайне мало.

А порой поэт нужен нам паче воздуха. Когда слова становятся молитвенными, как в лучших строках дорогого Бориса Алексеевича, сказавшего: «Одним стихам вовек не потускнеть. Да сколько их останется, однако...»

Что ж, Бродский, насчитав у Тютчева полтора десятка хороших стихотворений, заметил: «Но это же много... — И, помолчав, добавил. — Это очень много».

Однако стихи Бориса Чичибабина включены во все современные антологии русской поэзии.

Не станем заниматься подсчетом. Им тоже займется время, мастер подсчета чисел. Оно уже досчитало и до 90 лет со дня рождения Чичибабина (в январе 2013), и скоро досчитает до 20 лет со дня его кончины (декабрь 2014).

Вся земная биография поэта, носившего в паспорте фамилию отчима Полушин, была связана — с перерывами на войну и Вятлаг — с Украиной, Харьковщиной. В качестве литературного псевдонима он взял фамилию матери Натальи Николаевны Чичибабиной, что было довольно рискованно, т. к. известный ученый — химик Алексей Евгеньевич Чичибабин (1892—1945), родной дядя матери, не вернулся в Союз из Парижской командировки в 1936 году и был исключен из академиков (восстановлен посмертно в 1990).

Борис Алексеевич Чичибабин родился в Кременчуге в 1923 г., а школу окончил на родине художника Репина — в известном давними воинскими традициями городке Чугуеве Харьковской области, поскольку воспитывался в семье военнослужащего. В 1940 г. поступил на исторический факультет ХГУ, с начала войны служил на Закавказском фронте. В 1945 г. поступил на филологический факультет того же университета, но уже в июне 1946 г. был арестован и осужден на 5 лет лагерей «за антисоветскую агитацию». Как считал он сам, срок был по тем временам «смехотворным». Два года провел в тюрьмах — Лубянка, Бутырка, Лефортово. Остальное — отбывал в Вятлаге Кировской области.

Вернулся в Харьков в 1951 г., где вынужден был поступить на единственно доступные для бывшего политзэка бухгалтерские курсы. До 1962 г. работал бухгалтером в домоуправлении, в грузовом автотаксомоторном парке. Его маленькая чердачная комната в самом центре Харькова постепенно стала неофициальным литератур-



ным центром. К нему сюда приходили знакомиться бывшие харьковчане, навещавшие город: Борис Слуцкий, способствовавшей первой публикации в журнале «Знамя» в 1958 г., Григорий Поженян, Григорий Левин, позже приезжал Евгений Евтушенко. Когда в 1963 г. начали выходить первые книжки, Чичибабин оставил бухгалтерскую работу и около двух лет руководил литературной студией, которая по идеологическим соображениям затем была закрыта (поводом послужил вечер, посвященный Б. Пастернаку). Он снова устроился на конторскую работу в трамвайно-троллейбусное управление, где проработал почти четверть века. В 1966 г. его приняли в Союз писателей СССР, а в 1973 г. исключили за «написания антирадянских віршів». Восстановили Чичибабина в СП в 1989 г. (при участии тех же лиц, что и исключали).

Сегодня в Харькове одна из центральных улиц города носит имя Чичибабина, с 1996 г. создан Международный фонд его памяти, с 2000 г. учреждена городская литературная премия его имени, ежегодно проводятся литературные Чичибабинские чтения и международный фестиваль современной поэзии имени Бориса Чичибабина. К почину подключились и крымчане, которые в каждом сентябре наряду со шмелевскими, буниными и другими чтениями уже девять лет проводят чтения чичибабинские.

В два зимних чичибабинских дня — кончины и рождения — 15 декабря и 9 января — у мемориального горельефа на улице Чичибабина возлагают венки друзей поэта, поклонники его творчества. Затем цветы приносят и на могилу поэта. И — звучат его стихи, а также строки, ему посвященные, каковых уже силами разных поэтов скопился целый венок.

Москвичи и питерцы порой ревниво спрашивают: «У вас в Харькове — что, культ Чичибабина?» Возможно, этот вопрос вызван и ревностью к поэтическому Харькову, который сегодня иногда называют третьей столицей русской поэзии. Не знаем. Но у нас есть ответ: не культ, а любовь. Можно твердо сказать, что именно присутствие в Харькове в течение нескольких десятилетий поэта Чичибабина создало условия для появления целой плеяды заметных современных стихотворцев, почти все они и отмечены теперь чичибабинской премией.

Впрочем, влияние на русскую литературу Чичибабин оказал и далеко за пределами Харькова. Не только, разумеется, потому, что широкую (уже не андеграундную) известность он приобрел в последние годы «перестройки» и стал в 1990 г. лауреатом Государственной премии СССР. Кстати, беспрецедентный факт: лауреатства поэт удостоен за изданную за свой счет книгу стихотворений «Колокол».

Когда неразумная масса визжала и улюлюкала на обломках почившей Империи, не понимая, что любые скачкообразные изменения в наших палестинах ведут только к еще большему бесправию и притеснению человека, Чичибабин написал в «Плаче по утраченной родине» (1992): «Я с родины не уезжал — за что же ее лишен?» Вот две последние строфы этого стихотворения:

При нас космический костер
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет...
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет.

Сила этого текста вызвала слезы у знаменитого европейского филолога, весьма, кстати, ироничного человека Жоржа Нива, услышавшего, как Борис Алексеевич читал его в доме-музее Волошина в Коктебеле. А казалось бы, — что французской Геккуба?

Прочтем стихотворение, опубликованное в большом трехтомнике Бориса Чичибабина, который вышел по кончине поэта (вообще, Чичибабин обильно опубликован преимущественно в посмертные годы). Это сочинение написано в трагическом октябре 1993 г., за год до кончины.



Вновь барыш и вражда верховодят тревогами дня.
На безликости зорь каменеют черты воровские...
Отзовись, мой читатель в Украине или в России!
Отзовись мне, Россия, коль есть еще ты у меня!

Отзовись, кто-нибудь, если ты еще где-нибудь есть, —
и проложим свой путь из потемок бесстыжих на воздух.
Неужели же мрак так тягуче могуч и громоздок!
Я и при смерти жду, что хоть кем-то услышится весть.

Что любимо — то вечно и светом стучится в окно,
счастьем щурится с неба — вот только никак не изловим.
И смеется душа не тому, что мир темен и злобен,
а тому, что апрель, и любимое с вечным — одно.

Пушкин шепчет стихи, скоро я свой костер разожгу,
и дыхание трав, птичьи тайны, вода из колодца
подтвердят, что не все покупается и продается
и не тщетно щедры Бог и Вечность на каждом шагу.

Две последние строки первой строфы актуализуют проблему русского поэта, живущего сегодня на Украине.

У него немало стихов о русской истории (о городах древней Руси — Киеве, Чернигове, Пскове, Новгороде, Суздале), о русской словесности (Пушкине, Гоголе, Толстом, Достоевском), мировой культуре («Не дяди и тётки, а Данте и Гёте / со мной в беспробудном родстве...»), много замечательных лирических шедевров.

Часто цитируют его строки о малой родине: «С Украиной в крови я живу на земле Украины...», «У меня такой уклон: я на юге — россиянин, а под северным сияньем сразу делаюсь хохлом...»

Реже вспоминают слова более жесткие, в целом пророческие, если смотреть на сегодняшнее и, не приведи Господи, будущее время:

Не будет нам крова в Харькове,
Где с боем часы стенные.
А будет нам кровохарканье,
Вражда и неврастения.

Поэт оставил нам немало поэтических шедевров, в том числе и таких как «Ночь черниговской с гор араратских...», «Судакские элегии», «Между печалью и ничем...» и других. А кто так много, вдохновенно и космично писал о снеге? Вот — финал лучшего, на мой взгляд (наряду с «Элегией февральского снега»), из «снежных» стихотворений «зимнего человека» Чичибабина, «Сияние снегов»:

...О, сколько в мире мертвецов,
а снег живее нас.
А все ж и нам, в конце концов,
пробьет последний час.

Молюсь небесности земной
за то, что так щедра,
а кто помолится со мной,
те — брат мне и сестра.

И в жизни не было разлук,
и в мире смерти нет,
и серебрет в слове звук,
преображенный в свет.

Приснись вам, люди, снег во сне,
и я вам жизнь отдам —
глубинной вашей белизне,
сияющим снегам.

Чичибабин, уйдя, продолжает сердечно и духовно окормлять многих. Свет Рождественской звезды, с которой он пришел к нам «на землю зла и горя», длится.



Настоящая юбилейная подборка предоставлена вдовой поэта Лилией Семеновной Карась-Чичибабиной, судьба которой в годы Великой Отечественной войны оказалась связанной с Сибирью, с Томском, она вернулась в Харьков лишь в 1962 г., где и соединила свою судьбу с поэтом Чичибабиным.

Станислав Минаков

* * *

Я родом оттуда, где серп опирался на молот,
а разум на чудо, а вождь на бездумие стай,
где старых и малых по селам выкашивал голод,
где стала евангельем «Как закалялася сталь»,
где шли на закланье, но радости не было в жертве,
где милость каралась, а лютоги пелась хвала,
где цель потерялась, где низились кроткие церкви
и, рушась, немели громовые колокола,
где шумно шагали знамена портяночной славы,
где кожаный ангел к устам правдолюбца приник,
где бывшие бесы, чьи речи темны и корявы,
влюблялись нежданно в страницы убийственных книг,
где судеб мильоны бросались, как камушки, в небо,
где черная жижа все жизни в себя засосет,
где плакала мама по бабушке, канувшем в небыль,
и прятала слезы, чтоб их не увидел сексот,
где дар и задумчивость с детства взяты под охрану,
где музыка глохла под залпами мусорных зим,
где в яростной бурке Чапаев скакал по экрану
и щелкал шары звонкошек подпольщик Максим,
где жизнь обрывалась, чудовищной верой исполняясь,
где, нежно прижавшись, прошли нищета и любовь,
где пела Орлова и Чкалов летел через полюс,
а в чертовых ямах никто не считал черепов,
где солнцу обрыдло всходить в небесах адодонных,
где лагерь так лагерь, а если расстрел, ну и пусть,
где я Маяковского чуть ли не весь однотомики
с восторгом и завистью в зоне читал наизусть;
и были на черта нужны мне поэты другие,
где пестовал стадо рябой и жестокий пастух,
где странно звучало старинное имя России,
смущая собою к нему неприученный слух,
где я и не думал, что встречу когда-нибудь с Ялтой,
где пахарю ворон промерзлые очи клевал,
где утро барачное било о рельсу кувалдой
и ржавым железом копало заре котлован,
где вздохи ровесников стали земной атмосферой,
висясь перед нами, а я перед ними в долгу,
где все это было моими любовью и верой,
которых из сердца я выдрать еще не могу.
Тот крест, что несу, еще годы с горба не свалили,
еще с поля брани в пустыню добра не ушел.
Как поздно я к вам прихожу со стихами своими!
Как поздно я к Богу пришел с покаянной душой!

* * *

Кончусь, останусь жив ли,—
чем зарастет провал?
В Игоровом Путивле
выгорела трава.

Школьные коридоры —
тихие, не звенят..
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня.

1946

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Два огня светили в темень, два мигалища.
То-то рвалися лошадки, то-то ржали.
Провожали братца Федора Михалыча,
за ограду провожали каторжане...

А на нем уже не каторжный наряд,
а ему уже — свобода в ноздри яблоней,
а его уже карьерою корят:
потерпи же, петербуржец новоявленный.

Подружиться с петрашевцем все не против бы,
вот и ходим, и пытаем, и звоним, —
да один он между всеми, как юродивый,
никому не хочет быть своим.

На поклон к нему приходят сановитые,
но, поникнув перед болью-костоедкой,
ох как бьется — в пене рот, глаза навывкате, —
все отведав, бьется Федор Достоевский.

Его щеки почернели от огня.
Он отступником слывет у разночинца.
Только что ему мальчишья болтовня?
А с Россией и в земле не разлучиться.

Не сойтись огню с волной, а сердцу с разумом,
и душа не разбежится в темноте ж, —
но проглянет из божницы Стенькой Разиным
притворившийся смирением мятеж.

Вдруг почудится из будущего зов.
Ночь — в глаза ему, в лицо ему — метелица,
и не слышно за бураном голосов,
на какие было б можно понадеяться.

Все осталось. Ничего не зажило.
Вечно видит он, глаза свои расширя,
снег, да нары, да железо... Тяжело
достается Достоевскому Россия.

1962





* * *

Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче, как на острове,
и все друзья меня забросили.

Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.

В слепую глубь ломлюсь напористей
и не тужу о вдохновении,
а по утрам тряусь на поезде
служить в трамвайном управлении.

В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей...

Не вижу снов, не слышу зова,
и будням я не вождь, а данник.
Как на себя, гляжу на дальних,
а на себя — как на чужого.

С меня, как с гаврика на следствии,
слетает позы позолота.
Никто — ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.

Я — просто я. А был, наверное,
как все, придуман ненароком.
Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.

1966

* * *

Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю —
молиться молюсь, а верить — не верю.

Я сын твой, я сон твоего бездорожья,
я сызмала Разину струги смолил.
Россия русалочья, Русь скomorошья,
почто не добра еси к чадам своим?

От плахи до плахи по бунтам, по гульбам
задор пропивала, порядок кляла, —
и кто из достойных тобой не погублен,
о гулкие кручи ломая крыла.

Нет меры жестокости ни бескорыстью,
и зря о твоём же добре лепетал
дождем и ветвями, губами и кистью
влюбленно и злыдно еврей Левитан.

Скучая трудом, лютовала во блюде,
шептала арапу: кровцой полечи.
Уж как тебя славили добрые люди —
бахвалы, опричники и палачи.

А я тебя славить не буду вовеки,
под горло подступит — и то не смогу.
Мне кровь заливает морозные веки.
Я Пушкина вижу на жженом снегу.

Наточен топор, и наставлена плаха.
Не мой ли, не мой ли приходит черед?
Но нет во мне грусти и нет во мне страха.
Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.

Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,
и мне в этой жизни не будет защит,
и я не уйду в заграницы, как Герцен,
судьба Аввакумова в лоб мой стучит.

1969

* * *

Куда мне бежать от бурлацких замашек?
Звенят небеса высоко.
На свете совсем не осталось ромашек
и синих, как сон, васильков.

Отдай мою землю с дождем и рябиной,
верни мне березы в снегу.
Я в желтые рощи ушел бы с любимой,
да много пройти не смогу.

Лишь воздух полуночи мой собеседник.
Сосняк не во сне ли возник?
Там серый песок, там чабрец и бессмертник,
там дикие звезды гвоздик.

Бросается в берег русалочья брага.
Там солнышком воздух согрет.
И сердце не вспомнит ни худа, ни блага,
ни школьных, ни лагерных лет.

И Вечность вовек не взойдет семицветьем
в загробной безрадостной мгле.
И я не рожден в девятьсот двадцать третьем,
а вечно живу на земле.

Я выменял память о дате и годе
на звон в поднебесной листве.
Не дяди и тети, а Данте и Гете
со мной в непробудном родстве.

1969

ЗАЩИТА ПОЭТА

*И среди детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.*

А.С. Пушкин

С детских лет избегающий драк,
чтящий свет от лампад одиноких,
я — поэт. Мое имя — дурак.
И бездельник, по мнению многих.

Тяжек труд мне и сладостен грех,
век мой в скорби и праздности прожит,



но, чтоб я был ничтожнее всех,
в том и гений быть правым не может.

И хоть я из тех самых зануд,
но, за что-то святое жалея,
есть мне чудо, что Лилей зовут,
с кем спасеннее всех на земле я.

Я — поэт, и мой воздух — тоска,
можно ль выжить, о ней не поведав?
Пустомель — что у моря песка,
но как мало у мира поэтов.

Пусть не мед — языками молоть,
на пегасиках ловких процокав
под казенной уздой, но Господь
возвещает устами пророков.

И, томим суетою сует
и как Бога зовя вдохновенье,
я клянусь, что не может поэт
быть ничтожным хотя б на мгновенье.

Соловей за хвалой не блесит.
Улыбнись на бесхитростность птичьёю.
Надо все-таки выпить за стыд,
и пора приучаться к величью.

Светлый рыцарь и верный пророк,
я пронизан молчанья лучами.
Мне опорой Пушкин и Блок.
Не равняйте меня с рифмачами.

Пусть я ветрен и робок в миру,
телом немощен, в куче бессмыслен,
но, когда я от горя умру,
буду к лику святых сопричислен.

Я — поэт. Этим сказано все.
Я из времени в Вечность отпущен.
Да пройду я босой, как Басё,
по лугам, стрекозино поющим.

И, как много столетий назад,
просветлев при божественном кличе,
да пройду я, как Данте, сквозь ад
и увижу в раю Беатриче.

И с возлюбленной взмою в зенит,
и от губ отрешенное слово
в воскрешенных сердцах зазвонит
до скончания века земного.

1973

ИЗ СУДАКСКИХ ЭЛЕГИЙ

Настой на снах в пустынном Судаке...
Мне с той землей не быть накоротке,
она любима, но не богоданна.
Алчак-Кая, Солхат, Бахчисарай...
Я понял там, чем стал Господень рай
после изгнания Евы и Адама.



Как непристойно Крыму без татар.
Шашлычных углей лакомый угар,
заросших кладбищ надписи резные,
облезлый ослик, движущий арбу,
верблюжесть гор с кустами на горбу,
и все кругом — такая не Россия.

Я проходил по выжженным степям
и припадал к возвышенным стопам
кремнистых чудищ, див кудлатоспинных.
Везде, как воздух, чуялся Восток —
пастух без стада, светел и жесток,
одетый в рвань, но с посохом в рубинах.

Который раз, не ведая зачем,
я поднимался лесом на Перчем,
где прах мечей в скупые недра вложен,
где с высоты Георгия монах
смотрел на горы в складках и тенях,
что рисовал Максимилиан Волошин.

Буддийский поп, украинский паньч,
в Москве француз, во Франции москвич,
на стержне жизни мастер на все руки,
он свил гнездо в трагическом Крыму,
чтоб днем и ночью сердце рвал ему
стоперстый вопль окаменелой муки.

На облаках бы — в синий Коктебель.
Да у меня в России колыбель
и не дано родиться по заказу,
и не пойму, хотя и не кляню,
зачем я эту горькую страну
ношу в крови как сладкую заразу.

О, нет беды кромешней и черней,
когда надежда сыплется с корней
в соленый сахар мраморных расселин,
и только сердцу снится по утрам
угрюмый мыс, как бы индийский храм,
слетающий в голубизну и зелень...

Когда, устав от жизни деловой,
упав на стол дурною головой,
забьюсь с питвом в какой-нибудь клоповник,
да озарит печаль моих поэм
попынный свет, покинутый Эдем —
над синим морем розовый шиповник.

1974

* * *

Я почувал беду и проснулся от горя и смуты,
и заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу,—
и не знаю, как быть, и как годы проходят минуты...
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу?

Хоть бы чуда занять у певучих и влюбчивых клавиш,
но не помнит уроков дурная моя голова,
а слова — мы ж не дети,— словами беды не убавишь,
больше тысячи лет, как не Бог нам диктует слова.



О как мучает мозг бытия неразумного скрежет,
как смертельно сосет пустота вседержавных высот.
Век растленен и зол. И ничто на земле не утешит.
Бог не дрогнет на зов. И ничто в небесах не спасет.

И меня обижали — безвинно, взхлеб, не однажды,
и в моем черепке всем скорбям чернота возжена,
но дано вместо счастья мученье таинственной жажды,
и прозренья берез, и склоненных небес тишина.

И спасибо животным, деревьям, цветам и колосьям,
и смиренному Баху, чтоб нам через тернии за ним,—
и прощенье врагам, не затем, чтобы сладко спалось им,
а чтоб стать хоть на миг нам свободней и легче самим.

Еще могут сто раз на позор и на ужас обречь нас,
но, чтоб крохотный светик в потемках сердец не потух,
нам дает свой венок — ничего не поделаешь — Вечность
и все дальше ведет — ничего не поделаешь — Дух.

1978

* * *

Между печалью и ничем
мы выбрали печаль.
И спросит кто-нибудь «зачем?»,
а кто-то скажет «жаль».

И то ли чернь, а то ли знать,
смеясь, махнет рукой.
А нам не время объяснять
и думать про покой.

Нас в мире горсть на сотни лет,
на тысячу земель,
и в нас не меркнет горний свет,
не сякнет Божий хмель.

Нам — как дышать, — приняв печать
гонений и разлук,—
огнем на искру отвечать
и музыкой — на звук.

И обреченностью кресту,
и горечью питья
мы искупаем суету
и грубость бытия.

Мы оставляем души здесь,
чтоб некогда Господь
простил нам творческую спесь
и ропщущую плоть.

И нам идти, идти, идти,
пока стучат сердца,
и знать, что нету у пути
ни меры, ни конца.

Когда к нам ангелы прильнут,
лаская тишиной,
мы лишь на несколько минут
забудемся душой.

И снова — за листы поэм,
за кисти, за рояль, —
между печалью и ничем
избравшие печаль.

1977

СИЯНИЕ СНЕГОВ

Какой зимой завершена
обида темных лет!
Какая в мире тишина!
Какой на свете свет!

Сон мира сладок и глубок,
с лицом, склоненным в снег,
и тот, кто в мире одинок,
в сей миг блаженней всех.

О, стыдно в эти дни роптать,
отчаиваться, клясть,
когда почиет благодать
на чаявших упасть!

В морозной сини белый дым,
деревья и дома, —
благословением святым
прощает нас зима.

За все зловещие века,
за всю беду и грусть
младенческие облака
сошли с небес на Русь.

В них радость — тернии купать
рождественской звезде.
И я люблю ее опять,
как в детстве и в беде.

Земля простила всех иуд,
и пир любви не скуп,
и в небе ангелы поют,
не разжимая губ.

Их свечи блестками парят,
и я мою зажгу,
чтоб бедный Галич был бы рад
упавшему снежку.

О, сколько в мире мертвецов,
а снег живет нас.
А все ж и нам, в конце концов,
пробьет последний час.

Молюсь небесности земной
за то, что так щедра,
а кто помолится со мной,
те — брат мне и сестра.

И в жизни не было разлук,
и в мире смерти нет,
и серебрет в слове звук,
преображенный в свет.





Приснись вам, люди, снег во сне,
и я вам жизнь отдам —
глубинной вашей белизне,
сияющим снегам.

1979

БЫЛИНА ПРО ЕРМАКА

Ангел русской земли, ты почто меня гнешь и караешь?
Кто утешит мой дух, если в сердце печаль велика?
О, прости меня, Пушкин, прости меня, Лев Николаич,
я сегодня пою путеводную длань Ермака.

Бороде его — честь и очам его — вечная память,
и бессмертие — краю, что кровью его орошен.
Там во мшанике ночь и косматому дню не шаманить
над отшельничьим тем, над несбывшимся тем шалашом.

Отшумело жнивье, а и славы худой не избегло,
было имя как стяг, а пошло дуракам на пропой,
и смирна наша прыть, и на званую волю из пекла
не дано нам уплыть атамановой пенной тропой.

Время кружит в ночи смертоносно-незримые кружна,
с православного древа за плодом срывается плод.
Что Москва, что мошна — перед ними душа безоружна,
а в сибирском раю — ни опричников, ни воевод.

Две медведицы в лапах несут в небеса семисвечья,
и смеется беглец, что он Богу не вор и не тать.
Между зверем и древом томится душа человечья
и тоскует, как барс, что не может березонькой стать.

— Сосчитай, грамотей, сколько далее отмерено за день.
А что было — то было, то в зорях сгорело дотла.
Пейте брагу, рабы, да не врите, что я кровожаден,
вам ни мраку, ни звезд с моего кругового котла...

Мы пируем уход, смоляные ковши осушая,
и кедровые кроны звенят над поверженным злом.
Это — русские звоны, и эта земля — не чужая,
колокольному звону отвечает гусельный звон...

А за кручами — Русь, и оттуда — ни вести, ни басни,
а что деется там, не привидится злыдню во сне:
плахи, колья, колесы; клубятся бесовские казни,
с каждой казнью денегат прибывает в царевой казне.

Так и пляшет топор, без вины и без смысла карая,
всюду трупы да гарь, да еще воронье на снегу,
и князь Курбский тайком отъезжает из отчего края,
и отъезд тот во грех я помыслить ему не могу.

Можно ль выстоять трону, сыновнею кровью багриму?
И на этой земле еще можно ль кого-то любить?
Льется русская кровь по великому Третьему Риму,
поелику вовеки четвертому Риму не быть...

А Ермак — на лугу, он для правнуков ладит садыбу,
он прощает врагу и для праздников мед бережет,
в скоромошней гульбе он плюет на Малютину дыбу
и беде за плечами не тщится вести пересчет.



К Ермаковым ногам подкатился кедровый рогачик,
притулилась жар-птица, приластилась тьма из болот.
Ни зверью он не враг, ни чужого жилия не захватчик,
а из божьих даров только волю одну изберет.

Под великой рекой он веселую голову сложит,
а заплачет другой, кто родится с похожей душой,
а тропы уже нет, потому что он сроду не сможет
ни обиды стерпеть, ни предаться державе чужой.

Из ковша Ермака пили бражники и старoverы,
в белокрылых рубахах на грудь принимали врага,
а исполнив оброк, уходили в скиты и пещеры,
но и в райских садах им Россия была дорога.

Хорошо Ермаку. Не зазря он мне снился на Каме...
Над моей головой вместо неба нависла беда,
пали гусли из рук, расступается твердь под ногами,
но — добыта Сибирь, — и уже не уйти никуда.

1976

ПЛАЧ ПО УТРАЧЕННОЙ РОДИНЕ

Судьбе не крикнешь: «Чур-чура,
не мне держать ответ!»
Что было родиной вчера,
того сегодня нет.

Я плачу в мире не о той,
которую не зря
назвали, споря с немотой,
империею зла,

но о другой, стовековой,
чей звон в душе снежист,
всегда грядущей, за кого
мы отдавали жизнь.

С мороза душу в адский жар
впихнули гольшом:
я с родины не уезжал —
за что ж ее лишен?

Какой нас дьявол ввел в соблазн
и мы-то кто при нем?
Но в мире нет ее пространств
и нет ее времен.

Исчезла вдруг с лица земли
тайком в один из дней,
а мы, как надо, не смогли
и попрощаться с ней.

Что больше нет ее, понять
живому не дано:
ведь родина — она как мать,
она и мы — одно...

В ее снегах смеялась смерть
с косою за плечом
и, отобрав руду и нефть,
поила первачом.



Ее судили стар и мал,
и барды, и князья,
но, проклиная, каждый знал,
что без нее нельзя.

И тот, кто клял, душою креп
и прозревал вину,
и рад был украинский хлеб
молдавскому вину.

Она глумилась надо мной,
но, как вела любовь,
я приезжал к себе домой
в ее конец любой.

В ней были думами близки
Баку и Ереван,
где я вверял свои виски
пахучим деревьям.

Ее просторов широта
была спиртов пьяней...
Теперь я круглый сирота —
по маме и по ней.

Из века в век, из рода в род
венцы ее племен
Бог собирал в один народ,
но божий враг силен.

И, чьи мы дочки и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.

При нас космический костер
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет...
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет.

1992

ОДА ВОРОБЬЮ

Пока меня не сбили с толку,
презревши внешность, хвор и пьян,
питаю нежность к воробьям
за утреннюю свиристелку.
Здоров, приятель! Чик-чирик!
Мне так приятен птичий лик.

Я сам, подобно воробью,
в зиме немилрой охолонув,
зерно мечты клюю с балконов,
с прогретых кровель волю пью
и бьюсь на крыльшках об воздух
во славу братиков безгнездых.

Стыжусь восторгов субъективных
от лебедей, от голубей.
Мне мил пройдоха воробей,
пророков юркий собутыльник,
посадкам враг, палаткам друг,—
и прыгает на лапках двух.

Где холод бел, где лагерь был,
где застыт крыльями засовы
орлы-стервятники да совы,
разобранные на гербы,—
а он и там себе с морозца
попрыгивает да смеется.

Шуми под окнами, зануда,
зови прохожих на концерт!..
А между тем не так он сер,
как это кажется кому-то,
когда, из лужицы хлебнув,
к заре закидывает клюв.

На нем увидит, кто не слеп,
наряд изысканных расцветок.
Он солнце склевывает с веток,
с отшельниками делит хлеб
и, оставаясь шельма шельмой,
дарит нас радостью душевной.

А мы бродяги, мы пираты,—
и в нас воробышек шалит,
но служба души тяжелит,
и плохо то, что не пернаты.
Тоска жива, о воробы,
кто скажет вам слова любви?

Кто сложит оду воробьям,
галдящим под любым окошком,
безродным псам, бездомным кошкам,
ромашкам пустырей и ям?
Поэты вымерли, как туры,—
и больше нет литературы.

1977

* * *

Ночью черниговской с гор араратских,
шерсткой ушей доставая до неба,
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Плачет Господь с высоты осиянной.
Церкви горят золоченой известкой.
Меч наострил Святополк Окаянный.
Дышат убивцы за каждой березкой.

Еле касаясь камней Синая,
темного бора, воздушного хлеба,
беглою рысью кормильцев спасая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Путают путь им лукавые черти.
Даль просыпается в россыпях солнца.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Мук не приявший вовек не спасется.

Киев поникнет, расплещется Волга,
глянет Царьград обреченно и слепо,
как от кровавых очей Святополка
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Смертынька ждет их на выжженных пожнях,
нет им пристанища, будет им плохо,
коль не спасет их бездомный художник,
бражник и плужник по имени Леха.

Пусть же вершится веселое чудо,
служится красками звонкая треба,
в райские кущи от здешнего худа
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Бог-Вседержитель с лазоревой тверди
ласково стелет под ноженьки путь им.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Чад убиенных волшбою разбудим.

Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

1977



Каринэ АРУТЮНОВА

ДОЧЕРИ ЕВЫ

Р а с с к а з

Все истории начинаются с «однажды», и история Берты и Моисея — не исключение. Только вот мало кто вспомнит теперь об этом — однажды уходят не только главные герои, но и второстепенные, а также случайные свидетели любых событий.

Любое «однажды» требует интриги, глубокого вздоха, уважительной паузы перед развертыванием полотна, будь-то полотно широкоформатное или мелкое, малозначительное, с каким-нибудь незамысловатым узором или простеньким сюжетом: сдвоенные лебединые шеи, символизирующие вечную и верную любовь, пестрый горластый петушок, вышитый шелковой нитью по уютной, под бочок, подушечке-думочке, умилительно-желтые цыплята, вызревающие на дне глубокой тарелки, предназначенной для блюд сытных, наваристых, с торчащей поллой костью, с плавающими глазками жира.

Ах, эти глубокие тарелки, стоящие столь монументально и надежно на других, плоских; эти глубокие утятницы и гусятницы, будто некие загадочные полости, наполненные скрепляющим всякую семью веществом. И ходики, тикающие над ухом денно и ночью, покачивающие гирькой, играющие в странные игры — подожди, подожди... или — беги, беги, беги. Эти дома, в которых время подобно развертывающемуся тусклому свитку.

Сервант, в котором крепкие кубики пиленого сахара громоздятся в фарфоровой сахарнице, и щипчики тут же, — предметы, волшебным образом наделяющие всякое действие строгой, значительной и незаметной красотой.

Чего стоят, например, женские руки, открытые до локтей, округлых, с теплой неглубокой ямочкой, либо обнаженные до плеча, пленительно колышущегося, схваченного нежным жирком; пальцы, обхватывающие эти самые предметы — щипчики, сахарницы, тарелки, мельхиоровые ложечки, — задвигающие и выдвигающие ящички разного предназначения, распахивающие дверцы шкафов... Какая восхитительная прелюдия сопровождает все эти нехитрые движения — поскрипывания, запахи глаженого белья, резеды, разросшейся в глиняном горшке герани.

И слабый, будто напоминание о женском недомогании, об извечной женской слабости, запах анисовых капель, а еще валериановых, разносящийся по дому исподтишка, словно вторгающийся противник; он ползет из щелей, вползает в шкафчики, поселяется в трещинах и створках.

В незапамятные времена месячные у женщин были обильными, — куда более обильными и продолжительными, нежели сегодня. Сложно вообразить, что происходило в Евином доме, когда женщины начинали кровоточить одна за другой. Перед тем проносились по дому неприменные бури, достаточно однообразные по сути и исполнению. Начинала одна, а прочие продолжали, виртуозно развивая тему и доводя ее до абсурда, пародии, массовой истерики с заламыванием рук, икотой, обмороками и «демонстрацией свиных рыл», на что каждая была большая мастерица.

Одно из рыл было особенно пугающим, — когда оттягиваемые двумя пальцами веки ползли вниз, обнажая воспаленный испод глаза, а добротный семитский нос становился кабаньим пятакон. Человеческого в этом зрелище было мало, но это-то и следовало из всего предшествующего спектакля. Щипки, затрешины, шлепки, не- сильные, впрочем, скорее, отрезвляющие. В доме бляели, рычали, хохотали, — все, включая младших детей, охваченных неудержимым приступом веселости; и затиха- ло все так же внезапно, как и начиналось, и, как ни в чем не бывало, усаживалось все семейство за стол, воздавая должное трапезе.

О, это недомогание дочерей Евы! — дородной, с вывернутыми базедовой бо- лезнью белками горячих глаз. Эти горячие выпуклые глаза — отличительная особен- ность женской половины дома. Горячие, томные, сонные и испепеляющие в минуты гнева или страсти, или безудержного желания.

Впрочем, о чем это я?..

Неужели возможна страсть в этих скучных домах, в тихих комнатах, где неутоми- мая кукушка отсчитывает день за днем, час за часом, где ставни выкрашены унылой желтоватой краской, а половицы поскрипывают под человеческой пятой, которая куда тяжелей, нежели, например, кошачья. Кошек в доме немало, сложно назвать точное число их. Одну из них называют Муськой, а все прочие — производные от нее либо приبلудившиеся невесть откуда: серые, дымчатые, бескостные и бесшум- ные, разве только иногда раздражающеся младенческими и женскими стопами, столь понятными обитателям дома.

К кошачьему потомству отношение уважительное, впрочем, как и ко всему, что множится, стонет, воркует, совокупляется, — каждой твари по паре. Пара — это основание всяческого бытия, в отличие от бесполезного одиночки, подозрительного в сиром своем бесплодии.

Любое существо должно быть окольцовано и пристроено должным образом. Любое существо обязано выполнять обет, данный однажды (опять это «однажды»!). Никто уже не вспомнит того прекрасного дня и часа, когда соединились и стали одной плотью Моисей и Берта, дочь Евы. Все это случилось так давно, в каком-то ненастоящем прошлом, за чертой которого у каждого из них была какая-то своя, отличная от теперешней, жизнь.

Вот тут наше повествование упирается в необходимость вдумчивого внятного сюжета, столь любимого почитателями житейских историй...

Все тонет в пышных, отороченных кружевами подушках и духоте тесных спа- лен. Женщины, сталкивающиеся по утрам и вечерам на кухне, чаще полны, нежели изящны, — и чаще, увы, шумливы. Все женщины кажутся различной степени похо- жести копиями мамы Евы.

Ева — давно уже не женское, а совершенно мифологическое существо — не говорит, а сипит, выгалькивая из огромной груди междометия. Массивная, будто бо- гиня плодородия, восседает она на стуле с изогнутой спинкой, расставив широко слоновьи ноги, зевает, не порываясь прикрыть зевок пухлой желтоватой ладонью. Да, Ева желта и смугла, так же смуглы все дочери Евы. Все желтокожи и склонны к тревожному разрастанию — грудей, подмышек, поросших неровным иссиня-чер- ным мхом, слоеных бедер, аппетитных валиков жира в поясничной области и у осно- вания шеи. Полнота дочерей Евы — аксиома. И даже младшая — круглолицая, еще озорная, подвижная, уже по-женски тяжела, хотя тяжесть эта скорей приятна, нежели безобразна, и сулит немало соблазнов обитателям слободки, мастеровому и непри- тязательному люду, которому после трудового дня требуется наполненная до краев тарелка и теплая широкая постель.

Мужчина, сгребавший шкварки с чугунного дна сковороды, наливается недю- жинной силой, его пятерня томится по округности груди, по наполненности ее; в темноте спальни грудь эта колышется, разваливается под просторной сорочкой на два рыхлых холма. Долина меж холмами ведет в сонное царство примятого валежни- ка, птичьего гнезда, ароматы которого одуряюще резки и ошеломляюще безыскус- ны; там, во влажной вязкой глубине, — средоточие смыслов, итог, главный, не подле- жащий сомнению приз.

Ночь — царство дочерей Евы. Там, за плотно прикрытыми дверьми спален, происходит вечное, стыдное, почтенное, законное. Под тяжелыми перинами, обли-

ваясь жаром, обрабатывают мужья мужское свое предназначение. Трудятся словно дятлы, с каждым ударом вбивая доказательство и оправдание бытия.

Сама же Ева, раскинувшись на ложе, удовлетворенно прислушивается к богоугодной тишине, в которой визг пружин подобен чарующим звукам небесной арфы. Счастье.

Кому, как не дочерям Евы, полагается оно — крикливое, желтушное, дрыгающее ножками и ручками.

— Люба моя, — сипит Ева, прикладывая к груди то одного, то другого — всего в доме должно быть в избытке, — все эти кусочки Евиной плоти; маленькие, сморщенные, они теребят грудь и просят есть.

— Сцеживай, — волнуется Ева, ревниво придерживая детскую головку у груди дочери. — Кушай уже, кушай, паршивец, — смеется она, любуясь впивающимся ртом, похожим на миниатюрный поршень, всплывающим поплавром соска, — огромным, коричневым, покрытым незаживающей коркой.

Корка смазывается подсолнечным маслом из темной бутылки; тем маслом смазывается и детская головка. Тусклые и взъерошенные волосы растут низко надо лбом. Все это грозит стать медвежьим, избыточным, — ее, Евиной породы.

Уперев руки в массивные бедра, озирает Ева пастбища свои, но сердце ее неспокойно.

— Берта! — вопит она истошно. — Берта, ты видишь, Берта?! Что ты молчишь?..

Берта молчит, — молчит, потому что об этом не принято говорить в почтенном доме. О ценах на рынке — пожалуйста. О родовых травмах и молокоотсосах — сколько угодно. О том, чем и как кормить мужчин, сколько каленой гречки и укропа полагается есть кормящей матери, о средствах от недержания, запора, поноса, золотухи и сухотки...

И лишь об одном не принято не только говорить, но даже думать...

Берта и Моисей не спят вместе. Вернее, они спят, укрываются одним одеялом и вдыхают один и тот же воздух... вдыхают и выдыхают, вдыхают и выдыхают, но... Берта и Моисей спят, будто дети, обнявшись крепко, они видят разнообразные сны и утром, смеясь, рассказывают друг другу небылицы. И все бы хорошо, но от дружбы между мужчиной и женщиной, даже самой крепкой, не бывает детей.

— Горе мне, — сипит Ева, — за что мне такое наказание, позор на мою голову! — Она принимается раскачиваться, посыпая себя воображаемым пеплом, ударяя по тугим щекам и выдергивая пружинки жестких волос.

От дружбы не бывает детей. Эти двое сидят за столом и улыбаются как дураки, а по субботам гуляют в парке и катаются на карусели.

— Карусель, — пышет гневом Ева, — та еще карусель!

Карусель — это когда мужчина знает свое мужское, а женщина — женское.

Где та тайна, которая швыряет мужчину и женщину в объятия друг друга? Где таинственный механизм, священная печать, которая скрепляет и благословляет ежедневное нахождение в одном помещении, все эти зимние и летние ночи, из которых складываются недели, месяцы и годы?..

— Дайте мне внука... или внучку, — стонет она. — Вчера я видела во сне деда Ашера. Он вышел из могилы и спросил: разве тот, чье имя не принято тревожить понапрасну, не обязал нас выполнять главную заповедь?..

Разве дано видеть нам, как рождаются и совокупаются голуби... Разве дано познать, из чего зарождается рассвет, из какой тьмы проступает бледная полоска света...

— Обними меня, — просит Берта и поворачивается на левый бок, и руку его укладывает в ложбине между правой и левой грудью.

Таинственный бархат ночи окутывает дом, но аисты пролетают мимо. Они пролетают, один за другим, но сны Моисея остаются праведными и безгрешными. Если и вырывается из Бертиной груди вздох, то это вздох смирения перед немой женской долей.

Догадывался ли Моисей о том, что за чертой их городка есть другие города и другие страны, что живет в них множество всякого люду; что в городах этих женщины нарядны и тонки в кости, они ходят в рестораны и пьют маленькими деликатными

глотками, отставляя мизинчик в сторону, и женское естество их искусно замаскировано в элегантные туалеты, затянуто корсетами. Что у женщин этих не бывает, просто не может быть обязательной послеобеденной отрыжки и изжоги, а еще — длительных болезненных месячных.

Догадывался ли он о том, что впадина женского затылка гораздо чувствительней и обильней раскинутых женских ног, пугающего темного провала между ними... А хрупкие запястья и золотистые локоны, обвивающие пальцы тугими кольцами, — они куда более крепки, чем узы, скрепляющие брак...

Иногда, впрочем, смутные мысли и желания посещали Моисееву голову. И тогда взгляд его застыл в проеме окна... но дорога за окном вела на рынок, за которым располагалась пожарная часть и непременно каланча, а за каланчой расступались округлые и приземистые деревья и домишки, — округлые и безмятежные, как и все то, что его окружало.

Берта была ему как сестра, хотя сам Господь определил ее Моисею в жены, и Моисей послушно и безропотно любил ее, как любят все близкое. Ему необходимо было знать, что Берта рядом, что она сыта и довольна, и руки ее заняты каким-нибудь ленивым рукоделием или стряпней. А если у нее задиралась ночная сорочка, Моисей опускал глаза, потому что не должен муж видеть бесстыдной женской плоти.

Тяжело дыша, она раздвигала ноги и оплетала его поясницу, выдыхая в шею тепло Виноного дома: ну, Моисей, ну! — но энтузиазма ее хватало ненадолго, опали колени, грудь, а сытный ужин давил в предреберье и смыкал глаза, — спать, спать, спать...

Там, в безмянных снах, отцветали лиловые вечера, зажигались огни, и женские голоса струились, таяли, таили нечто такое, от чего Моисеево семья исторгалось как-ким-то необыкновенным способом, и пробуждение его было постыдным. Берта безропотно замыкала постельное белье и, затаив дыхание, выслушивала долгие женские беседы о том, что случается между мужчинами и женщинами и отчего рождаются всегда желанные дети.

Моисей часто задумывался о том, как странно устроены женские тела, как сдвигаются и расходятся бедра, какие причудливые фигуры и углы образуют они.стыдным и непорядочным казалось то, что вытворял он мысленно с чужими женами, неизвестно с чьими женами и дочерьми какого-то иного племени. Это были чужие женщины, пугающе прекрасные в своей таинственной наготе и совершенно непохожие на тех женщин, которых довелось познать ему.

Это не относилось к области чувств, вовсе нет. Скорее, к области чуда, тайны, которую переплетчик Моше носил в себе. Ремесло переплетчика требовало ловкости рук и сноровки, а голова оставалась свободной.

Небольшая пристройка за сараем казалась надежным укрытием для Моисеевой тайны. «Не возжелай чужого, ни жены, ни имущества его». Моисей не желал. Желания были далеки от его костлявого вытянутого тела, тощего выпирающего кадыка, покрытого колючей щетиной. Он не желал чужого. Работал себе, а мысли бродили вдалеке от этих мест. В местах этих чарующая музыка услаждала слух, а стыдные фигуры вытворяли черт знает что и замирали, когда отворялась дверь и входила Берта, внося накрытый салфеткой обед. Кроме обеда она приносила свежие домашние новости, потому что другие мало волновали ее, и уходила, покачивая плавно бедрами.

Все в этом мире происходило по воле божьей. У нее, у Берты, был муж, переплетчик по имени Моше, была мать, Ева, и не было детей.

В женские дни Берта становилась загадочно-молчаливой. Она держалась за живот, немножко похныкивала и требовала жалости, но не как женщина, а словно маленькая девочка. Садилась у окна и начинала сплетать и расплетать чудные свои тяжелые темно-каштановые косы. Они покрывали ее всю, едва ли не до самых бедер, и тогда силуэт ее вызывал в Моисее болезненное, щемящее чувство. Он послушно приносил разогретую воду и омывал Бертины ступни, и прикладывал смоченную уксусом тряпку к горячему лбу.

Недомогание было своеобразной индугенцией, освобождением от ежедневного ритуала, и тогда Моисей оставался наедине со своими снами, окунался в блаженную прохладу подушек и одеял. Порой ему снилось что-то из прошлой жизни, — давно утраченное чувство свободы, когда вприпрыжку бежал он за отцом по пыль-



ной улице, сворачивал за угол, предвкушая скорое купание в небольшой грязной речке. Тут сон его обрывался, и речка оставалась там, далеко, а рядом сопела незнакомая женщина. Изумленно вглядывался он в приоткрытые пухлые губы, примятую подушкой щеку, с трудом вспоминая имя, предназначение, время и место.

Жизнь текла, словно сонная река, в которой полоскали белье. Река вытекала неведомо откуда и впадала неведомо куда.

* * *

Лето выдалось жарким, и по пыльному шляху потянулись беженцы. Они шли с запада на восток, вслед за дымным облаком, волоча на себе нехитрые пожитки. Босые изможденные люди были новинкой в сытом краю, особенно поразили жителей города молчаливые дети, похожие на маленьких высохших старичков.

Застыв на пороге, всматривалась Ева в лица чужаков. Близко, слишком близко подступила беда к дому, запахом гари опалив размеренную жизнь, в которой всякой вещи было свое место. Кое-что хранила в себе Евина память, хранила в дальних закоулках ее. Хранила такое, о чем предпочитала не вспоминать, не ворошить тлеющие угли.

* * *

Женщина подошла совсем близко. Одета она была в бурую поношенную юбку, а ноги ее были босы. За руку она держала девочку лет пяти. Молча остановились они у калитки, не решаясь ни постучать, ни войти. Припорошенное серой пылью, лицо женщины казалось немолодым, лишенным всякого выражения.

Позже, вечером, отмывая в глубоком тазу в пристройке за домом, присядет она на краешек стула, неловко сложив руки на коленях. Все платья и юбки окажутся ей широки и коротки, потому что у нее была иная порода, отличная от дочерей Евы, — с развернутыми ключицами, длинными ногами и скрученным на затылке тяжелым узлом пепельно-русых волос.

Подразумевалось, что мать и дочь уйдут на рассвете, но наутро девочка слегла с жаром, и чадолюбивое семейство Евы принялось кудахтать, хлопотать, носиться туда и обратно с мокрыми полотенцами, склянками, градусниками. Слава богу, это оказался не тиф, не холера, не...

Женщину звали Вера. По крайней мере, именно это имя удастся опознать в убогом, сдавленном, горловом мычании гостьи. В мычании гостьи и птичьим щебете девочки.

— Убогая, — всхлипнет Ева, погружая половник в кастрюлю со сваренной в бульоне лапшой. — Что у меня, тарелки супа не найдется для этой несчастной? С больным ребенком, да на улицу?..

— Кушать, спать, кушать, — местный доктор был знаменит этой своей присказкой, излечив ею не одно поколение детей и малокровных барышень. Прихрамывая, он засеменял по дорожке, оставляя следы от трости в растрескавшейся земле.

К великому сожалению, знаменитая формула не поможет ни самому доктору, ни большей части его пациентов: точно так же, опираясь на тяжелую трость, будет идти он в толпе единокровцев, — все с тем же докторским саквояжем и в подобранном под цвет сорочки жилете.

«Кушать, спать, кушать», — очерченная тростью формула замрет в воздухе, и сладкий бульон из бойкого петушка поставит на ноги чужую девочку чужого рода-племени, похожую на мать, странно-молчаливую, то ли из благодарности, то ли от смущения.

— Вы кушайте, — подперев ладонью щеку, залюбуется Берта чужим ребенком. В слепой своей доброте так и не заметит она главного, наиважнейшего, — долгого взгляда Моисея, будто очнувшегося от долгого сна.

Заметит старая Ева — и промолчит, опечатав свой рот. Промолчит, заслышав посреди ночи скрип половиц и шаги, вне всякого сомнения, мужские.

Так и заживут они, полагая свое состояние временным, — еще денек, еще недельку, а там и лето разразится испепеляющим августом, прольется холодными дождями сентябрь; в покосившейся пристройке наладят какое-никакое человеческое

жилые, — с примусом, печкой и сворой дворовых кошек. Конечно, придется Моисею потесниться, но отчего же не потесниться ради спасения чужой жизни, — впрочем, чужой ли...

Зимними ночами дом наполнялся блуждающими женщинами. Сквозь плотно забитые щели не поступал воздух, а тот, что имелся в остатке, был безжизненным и сухим. Зевая, бродили женщины по коридорам, полы халатов волочились за ними, как шлейфы, а от тусклого свечения ламп лица их казались желтоватыми и будто восковыми.

На стенах плясали нелепо раскоряченные тени. Тени жили отдельной жизнью, совершенно независимой от своих хозяев. Чей-то острый профиль соединялся с раскачивающимися над плитой подштанниками или сорочкой, и тогда происходящее на кухне становилось пугающе таинственным. До утра нужно было дожить каких-нибудь три-четыре часа, но именно эти часы растягивались до тягостной бесконечности. Женщины зевали, отодвигали занавески и пристально вглядывались в молочную синеву за окном.

Обнимая законную жену Берту, крепко спал Моисей и видел волшебные сны; и во снах этих являлась ему чужая женщина с узлом пепельно-русых волос на затылке, сероглазая, странно молчаливая. Женщина смеялась, откидывая голову назад, и на шее ее подрагивала сладкая синяя жилка. Что за жилка, скажете вы, подумаешь, — разве этим сильны дочери Евы... Разве удивишь зрелого мужчину какой-то там жилкой, — вот здесь, на виске, а еще — на запястье... и здесь, под округлым коленом.

Жилка билась, трепетала, подрагивала; то ли плач, то ли смех прорывался из полуоткрытого рта, запрокинутой шеи, груди, — белой, белее первого снега, выпавшего под утро бесшумными хлопьями.

Дочь Веры совсем освоилась и время от времени капризничала наравне с другими детьми: не буду, не хочу, — и старая Ева, изображая гнев, трясла щеками и делала «свиное рыло», чем еще больше веселила негодников.

О чем бы не судачили злые языки, а вознаграждение за *мицву*, доброе дело, не замедлило явиться. В положенный срок Берта разрешится от бремени девочкой, которую нарекут Евой. А две недели спустя — не без помощи хромого доктора — в пристройке, за домом, посреди пыльных фолиантов, тяжелых крожаных переплетов, окруженный мудростью веков, родится на свет младенец мужского полу.

Измученный бессонной ночью, склонится Моисей над роженицей, коснется лежащей безвольно руки с пульсирующей синей жилкой на запястье.

— Кушать, спать, кушать, — скажет маленький доктор, вглядываясь в бледное лицо молодой женщины, а на восьмой день, после визита похожего на усталую черепаху моэля, сделавшего обрезание, младенца нарекут Даниилом.

Еще через полтора месяца в городе объявят комендантский час, а по городу развешат объявления о явке к восьми часам утра всех лиц иудейского вероисповедания. Евреи должны иметь при себе документы, ценные вещи и теплое белье.

— А я что говорила, — эвакуация! — пожмет плечами Ева-большая и зальется внезапными слезами, потому что кто-нибудь здесь объяснит, что в этом случае ценное, а что — таки нет?... Спринцовка, градусник, теплые носочки, куст алоэ в горшке, портрет деда Ашера, — хороши шуточки, попробуйте-ка за двадцать четыре часа выбрать это ценное. — Берта, что ты стоишь как вкопанная, собирай дите, беги до Веры — у нас день и ночь впереди. Пусть идет, на нее никто не подумает.

На нее никто не подумает — на высокую, в сбитом набекрень крестьянском платке, прогибающуюся под тяжестью двух свертков, в которых женское и мужское кряхтит, рвет грудь и требует молока, любви, жизни, опять молока.

— Кушать, спать, кушать, — выдохнет она, оседая у ворот чужого дома, в тот самый час, когда дочери Евы, ежась от утренней прохлады и чего-то необъяснимого, выведут на порог готовых к путешествию детей...

САХЕ

Р а с с к а з

В открытое окно влетела горлица, предвестница радости. Она окунулась в солнечный луч, — и стало покойно и безмятежно душе, усталой от ожидания...

* * *

Уже не первую неделю волчью стаю вела седая крутолобая Сахе. Голод, холод, беспощадный ветер с сухой снежной крупой, смешанной с песком и горькой солью, были их неотступными спутниками. Чувствовалось, что где-то маячит смерть, что она уже выбрала себе жертву среди ослабленных и старых, рысью трусила за последними задыхающимися, ожидая, кто первым упадет на жесткий наст, мучительно кашляя и с хрупом хватая снег, неожиданно затихнет, прильнув к промерзшей земле, или, свернувшись калачиком, уснет навечно. Волчица с каждым днем все чаще переходила на шаг, стараясь сберечь силы, но надо было двигаться и искать в бескрайних степях пищу. Она бежала впереди стаи, иногда останавливалась, поднимала голову, принохиваясь к потокам свистящего ветра, оглядывалась на изнуренную стаю и вновь продолжала свой бег по твердым снежным волнам, на которых не оставалось никаких следов.

В стороне Сахе заметила странные предметы, похожие на небольшие бугры. Ветер сносил запахи, поэтому она не побежала напрямую к ним, а стала делать круг, принохиваясь и глядяваясь в завихрения поземки. Осторожность никогда ее не покидала, даже в сильный голод. Вскоре среди горьковатых запахов солончаков она распознала густой дурманящий запах кошмы и целый ворох вяжущих запахов человеческого жилья. Волчица резко остановилась и села, не сводя глаз с источника тревожных запахов. Стая сбилась в кучу, молодые волки нетерпеливо перебирали лапами, старые легли на землю и покусывали редкие травинки.

На человеческой стоянке никто не двигался, не было видно и дыма, сопровождающего самое страшное, что есть у людей, — огонь. Сахе поднялась и медленно двинулась к стоянке. Она периодически останавливалась, садилась, выжидала, но признаков жизни не обнаруживала. Когда волки подошли вплотную, то увидели занесенную палатку, обложенную кусками дырявой кошмы; рядом стояла небольшая телега и лежала мертвая лошадь, даже не распряженная. Когда лошадь, обессилев, упала, у людей, видимо, хватило сил только поставить палатку.

Волчья стая кинулась на промерзлый труп лошади, с яростью раздирая останки. Сахе обжала палатку и тоже присоединилась к скудному пиршеству, не услышав ничего подозрительного. Неожиданно к заунывным стонам ветра, хрусту костей и ворчанию серой братии примешался странный приглушенный звук, похожий на щенячье повизгивание. Сахе встрепенулась, — ей почудилось, что это зовут волчата, которых вместе с Колченогим летом убили охотники, выследив их логово. Сахе кинулась к палатке, откуда доносился звук, и просунула голову под полог. В палатке лежали двое мужчин. Один из них свернулся калачиком, его лицо с застывшими глазами

было обращено к небу, а рыжая с проседью борода примерзла к ветхой ткани палатки; другой лежал, закинув голову в линялом платке и зажав в руках сверток, прикрытый старым лисьим малахаем. Из этого свертка и доносились те странные звуки. Сахе откинула носом малахай, и резкий запах детского тела ударил ей в нос. От нахлынувшего холода ребенок заплакал, — громко, безутешно, жалобно. Волчица упала рядом и, поскуливая, начала облизывать плачущего младенца. Он на время затих, пытаясь беззубым ртом поймать язык волчицы, но после тщетных попыток опять захныкал. Сахе не выдержала, поднялась; дрожь била ее тело, она вскинула голову и завывала с такой смертной тоской и болью, что вся стая подавленно замерла и даже колючий ветер на время затих.

Сахе вылезла наружу, подошла к молодому и рослому волку, тихо подвывая и подставляя свою шею, закружилась вокруг него. Потом остановилась и посмотрела ему в глаза. Он понял, чего она от него добивается, поднялся и побежал в сторону хребта. Стая двинулась за ним, только волчица осталась стоять у телеги. Через некоторое время она забралась в палатку, легла рядом с ребенком и положила голову на замерзшие руки человека так, чтобы своей шерстью прикрыть лицо человеческого детеныша. Он успокоился, почувствовав рядом живое тепло матери-волчицы, и заснул, чмокая губешками во сне.

Стая тем временем настигла в степи одинокого охотника Йолдо из племени тулунов. Он, не ожидая увидеть так много волков, сначала растерялся, потом принялся стегать лошадь. Но волки не приближались к нему, они перегородили путь к стойбищу и, выстроившись полукругом, погнали охотника в степь. Если он пытался уйти в сторону, дорогу ему преграждал молодой волк. Он не скалил зубы, но от него веяло такой уверенностью и бесстрашием, что охотник не решился выпустить в него стрелу. Йолдо понял, что волки не хотят задрать его, а в степь гонят с какой-то таинственной целью.

Под вечер, когда он уже потерял всякую надежду, что этот бег прекратится, они выскочили к одиноко стоящей палатке. Тут волки остановились, а молодой забежал вперед и сел у заметной телеги. Охотник спешился, привязал ошалевшую от страха лошадь к заднику телеги, подошел к палатке и поднял полог, но, увидев волчицу, невольно отпрянул, зацепившись за что-то, и упал на спину. Когда он поднял голову, то увидел, что волчица вылезла из палатки и пристально смотрит на него. Охотник осторожно поднялся и вновь откинул полог. Когда он зашел в палатку, то увидел среди замерзших тел сверток с маленьким ребенком. Мужчина взял его, малыш проснулся и опять заплакал; тут же в палатку сунулась встревоженная волчица. Йолдо уже освоился, потому сердито прикрикнул на нее:

— Чего пялишься, никто его не обижает! Сейчас утихомирим твое дитя...

Он вытащил из-за пазухи лепешку, откусил ее, разжевал и этой кашицей стал кормить ребенка. Наевшись, младенец уснул, сыто посапывая. Йолдо развернул его, выбросил мокрые тряпки, вместо них подложил под хрупкое тельце свой шейный платок и опять завернул в лоскутное одеяло. Нахлобучив на голову малыша старый малахай, охотник вылез наружу. В степи разыгрался настоящий буран. Человек с трудом подошел к лошади, сел на нее и рысью поскакал в сторону стойбища. Он не был уверен, сможет ли добраться до дома, — такого ветра достаточно, чтобы заблудиться, выйти не в тот распадок и в ночном крошечном бурана замерзнуть в степи. Но как только лошадь сворачивала с нужного направления, появлялись волки, — и Йолдо исправлял ошибку.

К утру, обессиленный, он добрался до своих кошар. Вскоре в его юрте собрались немногочисленные жители стойбища, пришел даже старый врачеватель и колдун Джани. Он, осмотрев ребенка, покачал головой и, почмокав беззубым ртом, сказал:

— Мальчик из странного рода... похоже, что из гаргов. Хотя я не уверен, есть в нем что-то от высшей силы. Наверное, само провидение его спасло, отдав в твои руки. Говоришь, волки привели тебя к нему?

— Да, уважаемый. А главной у них была седая волчица, похожая на Сахе, логово которой мы разорили еще летом.

— Вот видишь, как бывает в жизни... Ты убил ее мужа и детей, а она подарила тебе сына. Пусть из него вырастет настоящий охотник, батыр, пусть он будет всегда справедливым и защищает слабых. Как ты хочешь его назвать?

— Я еще не думал об этом.

— Назови Яром. Это слово есть у нас и у гаргов. Он стоял на краю пропасти между смертью и жизнью, его спасли, — пусть будет Яром.

— Хорошее имя, но очень короткое.

— Почему короткое, разве ты забыл, что волки его спасли?! Так что Яр Волчий — его полное имя.

Старик, не притронувшись к угощению, поднялся, уже было хотел уйти, но повернулся к Йолдо и тихо проговорил:

— Знаешь, охотник, мне кажется, что волчица Сахе заговорила твоего названного сына... а может, кто и посылает ее. Не бойся, не бойся, просто его никогда не тронет ни один лютый зверь, и все стрелы будут лететь мимо.

После ухода старого колдуна Йолдо долго сидел у очага, пристально разглядывая кулон, снятый с шеи мальчика. На черном кулоне был вырезан бегущий волк. Однажды он уже видел этот странный знак, но не мог вспомнить, где и когда. Странное ощущение не покидало Йолдо, ведь не зря волки спасли этого мальчика... и не случайно именно его, самого знаменитого охотника, эти хищники вывели к мертвой стоянке в степи.

У охотника Йолдо родилось еще много вопросов, на которые он не знал ответов, но в одном он был уверен: больше никогда, ни при каких обстоятельствах охотиться на волков не будет!..



Марина АКИМОВА

ТИМЧЕНОВ В КУБЕ

*Веселые воспоминания
о грустной жизни одного поэта*

НАЧАЛЬНИК ДВОРНИКОВ

В мае месяце 2004-го, волею отъезжающего на покорение столиц Виталия Науменко, у меня появился «подопечный».

Пакуя чемоданы, Виталия объявил, что именно во мне (почему? за что?) он углядел способности «следить за поведением Андрея и заботиться о нем»; Андрею же, в свою очередь, было наказано «слушаться теперь Марину». Пришлось покориться, ибо протестовать (Андрею Тимченову — против своего нового «опекуна», а мне — против своего «воспитанника») не было оснований: мы едва знали друг друга.

Надо сказать, что Андрей Тимченов был передан под мою опеку в наилучшем состоянии: он тогда находился, быть может, на пике своей социальной устроенности. Бригадир (он сам говорил — «начальник») дворников при местном политехе, с общежитской жилплощадью, неизменно в чистой рубашке и с аккуратной бутылочкой «Иркутской минеральной». В бутылочке булькала отнюдь не газировка, однако невинная этикетка придавала распитию культурный характер, а скромный объем 0,5 говорил о жестком самоограничении.

Помнится, все тогда радовались за Андрея, особенно Анатолий Иванович Кобенков, председатель иркутского отделения Союза российских писателей. Восторги по поводу того, что Тимченов «образумился», что «живет, наконец, по-человечьи», становились все более ясными мне по мере знакомства с биографией нашего героя. Тюрьмы, психбольницы, подвалы... запои и неоднократные попытки самоубийства... Все это, конечно, нашло отражение в текстах тимченовских поэм. Впрочем, допустимо и обратное: сочинив какую-нибудь жуть, Андрей мог преподнести ее как факт биографический. Как бы там ни было — и малой (проверенной и правдоподобной) доли тимченовской юдоли хватало на содрогание.

Ко мне на хранение — сам автор все бы непременно растерял — поступил «архив». Архив — это туго набитый бумагой целлофановый пакет, украшенный сочным некогда принтом новогодней тематики. Архив содержал рукописи одноразового чтения, потому что тонкие желтые листочки (что-то типа кальки) рассыпались в руках. «Ну, другого ничего не было, я вот на этом и писал...» — пожимал плечами Андрей. Мы приступили к разбору этих залежей. Там свистел друг-Суслик и «слезы по лицу раскладывал», там из поэмы в поэму кочевали Человек-ветер, отец Леонид и Понедельник, ставший человеком. Герои Тимченова все время силились кого-то догнать или что-то вспомнить, или что-то остановить, или что-то изменить, но ничего не изменялось, не останавливалось, не вспоминалось и т. д., потому все они жестоко страдали от своего бессилия и подлости бытия. Местом действия были степь, или лабиринт города, или «дурка», или берег Братского моря, но чаще — некое символическое пространство, пустынное и недоброе. В стихах Андрея было страшно.



Удивительно, но сам Андрей, ни своей разбойничьей внешностью (огромный рост, черная борода, притихшая сила), ни большими судимостями-шизофрениями, ни у кого никакого страха вызвать не мог. Ну, что значат все страсти, что рассказывает о себе Андрюха, когда глаза, как у Ленина в том анекдоте, — «добрые-добрые»?

Поведения он был вполне детского. На союзовских собраниях позволял себе свободу и непосредственность (в том наивном смысле, в каком он представлял себе эти понятия). Капризничал. Так, помню, он чуть не сорвал собственный «поэтический вечер», устроенный ему Кобенковым. Произошло следующее. Народ разобрал стульчики и приготовился внимать. Андрей поприветствовал братьев-литераторов, откашлялся и... впал в долгую задумчивость. Когда его растормошили, начал нудно и путано объяснять, что, де, зря вы, господа, пришли сюда, непременно разочаруетесь; что поэмы он, Тимченков, нынче не пишет, а осваивает пространства камерные, посему стал, стыдно признаться, «лирическим поэтом»; что опыты его не заслуживают огласки и предпочтительнее было бы всем разойтись... Никто не стронулся, однако, со своей сидухи, потому Андрюхе волей-неволей пришлось начать:

О чем говорил мой голос речной?
Губы более тревожной чайки
бились
над тишиной ночной...

Хватило его на два стишка. Дальше — то ли оттого, что «в портфеле» оставалось всего четыре, а «вечер» свой Тимченкову так быстро заканчивать не хотелось, то ли оттого, что он боялся, как бы присутствующим не сделалось пресно, — был запущен очередной номер:

Тимченков: Ну, а этот стишок я читать не буду, он плохой.

Все: Ну, читай, читай!

Тимченков: Да нет, он, правда, плохой.

Все: Ну, читай, что ты!

Тимченков: Да нет, он, правда, плохой, я могу объяснить почему...

Все: Да читай же! Для чего мы здесь собрались?!

Тимченков: Ну хорошо... Нет, я Толю боюсь.

Кобенков: Да что такое! Я сейчас уйду!

Тимченков: Ну вот... Значит, стишок... Нет, я все-таки Толю боюсь.

Кобенков: Тьфу ты! (Уходит.)

Все: Верните Толю! Марина, уйми своего «подопечного»!

Тимченков: Он что, ушел?

Все: Конечно, ты же его выгнал. Прекращай паясничать!

Тимченков: Нет, я без Толи читать не буду!

(Кобенков возвращается.)

Тимченков: Ну вот, этот стишок...

Все: Да читай же ты, наконец!..

Андрея ругали за банальности, за режущую глаза недоделанность его виршей, за расхристанность и неграмотность. Все, что ему ставили в вину, было справедливо.

Мы засиживались с Андрюшей в библиотеке союза писателей, там он, запивая свою «минералку» чифирем (три пакетика чая на полстакана) и дымя «Беломором», объяснял мне свое «поэтическое кредо». Содержание оно сводилось, в общем, к двум постулатам: «в поэме должно быть много “воды”» и «задача поэта — выплеснуть все как на духу, а не корпеть над строчками: он творец, а не подмастерье». Свои «маленькие» стихи Андрей рассматривал как «заготовки к поэмам», а свои поэмы — как осколки и наброски той Вселенной, тимченковской вселенной, что он когда-нибудь создаст.

КРАХ

В начале 2005-го принялся паковать чемоданы уже Анатолий Иванович. Все туда же: в Москву, в Москву! Каждый день — как на работу — я и Леша Сериков, хороший наш с Виталей друг и прозаик, шли домой к А.К. (Кобенкову). Помогали разбирать книги, запечатывать коробки, демонтировать стеллажи. С отъездом Кобенкова у всего, придуманного им в Иркутске — у союза, фестивалей, альманахов, «молодежных вторников», — намечалось печальное будущее, но главное — мы теряли самого А.К., к которому были сердечно привязаны.



Даже тогда, когда стены кобенковской квартиры практически оголились, а коридор был забит доверху тщательно «заскотченными» коробками, еще мало кто знал о переезде. Отчего-то сие хранилось в полусекрете. Не знал ничего и Андрей Тимченков. И вот однажды, когда мы с Лешей спорили, в каком виде лучше транспортировать пианино, раздался телефонный звонок. Анатолий Иванович поднял трубку. Вскоре он изменился в лице. Звонил Тимченков, об этом мы догадались сразу, но вот о том, что стряслось, почему А.К. моментом сник, почему он стал перечислять какие-то фамилии и говорить о каких-то больницах, почему зачастил утешениями и выдохнул, наконец: «Прости, Андрюшенька, я ничем, видно, помочь не смогу, я через несколько дней уезжаю», мы пока не подозревали. Было ясно одно: произошло что-то серьезное. На том конце трубки, тем временем, повисла хорошая театральная пауза. Но здесь Андрей (успевший, к слову, в годы зеленые немного поучиться профессиональному лицедейству) уже не играл: для него весть об отъезде А.К. была действительно шоком и горем, может даже, горем поболее того, что он минуту назад поведал «другу-Толе».

Анатолий Кобенков все-таки успел похлопотать об Андрее: его, не знавшего даже, что такое страховой полис, устроили в тубдиспансер.

Из политеха Тимченова, конечно, выгнали, общежитскую конуру отобрали — не имеем, дескать, права: у нас учебное заведение, студенты, а у вас — туберкулез в открытой форме.

В писательском союзе организовали «фонд помощи Тимченову», и люди правды несли деньги; была выделена специальная статья — «на прокорм Андрюхе» — и в бюджете союза. Все жалели Тимченова, и — надо ли говорить, — что кроме жалостливых литераторов у Андрея не было больше ни-ко-го.

Теперь мы с Лешей Сериковым (Леша — груженный картошкой и тушенкой) ездили — как на работу — в жуткое предместье, в лечебное заведение, отгороженное капитальной стеной...

По двору, скучая, бродили пациенты и овчароподобные собаки.

Из тимченовской палаты выкатились пушные щенки, потом уже вышел сам Андрей. «Вот, — кивнул на зверье, — откармливаем. Малы еще: ни мяса с них пока, ни сала». Мы присели на скамеечку в коридоре, Андрей стал передавать мне испанные листочки.

Перекур...

Передышка...

В моем океане болтает...

<...>

Здравствуй, город-корабль...

В паруса моих траченных легких
задувает чахоточный кашель...

Еще передышка...

Ну конечно! Я и не сомневалась, что болезнь наша будет воспета! О нет, Андрей и не думал падать духом, он переживал свой туберкулез как приключение, как новые впечатления, как тему для поэмы. Он даже гордился им: «Вот, я теперь как настоящий писатель! Как Чехов! Как Горький! Эх, мне бы на Капри!»

Из палаты выглянул некто с лицом худым и безнадежным: «Андрей... ой, простите... Андрей, я это... узнать... суп уже можно начинать варить?» «Можно!» — дал отмашку Тимченков. «Уважают, — хмыкнул. — Узнали, что поэт, — благоговоят».

Через два месяца пребывания в больнице нашего уважаемого поэта было не узнать. У него появились брюшко и щечки, он весь дышал здоровьем. «Врачи говорят, что организм совершил чудо», — смеялся Тимченков. Мы же с Лешей, перетаскавшие Андрею ни один десяток ведер картошки и ни один десяток банок тушенки и при этом — ни капли спирта, имели собственное, отнюдь не мистическое объяснение выздоровления.

Была, впрочем, и еще одна, более тонкого свойства причина, послужившая излечению. Андрей почувствовал, что он не одинок и не забыт. Его стихи печатались в разных журналах, самому ему писалось много как никогда, а тут еще пришла из Москвы статья Ани Павловской об его творчестве. «Первый раз, — восклицал он, — читаю про себя такой серьезный, разумный текст!». Ой-ой, разумно ли было давать Тимченову читать про себя такое? С одной стороны, эссе Павловской его здорово приободрило, но с другой стороны, оно положило начало тимченовской «звезданности», окончательно убедило его в собственной «гениальности», ибо написано это



эссе было слегка с перебором: Андрей там рассматривался в одном ряду с Мандельштамом, Рубцовым, Вен. Ерофеевым и бесконечно поверялся не кем иным, как Рильке (коего, как выяснилось, Андрюша практически не знал). Кобенков по этому поводу выдал шутку: «Без нашего Тимченова творчество Гомера и Рильке не полно!».

КУБ

Весной 2005-го остро встал квартирный вопрос. Возвращение к «подвальной» жизни для Тимченова, с его чуть подлеченной чахоткой, было убийственно. Тут и подвернулась эта злополучная будка.

Вообще-то это был киосчек, с параметрами 2x2x2 (метра), ну, такой, в каком раньше продавали автобусные или лотерейные билеты, ибо ничего больше из него продавать было нельзя: ничто иное в нем просто не помещается. Конкретно в нашем же киосчке некогда помещался сторож, зачем-то надобный фирме, делящей с союзом писателей один двор. Короче, все сошлось к радости Андрея: сторож был накануне изгнан, будка продавалась по скромной цене и стояла она в двух шагах от крыльца союза, словом, — от крыльца дома родного.

С бухгалтером «дома родного» мы принялись за отмывание и обустройство новой тимченовской «квартиры». Что ж, может человек жить и в бочке, и в будке, но пушай хоть с какой-то минимальной опрятностью. Обклеили стены и потолок, вывели мусор. Вынесли (не поворачивается язык сказать «мебель») лишнюю рухлядь. Теперь Андрей, поджав колени, мог уместиться в своей конуре и горизонтально — для отправления к Морфею, например.

Через неделю жизни в будке Андрюше открылось, что обиталище его — в смысле геометрическом — не что иное, как куб. Счастливый от придуманного им каламбура, забежал в союз: «Я в кубе! Тимченов в кубе!». Сообразительному человеку при этой фразе надлежало отсечь все прочие ассоциации кроме — на сей раз — алгебраической, то есть сосредоточиться на утроенном гении Андрея Тимченова.

Тимченова в моей жизни становилось, действительно, слишком много. Мы выделись практически каждый день, а если не выделись, то Андрей доставал меня по телефону (оставшемуся в будке после сторожа и «висевшему», кстати сказать, на той же линии, что и офисные телефоны продавшей будку фирмы). Кончилось все тем, что фирма перерезала уходящий в куб телефонный провод, потому что Андрюша заглашал чтением поэм их деловые переговоры. Потом Андрей купил подержанный мобильник. Это была, пожалуй, последняя Андреева попытка «жить не хуже других» — дальше началось неотвратимое скатывание вниз, в «подвал».

Но пока Тимченов, с болтающейся на шнурке «мобилой», еще держался, вялая новые поэмы и вступал со мной в отчаянные споры.

Споры наши касались исключительно слов и строчек. «Ну, Андрей, ну, не говорят так по-русски» или «ну, Андрей, ну, банально же это до пошлости», — начинала я. Если Андрей соглашался, то тогда я предлагала на выбор несколько вариантов замены неудавшегося места (Тимченов начисто был лишен способности править собственные стихи). Если же он упирался, то крики наши было слышно на улице. Правда, до драки не доходило. А когда Андрея «воспитывал» Науменко, говорят, и такое бывало. (Вот как надо любить прекрасное, господа!) В итоге я сдавалась и оставляла надежды уразуметь какой-нибудь пассаж типа «светило лаская повиди рассудит». Эти чертовы «повиди», попутно замечу, вообще возникали у Андрея в каждом третьем творении и в самых неожиданных контекстах. Так что смысл данного слова и по сей день для меня — тайна великая.

Еще я вела ожесточенную борьбу с восклицательными знаками. Тимченов ставил их в конце чуть ли не каждой строчки и стремился к тому, чтобы ставить их (да ни по одной штучке!) в конце чуть ли не каждого слова. Я зверела. «Ну что ты все время орешь? — трясла я рукописью. — Думаешь, чем громче, тем больше поэзии?» — и... опускала при наборе текстов все эти частоколы восклицаний. Андрей, как правило, даже не замечал потери, хотя и волок в свой куб «для вычитки» еще теплые от принтера листочки.

Куб же мало-помалу захламлялся и приобретал вид, близкий к тому, что был при стороже. Бухгалтер, «ухайдокавшаяся» некогда на ремонте, дулась: «Делай тебе добро! Свинья ты, Тимченко!» (она всегда называла Андрея его настоящей фамилией).

По городу летела весть о «поэте в киоске». Многие приходили поглядеть и выпить. Голубенькие обои превратились в подобие девичьего альбома: каждого своего



гостя Андрей просил оставить на стене карикатурку, экспромтик или признанье в любви. Когда приехал Кобенков, ему тоже первым делом был вручен фломастер.

Радость Андреева была велика: ведь помимо себя, «друга-Толи», А.К. привез в Иркутск, на фестиваль поэзии, и родную (родство было установлено при первой же встрече) для Тимченова душу — Евгения Рейна.

Однажды Рейну удалось вырваться из-под бдительного надзора жены, и они с Андрюшей отправились в путешествие по иркутским улочкам. Рассказ о том, что сей дуэт вытворял на «шанхайке», на улице Урицкого и под дверью элитного торгового центра, я слушала, наверное, раз двести, но воспроизводить его здесь поостерегусь. Все-таки, Андрей мог что-то навдумывать.

На прощание Рейн с Кобенковым оставили Тимчену по рекомендательному письму. Тут же подоспела аналогичная бумага и от Виталия Науменко. Андрей засобирался в «профессиональные писатели».

«Быстрее, быстрее, — взмахивал он руками, — сейчас надо действовать стремительно: время на исходе, надо успеть принять меня в союз и выпустить большую книгу поэм!». Наречие «стремительно» с тех пор стало главным словом в тимченевском лексиконе, а «книга поэм» — главным оправданием всего тимченевского существования.

Книга должна была — ни больше, ни меньше — перевернуть мир. Она должна была стать откровением, взрывом, и так далее, и тому подобное. «Мы назовем ее “Многоэтажное одиночество. Вселенная”!» — несло Андрея; меня же корежило от оскорбления этих... ну, эстетических чувств. И, тем не менее, мне хотелось помочь Тимчену, поддержать его. Я взялась за составление. Отобрали, с грехом пополам, десяток поэм, в которых я видела лишь удачные и неудачные строчки, Андрей же — «краеугольные камни мироздания». «Это всякие там поэтишки пишут стишочки, а я — изложил Вселенную!» — заявил Тимченов. Мне уже перестало быть весело, я промолчала.

Книжку, в сложившихся тогда в Иркутске условиях, издать было трудно. Новый председатель союза на нее деньги не выделял, молчали и спонсоры, коим я отправляла дипломатически безупречные письма. Думаю, излишне пояснять, что у самого автора средств не наблюдалось, поэтому проект «Тимченевская Вселенная» откладывался на неопределенный срок. Впрочем, скоро Андрей сам позабыл о «деле своей жизни».

АПОФЕОЗ

В принципе, к началу 2006-го все было кончено, ни мы, ни Андрей не могли уже ничего изменить, процесс «оподваливания» шел неотвратно и по-тимченевски стремительно.

Куб превратился в место паломничества. Сюда стекались горе-стихотворцы и темные личности с Центрального рынка. Когда темнело и в бутылках пустело, многие не имели сил разойтись, и тут обнаруживалась удивительная особенность нашей сторожки: помимо Тимченова там, оказывается, могло отоспаться еще четыре, а то и пять человек. Лучшая картинка, которую можно было наблюдать в кубе той поры, такая: Андрей, согнув колени и тягая одну за одной беломорины, возлежит на топчане, а на стульчике, тоже поджав колени (ноги-то вытянуть некуда), сидит литератор Олег Кузьминский и, попивая пиво, время от времени пропевает: «Так и надо жить поэту...». В отличие от прочих, Олег Кузьминский хотя бы подкармливал Андрюху да водил его к себе, помыться.

Финансировал Андрея и союз писателей, членом которого он стать так и успел. Разумеется, мы выдавали ему деньги, уже обращенные в макароны, хлеб и чай. Тимченов заходил в союз, подстригал перед зеркалом бородищу и начинал гундеть, что ему нужны наличные, что его гений никто не ценит и что все ему обязаны. Со мной он вел речи ну чисто экзюперишного лисенка: «Ты в ответе за меня, ведь меня тебе поручили...». Леша Сериков теперь никак иначе как лисенком Тимченова и не называл, а стараниями нашего бухгалтера за Андрюшей закрепилось еще одно ласкательно-животное прозвище: кукушонок. И верно: каждые полчаса (как бы не пропустить потенциального собутыльника!) распахивалась створка киосочного окошечка и высовывалась физиономия поддатого Тимченко, готового, казалось, вот-вот закуковать.

Мобильник Андрюха давно прокуковал и на опустевший шнурок повесил огромный ключ от своей хижинки. Куда-то делись и те чистые рубашки, в коих Андрей



руководил дворниками. Присутствие Тимченова в обществе стало мукой для лиц с особо нежным обонянием. Мы давили на Андрея и, наконец, он отступал и затевал «постирушку», т. е. брал в союзе ведро, скидывал в него одежду, заливал водой и надолго забывал о нем. Когда вспоминал — вытаскивал склизкие тряпки и развешивал их на двери куба.

Лопнуло терпение даже у непробиваемой Люды Сенотрусовой, директора союзовского дома. Она становилась в дверях, закупоривала проход и орала на Андрея: «Не пропущу! Здесь нормальные люди собрались, почему они из-за тебя страдать должны?!». И закрылся бы для Тимченова уже тогда всякий доступ к приличному обществу, не появившись у него сожитель.

Сожителя звали то ли Федя, то ли Степа. Ну, не важно: пусть будет Степа. Степа был лысый бурят и убийца. Лица он был тупого и «отмороженного», но нрава кроткого. Убил же он кого-то вроде как «нечаянно». Этот Степа-убийца тут же наладил быт в тимченовской будке. Он готовил, заставлял Андрея есть, мыл посуду, стирал и подметал пол.

Тимченов тем временем (снова относительно чистый и сытый) раскрывал «заговоры». Вся литературная кодла Иркутска, согласно Тимченко, сплотилась нынче против него. О да, его хотели извести, уничтожить, потому что все они чувствовали свою творческую несостоятельность на его фоне. Андрея окружали враги. Но кабы хлипкими литераторами все и заканчивалось! Так нет: ночами Тимченов летал по двору в своем кубе и давил, и давил бесчисленных чертей, подставляющих ему то рожки, то подножки.

Степу-убийцу вскоре сменил Андрей-боксер. (Кажется, его звали все-таки Андреем, а то, что он был когда-то боксером, вовсе не значит, что он не был, подобно Степе, убийцей). Новый сожитель характером обладал уже не столь робким, но за Тимченовым ухаживал с той же самоотверженностью, что и прежний квартирант. Он даже умудрялся каждый день кормить Андрея мясом и выпроваживать вежливым апшеркотом непрошенных гостей.

Через несколько месяцев исчез и боксер — испугался, что Тимченко споит его окончательно. Куб моментом заполнился бомжами обоого пола, воришками, карманниками и рецидивистского вида личностями. Проходить рядом стало опасно. Этот притон под крыльцом союза писателей был бы просто невообразим при Кобенкове, но сейчас, когда организация разваливалась, частное разложение на отдельное взятом участке ее двора никого не шокировало и даже своеобразно вписывалось в логику всего происходящего. Мы же с Людмилой Сенотрусовой повлиять на Тимченова не могли, потому как кроме словес не имели в своем распоряжении никаких иных средств. Убеждения, наставления и ласковые уговоры сменялись отчитываниями, угрозами и ультиматумами — Андрею все было по барабану. Однако на следующий день после того как мы вынуждены были переходить на ор, Андрюша являлся в союз с красной розой и коробкой конфет. «Да этого ли мы от тебя хотели?» «А чего, — включал дурачка Тимченов, — все же в порядке. Я своим (криминальным элементам). — *М. А.*) сказал, они вас не тронут, не беспокойтесь».

Откуда Тимченко брал деньги на шоколад и розу красную, оставалось загадкой: ему закрыл кредит даже терпеливый мужичок, сбывающий технический спирт.

Наш поэт решил заняться коммерцией. Окошко куба было заставлено книжками, сквозь них не проглядывался даже продавец, он же автор. Но бизнес шел плохо. Тогда Андрей переключился на активные продажи. Если покупатель не идет во двор к продавцу, то продавец сам выйдет на улицу к покупателю, да за рукав его поймает, да без покупки не отпустит. Фиксированной цены на товар у Андрея не было, цена зависела от того, понравился или нет Тимченову покупатель. Некоторым он книжки просто дарил.

Как-то Андрей приволок в свою будку котенка, сдыхающего на помойке. Выходил, выкормил, к себе в шевелюру («ему там теплее и безопаснее») спать уложил. Большая часть вырученных с книг капиталов шла теперь на домашнее животное. Когда мы спрашивали, что, де, тебе, Андрей, из продуктов купить, он отмахивался: «А, ничего мне не надо, рыбки бы вот для кошечки...». Тимченов мог сидеть неделю голодным, но для котенка каждый день «излаживал» свежую рыбу — если не покупал, так доставал через своих «поделльников», высматривающих, что на Центральном рынке плохо лежит.

Наблюдая сию трогательную любовь, я размякла и совершила однажды страшную глупость. Я привела Андрюшу к себе в гости. Мне хотелось немного отвлечь Тимченова от его воров, вытащить его хоть на часок в иные интерьеры (ведь уже



больше года он безвылазно сидит в своей конуре), нормально покормить, душевно поговорить.

Мы действительно душевно говорили и нормально ели-пили, но вот прошел намеченный часок, затем прошел второй, и третий... Смеркалось. «Андрей, тебе пора домой». Никакой реакции. Прошел четвертый часок, наклеивался пятый.

— Все, Андрей, до свидания! Тебе пора идти.

— Почему? Мне здесь нравится...

Андрей раздевается до пояса и ложится на кухонный пол: «Я никуда не пойду!» Я пытаюсь образумить Тимченко, потом — силой оторвать от пола. Но он весит ровно центнер — куда там! В кухню заходит моя сестра:

— Эээ... А что это?

— Линолеум у вас скверно положен, — говорит Андрей. — Ну, ничего, я потом излажу как надо. Я же остаюсь тут жить.

Закат солнца вручную, как сказала бы наш бухгалтер. Я впадаю в тихую истерику оттого, что сестра моя и ТимченOV впадают в истерику буйную. Я забиваюсь в уголок и пытаюсь оттуда утишить происходящие в моей кухне страсти. Но ситуация неуправляема. Вот Тимченко сидит, по прежнему топлес, за столом и, юродствуя, объясняет сестре, что такое поэзия, а она ревет в три ручья и стонет: «Уходите, прошу вас!». Вот Тимченко снова лежит на полу и пытается, как последний аргумент, снять еще и штаны. Вот сестра моя обстреливает Тимченко яблоками и апельсинами, а он орет про свою гениальность. Вот Тимченко берет со стола тарелку и разбивает ее вдребезги, а сестра набирает «02».

Милиция приехала только после четвертого звонка («Меня бы уже могли убить, расчленить и успешно утилизировать», — трясла кулаками сестра), когда начало светать и когда противники утомились настолько, что ничего кроме как завалиться спать не желали.

«Тебе будет стыдно потом, когда ты поймешь, какого поэта сдала в ментовку!», — крикнул сестре Андрей, сообразив, наконец, что все по-серьезному.

Молоденький милиционер жутко веселился:

— И он кто, поэт, говорите? И что, хороший поэт?

— На сегодняшний день я вообще единственный поэт в России!

— Ха-ха-ха, ой, как нам повезло! Ну, пошли, поэт! Эй, не забудь свой свитер, поэт!

Я отвела милиционера в сторону:

— Вы, конечно, понимаете, что это так, недоразумение. Вы уж помягче с ним...

— Да мы его в элитную камеру заселим! Ха-ха-ха! Да в милиции, знаете, как поэтов уважают?! Да как пред поэзией благо... ха-ха... говеют?

Я ждала. Милиционерчик отхохотался, утер слезы и сказал, наконец, серьезно:

— Не волнуйтесь. Он отоспится, да отпустим его.

На следующий день я отправилась в куб с пакетом продуктов — виниться в полной своей непригодности к попечительской деятельности. Андрей, опустив глаза и что-то лепеча, протянул мне очередную розу красную. С сестрой они после той жуткой ночи почти подружились, ну, по крайней мере, стали тепло отзываться друг о друге. Тем и закончилась эта постыдная для нас обоих история, но не закончилось тимченOVское проникновение в мою семью.

Андрей надумал продавать сахар. Меня не было тогда в городе. Тимченко каким-то образом достал телефон моего папы и предложил ему «взаимовыгодную сделку». Два мешка сахара всего за 600 рэ! Да-да, такая смехотворная цена исключительно «из уважения к вашей дочери Марине». Надо скорее подъехать к нему в будку и «обстричь дельце». Почему мой отец на все это купился — не понимаю. Почему он затем согласился выложить вперед деньги и вести какого-то тимченOVского подельника на какой-то оптовый рынок якобы за этими самыми мешками сахара? Нет, все-таки Тимченко был чертовски талантливым человеком!

Эта последняя выходка Андрея — уже ни в какие ворота, постановили мы с Людой и стали бойкотировать ТимченOVA. Он, впрочем, сам ходил пристыженный, а спустя пару дней принес-таки 600 рублей вкуче с извинениями. После всей этой истории мой папа и Андрюша стали, по традиции, тепло отзываться друг о друге.

Мое же отношение к Тимченко становилось все холоднее и холоднее. Я, право, устала от своего неисправимого «подопечного». Стихи Андрей давно уже не писал, а если и показывал мне тексты, то они были столь чудовищны, что набирать их я отказывалась. Теперь Андрей совсем не утруждал себя ни мыслью, ни эмоцией, ни образностью, ни связанностью, ни понятностью и т. д. А зачем? Ведь что он ни скажет — все заведомо будет шедевром.

ВРОДЕ КАК ЭПИЛОГ

В сентябре 2006-го из Москвы пришла весть о смерти Анатолия Кобенкова. Андрей впал в черный бездонный запой. Оттуда он не смог отлучиться даже тогда, когда наступило и мое время собирать чемоданы. Так и распрощались: в полубреду, в полувяи.

О том, как существовал Тимченев последние отмеренные ему полгода, могу догадываться лишь по редким письмам союзовского бухгалтера. «Маринка, высылай стекло в куб, мерзнет твой кукушонок без второго стекла». «Тимченев поэму не написал, но трубку радиотелефона, которую прихватизировал, вернул, был прощен, но в наказание куба своего чуть не лишился и был перевезен на место мусорного бака». «Кукушонок натаскал в диван в библиотечке своих насекомых. Все, кто сидел на диване, заразу эту подхватили. Вызывали санэпидемстанцию, морить тимченевских вшей». И, наконец: «Вынуждены с прискорбием сообщить, что 25 февраля скончался Тимченко. Обстоятельства пока невняты... Если в твоих дисках есть хорошая фотография Андрея, пошли, пожалуйста»...

Перебирая тимченевские фотографии, я сидела и вспоминала его, своего «горе-подопечного». Причем вспоминала не хуже и не лучше, не язвительнее и не наивнее, не жестче и не слезно-лиричнее, а вот именно так, как только что и было рассказано.

Андрюша не был гением, как казалось ему самому. Но он не был и бездарем, как хотелось думать некоторым милиционерам, литераторам и — порою — мне. Это, опять же, не значит, что он прозябал где-то в середке, подобно большинству сегодняшних стихотворцев (разговор о каждом из которых принято начинать: «Что ж, человек он не бесталаный...»). Нет, Тимченев все-таки был рыбой особой («рыбой крупночешуйчатой», сказал как-то А.К., подразумевая, конечно, посыл тимченевских текстов). У него были дар и возможность острее прочих чувствовать бессмысленность и зло существования. И были способности (не говорю — «мастерство») выговариваться о своей боли.



ТАЙНА ГРИГОРИЯ ФЕДОСЕЕВА И ЕГО «ПОСЛЕДНИЙ КОСТЕР»*

Литературно-историческая хроника

ХШ.

В конце февраля 1920 года прибывает в Карачай с женою Верой Владимировной недавний начальник 2-й Кубанской белоказачьей дивизии генерал-майор Михаил Архипович Фостиков. Израненный, перенёсший повторную контузию... С юной гимназисткой Верой, сестрой милосердия, он познакомился в Ставрополе, в госпитале. Влюбился с первого взгляда. И с той поры не расставался с нею. Она делила с ним все невзгоды полевой жизни.

Мать генерала была родом из нашей станицы. Перед отъездом из Армавира он перевёз свою многочисленную семью в Лабинскую — родителей, бабушку и сестру Александру Архиповну Орлову с шестью детьми. Лабинскую захватили красные. Сестре с детьми удалось приютиться в Пашинке, где жили родственники Фостиковых, а старая мать пешком, под видом нищенки, пришла на Кардоник. Ей в землянку носила еду Февронья Ильинична, моя бабушка.

Михаил Архипович решил вновь собрать воинов, объединить повстанческие разрозненные отряды в армию и соединить её с войсками Врангеля. Скрываясь в Преображенском монастыре, на реке Теберда, постоянно блуждая в ущельях по карачаевским, черкесским и абазинским аулам, по затерянным хуторам, он связывается с казаками Баталпашинского и Лабинского отделов, с повстанцами терских станиц. Объявив сполох, в письмах призывает офицеров и казаков вступать в «Армию возрождения России». За короткий срок вновь формируются 1-й Хопёрский и 1-й Лабинский полки, Терский отряд и 6-й Кубанский пластунский батальон.

14 июня в Кардоникской создается постоянный пост штаба восстания, а в ущелье Аксаута, в селе Хасаут-Греческом, тыловой пункт и лазарет. В верховья речки Кардоник прибывают вооруженные группы и отряды из станиц Баталпашинской, Бекешевской, Боргустанской, Беломечётской, Усть-Джегутинской, Кисловодской, из Пятигорска, Эссентуков и других мест. Фактически весь горный район, от Лабы и Урупа, включая Зеленчукскую, Исправную, Сторожевую и Преградную, вплоть до перевалов Абхазии, оказывается под контролем восставших.

Начальником гарнизона штабной станицы генерал Фостиков назначает Павла Маслова, теперь уже войскового старшину. Под его непосредственным подчинением — сотня конницы в 150 шашек и сотня пластунов в двести штыков. Первые помощники у Маслова: Яков Нагубный, Алексей Товченко, Терентий Швыдченко, Борис Бабенко [1], Фирс Гордиенко, Андрей Подолянский, бывший комиссар станицы Иван Волгов. К ним примыкают офицеры Яков Марченко и Семён Плотников.

...И тут в нашем станичном юрте случилось небывалое. Пополудни возле сельца Лысогорки невинно плескалась в ручье глухонемая, кровь с молоком, отроковица. Трое незнакомых мужчин схватили ее, изнасиловали и бросили растелешенной в кустах калины. Следом за этим надругательством другое злодейство. Налетевшие в полночь всадники в бараньих папах с гиками и стрельбой дотла спалили Лысогорку. Еще при Столыпине взбралась она выше Иванова выгрева и села Хасаут-Грече-

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни» № 1, 2013.



ского, вплотную к Лысым горам и снежным перевалам. Там, среди лесистых балок и цветущих лугов, поселились работающие мужики. Обзавелись наделами, отстроили сорок дворов и, занявшись скотоводством, зажили вольно. Никто их на отшибе, в глухомани не притеснял — ни власть, ни казаки. И вот в огне сгорели постройки, всё нажитое добро. Погибли мужчины, женщины, дети. Спаслось несколько человек: старик Стрельников, сыновья убитого Прокофия Пупкова Иван и Петро, раздетыми прибежавшие в станицу, да свёкор моей родной тётки Харитины Иван Стасевский. Станичники вспомнили: недавно Фостиков проводил в Лысогорке офицерское совещание. Подозрение легло на красных, на казаков ставропольских станиц, горцев с дальних кошов...

На пепелище прискакал Федосеев. С болью глядя на тлеющие останки жилья, сказал: «Провокация. Гадать не будем, кто её устроил. Большевики... может, Покровский, кто-то еще... Потребуется свидетели, серьезные доказательства».

(Доказательств не нашлось. Лысогорка давно сравнялась с землёй. Нет её больше, и не для кого искать правду в непролазном бурьяне, в одичалых кустах тёрна и сирени, в зарослях крапивы... Вспоминаю: в советской печати красочно рисовались «героические подвиги» так называемого «корпуса червоного казачества» комбрига В. М. Примакова. В этом интернациональном корпусе, образованном из латышей, русских, китайцев, румын и пр., особо отличился кавалерийский полк латышей, переодетых в форму белых. Обманом красные латыши нещадно рубили казаков, чинили погромы в станицах и хуторах, возбуждая ненависть населения против белых. И сейчас я спрашиваю безответное небо: не эти ли провокаторы или их прилежные ученики уничтожили мирную Лысогорку? Наши старики рассказывали, что в ряде кубанских станиц неожиданно появлялся на вороном коне батько Шкуро со своими конвойцами. Они устраивали дикую резню, но после выяснялось: батько в это время воевал в других местах, это были не конвойцы и не Шкуро, а подставной, похожий на него бандит.

Большевики имели богатейший опыт провокаций, еще с дореволюционного подполья. В сравнении с ними казаки были наивные люди, если прямо сказать — мальчишки для битвы, «навоз» Гражданской войны.)

XIV.

Девятого июля 306-й стрелковый полк 34-й советской дивизии выдвинулся на речку Кардоник. На взгорьях цвели подсолнухи. В раскрытые оранжевые шапки, источавшие терпко-сладкий дух, ненасытно впились пчёлы и шмели. В тёплых заливчиках, у водопада Шумки, нежились усачи с форелью, резвыми стайками шныряли пескари да скользящие, юркие рыбки — гузюли. С гор, с блескучих ледников веяло снеговой прохладой, заповедной, вязкой тишиной. Солнце еще не собиралось уходить на покой, рассеивало на буграх сети золотистых лучей. И вдруг хлопнули винтовочные выстрелы, застрекотали пулеметы. Прячась по-за кустами и в осыпях, цепи наступающих перебежали вверх, а затем стали скатываться вниз, но тут сбоку, с гребней западных и восточных рыжеватых бугров, через впадины, на них налетели ураганом конные эскадроны. Обратившись в бегство, стрелки оставляли где попало всё лишнее — винтовки с отомкнутыми штыками, пулеметы, хохлацкие капелюхи, будёновки...

Бой продолжался дотемна. Южная ночь, быстро опустившись над буграми, уберегла красных от полного разгрома. Потеряв свыше ста человек убитыми и одиннадцать пулемётов, они укрывшись в синих тенях Дженгура и через Красногорскую отступили к Усть-Джегутинской. В этот день Фостиков записал в дневнике: «Мои потери насчитывали 6 казаков убитых и 8 раненых (убит подьесаул Федосеев — лихой и разбитной казак)».

Не стало Петра. Это была непоправимая утрата Григория Федосеева.

Узнав об очередном поражении своих войск, как свидетельствует хроника дальнейших военных действий, большевики срочно перебрасывают в Баталпашинскую штаб 12-й Кавказской дивизии с тремя полками. Одновременно с железнодорожной станции Невинномысской готовятся к броску на Кардоник курсанты Майкопского училища и 304-й пехотный полк с шестью орудиями. В Невинномысской со дня на день ожидается прибытие штаба 9-й советской армии.

Повстанческая армия Фостикова уже насчитывает тысячи вооруженных казаков, в неё вливаются свежие подкрепления. В районе Теберды, села Георгиево-Осетиновское, станиц Красногорской и Кардоникской формируется под командой князя Крым-Шамхалова горский отряд в 400 штыков. К нему присоединяется с отрядом в



сто сабель полковник Николай Васильев. (*Уроженец станицы Отрадной, в Первую мировую он заслужил полный бант Георгиевских крестов. Император Николай II подарил ему лично чистокровного скакуна с седлом.*) Из-под Майкопа прибывают кабардинские всадники; у Хумары, в Аксаутском и Марухском ущельях действуют отряды есаула Горленко, ротмистра Андреева, офицеров Михаила Хурумова, Попова и Серебрякова. На Уруп объявляются «зелёные» (ни за красных, ни за белых) во главе с Рябоконем и Михаилом Мироненко.

Красные всполошились. Метались в страхе. Несколько раз они вывозили из Баталпашинской свои учреждения и семьи коммунистов. Когда возвращались обратно на площадь, по домам не расходились, не снимали с поводков вещи и документы. Запах дёгтя, овчин, грязного белья, дыма и сваренной в котлах кукурузной каши мешался с вонью испражнений.

Пятнадцатого июля с высот Дженгура Кардоникская подвергается массированному пушечному обстрелу. Горят дома, гибнут люди. Вокруг пепелищ бродят дети и женщины... Под прикрытием сплошного огня, волна за волной, бросаются вперёд конные лавы и взявшиеся невесть откуда пешие дьяволы — красноармейцы в островерхих шлемах и хмельные матросы в тельняшках. Фостиков принимает решение лобовой и фланговой контратакой слева, с Гострого кургана, остановить и опрокинуть матросню и будёновцев, погнать их скопом на Красногорскую...

Манёвр удался: красные с большими потерями отошли за Дженгур, где-то затаились под кручами в ущелье Кубани.

Бои ведутся в трёх направлениях: через Зеленчукскую в сторону Урупа и Лабы и через Кардоникскую — на Красногорскую и Усть-Джегутинскую, на аулы Атлескировский и Касаевский.

Ежедневно в Кардоникскую на арбах и бричках привозят мёртвых казаков — по трое-четверо, иногда по двенадцать и больше человек. Молодые казачата (малолетки) не успевают штыковыми лопатами рыть могилы. От жары земля затвердела, взялась сверху костяной коркой. Священник Макар Белогудов и дяк Егор Каменобродский отпевали убиенных.

Внимая батюшке, Февронья Ильинична молилась за старшего сына Григория, который ушёл с волчьей сотней конвоя батьки Шкуро и теперь, по слухам, где-то воевал в Крыму. (*Григорий ещё появится в Кардоникской и пристанет к отряду Нагубного.*) Молилась и за младших сыновей Ивана и Гришу, и за своего брата Лукашёва, и за всех живых станичников. Выплакавшая все слёзы, Клавдия Васильевна Гузанкина молча поддерживала Февронью Ильиничну под локоть. Концом платка Февронья Ильинична часто вытирала глаза, но они были сухие. С блёклым лицом, застывшим в одном безграничном страдании, она глядела на мертвых неотрывно — так, будто хотела лечь с ними рядом.

Тем временем, в конце июля, одна из бригад Фостикова скрытно подошла к левому берегу Кубани, напротив станицы Беломечётской. На рассвете казаки сбросили с моста осоловелый караул и, перейдя на ту сторону, заняли станицу. Между тем верхнекубанские повстанцы покидают Хасаут-Греческое, биваки на Кардонике и в Широкой балке. Основные действия переносятся на Уруп, в станицы Надёжную, Передовую, Вознесенскую и Зассовскую, на территорию Ставропольской губернии.

Оставшиеся в Кардоникской казаки, лишившись надёжного прикрытия, с семьями, скотом и домашним скарбом хоронятся в лесах. Красные без боя занимают станицу и объявляют о подавлении «гнезда контрреволюции». Но тут их застаёт ошеломительное известие о разгроме своих войск в Беломечётской. В отместку они расстреливают пленных, поджигают дома и спешно отходят к Баталпашинской.

Девятого августа 1920 года особоуполномоченный Революционного Военного Совета 9-й Армии и член ревкома Баталпашинского отдела Черемухин в приказе-воззвании № 2 постановляет станицу Кардоникскую *уничтожить*. Он призывает население отдела «не давать приюта кайнам советской власти — кардоничанам» и требует от жителей села Георгиево-Осетинское выдать «всех белогвардейцев, и явных, и скрытых врагов советской власти».

Со своим грозным воззванием Черемухин с сотней красноармейцев отправляется в Карачай пополнить отряд горскими всадниками и вместе с ними учинить показательную расправу над казаками и осетинами. Особоуполномоченный обещает за содействие отдать кардоникские юртовые земли. Карачаевские старшины мрачно выслушали и отвергли предложение провокатора: «Знай, начальник: ничего нет дороже законов куначества. Мы с кардоничанами кунаки...»

В ущелье Кубани отряд Черемухина был окружен и разгромлен, но уполномоченному удалось бежать.



Из штаба 9-й армии 10 августа в Екатеринодар отсылается телеграфное донесение за подписью Машкина: «...7 августа в связи с налетом противника и создавшейся угрозой Баталпашинской... перед отходом полков из Кардоникской эта станица была уничтожена».

Неизвестный Машкин, не сомневаясь в успехе операции Черёмухина, поторопился сообщить об уничтожении мятежной станицы. Вернувшееся население затушило подожженные хаты под соломенными крышами. Войсковой старшина Маслов вновь формирует гарнизон, комендантом станицы назначает Якова Нагубного. С ними неотлучно находится хорунжий Григорий Федосеев.

Наивные кардоничане не могли и предположить, что за их восстанием пристально следит из Кремля вождь мирового пролетариата В. И. Ленин. В телеграмме от 9 сентября 1920 года на имя Г. К. Орджоникидзе он рассудительно наставляет: «Быстрейшая и полная ликвидация всех банд и остатков белогвардейщины на Кавказе и Кубани — дело абсолютной государственной важности. Осведомляйте меня чаще и точнее о положении дела».

Его послушно «осведомляли». Вожди и их приспешники разрабатывали стратегические планы в кабинетах, в потайных особняках, чины помельче претворяли идеи в практику, а люди и целые народы умывались кровью. В Кисловодске вблизи железнодорожного вокзала поселился неприметный человек в мятом картузе, с манерами обходительного лакея, — Александр Трофимович Стопани, близкий друг и соратник Ленина, глаза и уши его. Под видом профсоюзного работника, защитника интересов «обездоленных трудящихся» он зорко следил за событиями на Северном Кавказе и за восстанием верхнекубанских казаков, тайно наставлял своих и слал донесения в Кремль. Знать бы, что он сообщал Ленину о Кардоникской, но телефонные разговоры к делу не пришьешь, а шифровки или уничтожены, или хранятся в недоступных архивах.

Александр Трофимович обладал недурным вкусом: реквизированный особнячок он облюбовал приличный, с просторной залой, многочисленными комнатами и подвалами, с лоджией на третьем этаже, искусно скрытой от посторонних глаз. Выходя на лоджию, борец за народное счастье с удовольствием дышал целебным воздухом и смотрел на соседний дом, в котором с июля 1917-го и по декабрь 1919 года квартировала прима-балерина Императорского балета Матильда Кшесинская. Он упивался мыслью, что сравнился с нею... нет, стал выше её, ибо она, как и другие «бывшие», была в полной власти Ильича, но не знала об этом. Кшесинская пыталась уберечь на тихой улице себя и своего сына, рожденного от двоюродного брата царя великого князя Андрея Владимировича Романова. Пусть Матильда благодарит судьбу, что ей позволили выбраться отсюда. Все-таки знаменитость... А вот казаки Фостикова и Маслова, злейшие враги пролетариата и советской власти, заведомо обречены. На этот счет у Александра Трофимовича не было и тени сомнения. Он сам был вершитель судеб.

Лес рубят — щепки летят. Стопани полагал: в жестокой борьбе своих и чужих освобождается на земле пространство для лучших, сознательных граждан. Прополка человечества, в особенности казачества, весьма полезна. И что с того, что под огненную колесницу истории угодил и незадачливый Черёмухин. Это хорошо. Наглядный пример коммунистической справедливости... За «трусость, паникерство и провокацию» Черёмухин был осужден ревтрибуналом и тотчас расстрелян.

XV.

В Беломечётской генерал Фостиков испытал невыразимую боль: враги расстреляли сестру Александру Архиповну с шестью детьми, бабушку и отца, ещё нескольких родственников. Михаил Архипович записал в дневнике: «Этот гнусный и невиданный до тех пор террор и зверство над моими родными зажали у меня такую бешеную месть, что я поклялся перед Богом в будущем не пощадить ни одного коммуниста».

В тот день было изрублено двести коммунистов из эскадрона 9-й армии, которые не успели скрыться на лошадях и тачанках.

Стремясь выйти на оперативный простор и овладеть направлением на Лабинскую, Майкоп и Армавир, чтобы прорваться к Черноморскому побережью и соединиться с предполагаемыми десантными частями Врангеля, Фостиков переводит тыл армии в станицу Псебайскую. В первых числах августа его войска занимают Вознесенскую, Каладжинскую и Зассовскую. Но к Армавиру уже спешно перебрасываются эшелоны 14-й советской дивизии, а в Майкопе и на Армавирско-Туапсинской железной дороге сосредоточиваются три пехотных и два конных полка красных. Они



встревожены тем, что 4-й Хопёрский полк и 12-й пластунский батальон, в котором немало кардоникских и зеленчукских казаков, вытеснили из Баталпашинской остатки их войск и, развивая успех в двух направлениях, снова освободили Суворовскую и Воровсколескую.

Над повстанцами стелется пыль, смешанная с седым пеплом. В некогда цветущих станицах Бекешевской и Боргустанской чадят головешки. Изуродованные тела женщин и младенцев, обугленные трубы куреней, взорванные храмы, зияя темными провалами, немо взывают к отмщению...

Получив подкрепление со станции Невинномысской, красные снова врываются в Баталпашинскую, чинят в ней расправы. Федосеев узнаёт, что на окраинах Баталпашинской, Бекешевской и Суворовской во рвах приняли мученическую смерть сотни женщин, стариков и детей. Маслов с группой казаков спешно уходит на территорию Лабинского отдела, к Фостикову, перекрывшему ущелья рек Большой и Малой Лабы. Теперь Михаил Архипович решает пробиться напрямик к Черноморскому побережью — к Адлеру и Сочи. В случае неудачи можно будет совершить манёвр и через перевалы выйти к морским портам Сухуми и Гаграм... Он ещё надеется на помощь десанта генерала Улагая, который должен был высадиться на побережье, доставить оружие и оказать поддержку в занятии Туапсе. Но, как выяснится, плохо подготовленный десант завяз в попутных боях.

У армии Фостикова кончаются боеприпасы и продовольствие, лазареты переполнены ранеными. А тут ещё поступило донесение от майкопской группировки: казаки разбегаются, сдержать фронт невозможно. Пользуясь отчаянным положением повстанцев, советские войска усиливают натиск: в наступлении не жалеют патронов, с аэропланов бомбят колонны войск. На отдельных участках бросаются в атаку бронев автомобили. В листовках Фостикову предлагают выгодные для него условия сдачи, но он приказывает полковнику Демьяненко подняться в верховья Малой Лабы и через перевал Аншха захватить город Романовск.

Авангард двинулся по непроходимым тропам, за ним пешком и на подводах потянулись раненые бойцы и жители, гнавшие домашний скот. На перевале, увенчанном ледниками, нудно моросил обложной дождь, одежда промокла до нитки. Дорога оборвалась, пришлось у голых, ознобных скал разобрать всю артиллерию (напрасно с нею мучились) и сбросить в пропасть. Негодные пулемёты тоже полетели в бездну.

В наплывшем молочном тумане почти вслепую спустились в урочище Умпырь. Многие казаки из ближних станиц невидимо рассеялись, и 30 августа 1920 года Михаил Архипович записал: «Уже на Умпыре я не препятствовал казакам уходить, так как знал, что дома они не усидят, а значит, все время будут вести борьбу с большевиками. Для сохранения группы “зелёных” в районе станицы Кардоникской я отпустил всех казаков этой станицы (около 100 человек) с хорунжим Федосеевым, с которым послал ориентировку и указание группе в Баталпашинском отделе расходиться и приостановить военные действия».

На побережье Фостиков узнал, что высланная из Крыма эскадра попала в шторм. Лишь спустя пять дней к Гаграм подошёл флот из шести судов. Похудевший, измотанный генерал сел с женою в лодку и отплыл на корабль «Дон» договариваться по рации с Врангелем о дальнейших деталях своей одиссеи. Михаил Архипович предпринял неимоверные усилия, чтобы не отдать казаков и их семьи в руки большевиков и грузинских националистов. В темноте транспортные суда «Ялта», «Крым» и «Дон» в сопровождении медлительного болиндера, окованного броневыми листами, неслышно приблизились к берегу на свет сигнального костра. После изматывающих, нервных переговоров с Тифлисом, спорадических перестрелок с береговой охраной удалось погрузить пять тысяч казаков, вместе с остатками улагаевского десанта. Наконец под защитой крейсера «Алмаз» и двух подводных лодок отплыли в море.

Восьмого октября 1920 года последний рыцарь казачьего сопротивления на Кубани прибыл с войсками в Феодосию. Отмечая заслуги Фостикова, генерал Врангель наградил его орденом Святого Николая Чудотворца 2-й степени и вручил ему приказ о производстве в чин генерал-лейтенанта.

О Михаиле Архиповиче ещё долго говорили в верхнекубанских станицах. Партизан Яков Нагубный ободрял казаков: «В Крыму Фостиков соберет несметные силы, утопит в море супостатов и станет верховным правителем Горской республики, Кубани и всего Кавказа. Помощниками у него будут Маслов и Крым-Шамхалов».

Казаки отводили глаза, внимая проникновенным словам Якова Демьяновича. На родину Фостиков так и не вернулся [2].

XVI.

В конце 60-х частенько навещал меня в Черкесске, в редакции областной газеты, а в 70—80-е годы регулярно присылал мне в Орел и Москву письма с краеведческим уклоном Фёдор Алексеевич Таланов. С ним меня познакомил Федор Петрович Воронкин. Будучи всеядным исследователем, Таланов тоже интересовался судьбой Федосеева и наших станичников. В прошлом активный селькор газеты «Красный Карачай», в годы Великой Отечественной войны кавалерист-орденоносец 3-го Гвардейского Краснознаменного корпуса, гвардии майор в отставке, Таланов был оригинал, самородок, довольно экзотическая личность. Носил он кубанку с красным верхком, из-под которой буйным коком выбивался посеребрённый чуб, и щегольские растопыренные галифе с бордовыми кантами. За ухом у него обычно торчал карандаш, а в кожаной командирской сумке, предназначенной для документов и секретных донесений, теперь хранились подробно записанные им автобиографии ветеранов.

Отец Таланова, Алексей Иванович, родом из Кардоникской, до революции управлял должность писаря в высокогорном карачаевском ауле Картджурт (где и родился Фёдор Алексеевич). В подполье Таланов-старший «занимался вопросами текущей политики большевистской партии по свержению эксплуататорских классов». Зная в совершенстве местные языки, в Гражданскую войну он жил в черкесском ауле Касаевском. Как отмечает наш летописец, к его отцу наведывались из Кардоникской и подолгу гостили «революционно настроенные соратники: Андрей Кондратьевич и Григорий Григорьевич Быковские, Кирей Трофимович Орлов и Сергей Васильевич Дорохов. Их вдохновителями были руководитель отдела Баталпашинского ОГПУ Петр Исидорович Нигроров и Сергей Зиновьевич Половинин».

Ударная группа, по словам Федора Алексеевича, «превосходно показала себя в 1920 году в операции по выманиванию кардоникских банд из леса, то есть большинства дееспособного населения станицы. “Бандитов надо обезвредить любыми средствами”, — отдал приказ начальник политбюро ГПУ тов. Осмолов, — повествовал Таланов в письме ко мне. — Посоветовавшись с товарищами, Дорохов послал в лес, в логово кулачья, парламентёров. Старшим назначили Половинина. Безотказный Сергей Зиновьевич (вот голова!) выдвинул условие: обязательно вызвать на переговоры Григория Федосеева, который скрывался в банде с зелёными. Но для этого нужно было установить с ним связь».

К письму Фёдор Алексеевич приложил переписанные его рукой воспоминания сестры Дорохова, Ксении Васильевны, которой и поручено было встретиться с Федосеевым.

«Осенью 1920 г. я прибыла из станицы Баталпашинской в Кардоник в гости к маме, — писала Ксения Васильевна. — Мой брат Сергей просит меня: “Аксюта, помоги нам разведать в лесах гнезда банды, ты ведь хорошо знаешь балки и горы. Постарайся встретиться там с нашим соседом Гришкой Федосеевым-Гузанкиным. Он может крепко помочь нам”. Я была беременна, но согласилась. Вместе с хромым дедушкой Ольховым поехала на быках ночью вдоль реки Кардоник в сторону леса. От местечка Шумка, где водопад, вправо отлегала балка Ольховая, там стояла хата Ольхова. К утру я была в этой балке, спряталась в сложенных крестцами коноплях. Вижу: к хате подъезжает верховой — сосед моей мамы Иван Прохорович Волгов, видный из себя казак, при Керенском он был комиссаром нашего Совета.

- Ну как там Дорохов поживает? — интересуется Волгов у дедушки.
- Дорохов просит, чтобы вы вернулись домой, к мирной жизни.
- Мы бы давно вернулись, да боимся верёвки.
- А вы не бойтесь. Всем будет прощение.

В конце разговора дедушка Ольхов передал просьбу моего брата, чтобы Федосеев прибыл к условленному месту — стогу сена в районе Тёмных чинарей. Волгов пообещал это устроить.

На другой день, примерно часов в десять, подошла я к стогу, и через минут пятнадцать показался хорунжий Федосеев в кубанке, без ружья. Идёт, плетью сбивает засохшие головки татарника. Сердце у меня так и ёкнуло.

Дядя Григорий оставался загадкой. Он пользовался доверием у красных и у белых. Чем-то притягивал к себе людей. Дружил с моим братом, и я терялась: за кого он — за советскую власть или за бандитов? Умудряется поддерживать отношения с Нагубным, Нигроровым и Половининым. Однажды я спросила брата, почему у Гришки такая привилегия, никто его не трогает. Сергей ответил: “Это, Аксюта, не





твоего ума дело. Гришка философ, мечтатель, умно сочиняет документы. Он зелёный, хочет примирить враждующие стороны. Сосёт, как смиренный телё, двух маток... Один у него недостаток: не понимает существа классовой борьбы”.

До моего замужества Григорий мне нравился: симпатичен, вежлив, много читает. С ним интересно было разговаривать на разные темы. Но мать мне сказала: “Не вяжись с волчонком. Всё равно у него свое на уме. Офицерский сынок”. И я стала бояться его ума и задумчивых глаз. Правда, он какой-то весь в себе.

Шагает навстречу Григорий, а у меня душа в пятках. Дрожу как осиновый листок... Набралась духу и говорю ему: “Ты же видишь, Гриша: сопротивление обречено. Не дурите. Ревком передает: вылезайте из нор и возвращайтесь в станицу”. — “Аксюта, а какая гарантия, что нас не повесят? — спрашивает Григорий и загадочно усмехается. — Кто из вас уполномочен поручиться за жизнь станичников? Ты?” — “Не я, Гриша, а справедливая советская власть. Жизнь вам гарантируют лично Пётр Исидорович и мой брат. Тебе этого достаточно?” Федосеев заволновался, долго о чём-то думал и, наконец, заверил меня, что он передаст просьбу Сергея Васильевича жителям станицы.

После нашего свидания я отправилась ночевать не к старику Ольхову, а к Троцкому Ивану, жившему в глухой Ивановой балке. Продиралась напрямки через кусты обильно уродившего сизого тёрна, все ноги ободрала. Когда шла, по мне издали быстрее убраться отсюда. В это время, на мое счастье, проезжал мимо на подводе с дровами Горшков, с ним я и добралась домой.

После в переговорах участвовали Половинин, Дорохов, Орлов, Волгов и Федосеев. И главари банды добровольно сложили оружие», — завершила свои воспоминания К. В. Дорохова.

XVII.

Прежний уговор и реабилитационные справки не помогли вышедшим из леса. Одного за другим «бандитов» спровадили в тюрьму, в неизвестные места, и казаки бесследно сгинули. Будто зверей, отлавливали их в балках и ущельях, в заросших бурьяном проульках. Арестовали Якова Марченко, Фёдора Колесникова, Василя Шаталова, брата Нагубного — Игната... Дольше других гулял на воле Павло Титаренко. По ночам, когда его не ждали, он приходил домой — помыться, сменить бельё, набрать в торока порохи и харчей. Спать в хате не ложился, укладывался в сарае, на потолке. Сотрудники чека его выследили и на утренней зорьке обложили двор. Павло продрал дырку в потемнелой соломенной крыше, вылез наружу и прыгнул вниз. Как журавля, его подстрелили на лету...

Желая sobлюсти беспристрастность летописца, Фёдор Алексеич не преминул заметить, что «бандитам сочувствовало почти всё население» и обратил внимание потомков на столь многозначительный факт: «После успешной операции по вылавливанию банды руководителя станичного ревкома Дорохова назначили председателем Зеленчукского ревкома, повысили и других смелых товарищей».

19 сентября 1937 года Дорохова сильно напугали свои же: он был посажен в одиночку, поучительно избит и лишь после войны реабилитирован. В 1951 году отважного чекиста снова бросили за решётку. Вышел на свободу Сергей Васильевич философски-задумчивым. Он утратил былую самоуверенность и прыткость, отчётливость классовых позиций и неприметно доживал свои дни в посёлке Свобода под Пятигорском. Удалившись от дел, выращивал на своём участке яркие пунцовые и жёлтые тюльпаны, молоденькие, с пупырышками огурцы, разводил красную смородину и особого сорта крыжовник. В июле 1971 года, выпив рюмку коньяка с неугомонным Талановым, затворник согласился продиктовать ему свои воспоминания. Наверное, старику захотелось кое в чём оправдаться.

Вот что рассказал он Фёдору Алексеичу:

«С уходом генерала Хвостикова (*так в тексте*) появился в станице 306-й пехотный полк. После непродолжительного боя с бандой Нагубного красногвардейцы подожгли 150 домов. Был приказ — уничтожить станицу, но я обратился с просьбой к командованию о прекращении поджогов бедняцко-средняцких хат, крытых соломой, так как дома богачей под железом и цинком плохо поддавались огню. Командование отдало распоряжение прекратить подпаливание. Так я спас Кардоникскую... В это время по станицам Баталпашинского отдела проезжал К. Е. Ворошилов. Он поинтересовался у меня, нет ли жалоб у населения на красноармейцев. “Нет ни одной жалобы, мёртвая тишина”, — ответил я. Ворошилов пожал мне руку и сказал: “Это первая образцовая станица на моём пути, где нет никаких жалоб”.



...Примерно в декабре 1920 года в Кардоникскую прибыл 304-й карательный пехотный полк и остановился в ней надолго, — продолжал свой рассказ Дорохов. — Из этого полка в село Хасаут-Греческое было направлено одно подразделение. Ночью на него из засады напала банда офицера Попова из Баталпашинской. Красноармейцев захватили врасплох, выводили поодиночке к реке, раздевали догола и заставляли танцевать на льду лезгинку и гопака. Во время танца головы несчастных срубали шашками... Один красноармеец вырвался из рук бандитов и голяком, изрубленным прибежал прямо ко мне на квартиру. Я жил тогда у дороги на Хасаут-Греческое и сразу же выехал с командой самообороны в село. Тела погибших мы собрали и похоронили на станичной площади в братской могиле.

Затем у нас расквартировали ещё один пехотный полк, и наступило окончательное замирение. Маслов исчез, я не помню, куда делась его семья» [3].

В 1921 году я получил донесение об убийстве белобандитами председателя ревкома станицы Сторожевой Белоусова. Инкогнито я выехал на расследование, и там мне подали отравленную кашу. Едва отходили меня врачи и привезли в Кардоник. Ничего я не ел, помню только, как мать и Федосеев отпаивали меня калмыцким чаем...»

XVIII.

До конца держался в Чёрных горах любимец Императора, полковник Николай Васильев. В 1922 году с остатком своего отряда, залечивая физические и душевные раны на Урупе, залег он в пещере на лесистой горе Баранихе. Красные поручили «народным вождям зелёных» — начальнику гарнизона станицы Преградной, георгиевскому кавалеру Михаилу Мироненко и его сподвижнику Ивану Купченко лично передать в руки Васильеву ультиматум штаба 9-й армии: немедленно сложить оружие в обмен на сохранение жизни.

«Ультиматум начинался с обращения: “Товарищи!” — рассказывал мне Михаил Дмитриевич, и в его голосе сквозила неизбывная печаль. — Николай Иванович, чисто выбритый, в парадной черкеске, с царским кинжалом, усыпанным бриллиантами, и в белой папахе, вышел из укрытия. Поприветствовал нас с подобающими церемониями. Я сказал ему, что воевал на германском фронте с его братом и однажды спас Савелия, за что получил второго Георгия. Теперь я назначен большевиками начальником гарнизона. Мы вам, говорю, от имени зелёных уже послали воззвание: “Даём вам помилование и отпускаем на все четыре стороны, только перестаньте булгачить население”. — “А-а, помню... читал! — сказал Васильев и протянул мне руку. — Урядник Мироненко?” — “Так точно, господин полковник! Старший урядник”. — “Ну да, да... старший. Вы были храбрый воин”. Николай Иванович пробежал глазами ультиматум, отошёл в сторону, промолвил: “Как же вы дошли до жизни такой? Потомственный казак, георгиевский кавалер... Не понимаю!” — “А вы?” — “Что я?.. Я присягал и умру, не изменив присяге...” — Николай Иванович медленно в ключья разорвал бумагу с печатями и сказал: “Передайте вашему начальству: мы им не товарищи, а господа офицеры, защитники Отечества. А они — подлые холуи, предатели. Пусть знают: русские офицеры не сдаются!”

На том и кончились наши переговоры. Я хотел спасти Васильева, но он выбрал смерть вместо плена. Такой был кремень-человек».

Спустя два часа, как вернулись парламентареры, гром орудий сотряс скалы. Обломки камней похоронили не сдавшихся казаков...

(Воспоминание об этом тяготило Михаила Дмитриевича. В марте 1930 года из Преградной отправили его в ссылку с семьей «на перевоспитание». В арзгирской неприютной степи осужденные выращивали хлопок. Жена и четверо детей Мироненко померли, двое ребятишек выжили. Через семнадцать лет Михаила Дмитриевича выпустили из спецпоселения, но он не вернулся домой — пришел в Зеленчукскую с другой женщиной, Марией Павловной. Она потеряла на хлопке весь свой род — мужа, детей, родственников, всего пятнадцать человек. Спасло и сохранило мучеников Божье провидение. Они родили Михаила, Бориса и двоих близнецов Павла и Петра. Моя сестра Таисия вышла замуж за Павла, у них две дочери и сын, есть внуки. Занимаясь пчеловодством и будучи глубоко религиозным человеком, Михаил Дмитриевич дождал до преклонных лет[4].)

...В июле 1923 года на кардоникских косогорах цвело-полыхало оранжевое пламя подсолнухов. И в эту благодатную пору арестовали Якова Нагубного. На тачанке его препроводили в Баталпашинскую, в каменную тюрьму над отвесной кручей. Продержав без еды трое суток в одиночной камере, хорунжего расстреляли. Жена Якова Демьяновича (сестра моей бабушки) в этот день в саду развешивала бельё и



услышала чей-то голос из-за плетня: «Настя, выручай мужа! Отвези в Пашинку миллион, Яшку спасут!» Одной рукой прижимая к груди младенца-сына, Настя обернулась — и упала, сражённая в висок пулей. Кто стрелял — не выяснено [5].

Можно представить себе состояние Григория Федосеева, когда начались аресты, ссылки, бессудные расстрелы казаков. Какие доводы мог он привести в своё оправдание? Не все же поверили, что он, как и другие казаки, стал жертвой подлого обмана. Чужая вина камнем легла на душу. Родная станица и Аксаут стали ему чужими, весь окружающий мир — враждебным. И он ушёл из Кардоникской, без всякой надежды, что когда-то земляки узнают правду... Позже Федосеев признается двоюродному брату Никифору Филипповичу Шведову: «Тогда я почувствовал себя лишним на земле, хотел застрелиться. Но пистолет дал осечку. И я понял, что надо жить, теперь не для себя, а ради других».

XIX.

Не однажды навещал я в Кардоникской Никифора Филипповича, его жену Дарью Михайловну и дочь Марию. В семидесятые годы Никифор Филиппович был ещё крепенький ясноглазый мужчина с пышными усами и серым чубом. Мать у него, по мужу Секлетина, из нашего рода, а Дарья Михайловна из богатого и знатного рода Гордиенко. Одна из моих тёток со стороны отца, Наталья Ивановна, была замужем за Матвеем Гордиенко. У нас, казаков, родни было пруд пруди, не успеешь шагу ступить — обязательно наткнёшься на родственника. Рассеялись, *избыли*.

Дом у Шведовых был крепкий, с голубыми ставнями, крытый оцинкованной жестью. Отдельно стояла кухня с окнами во двор и на улицу. Утки и гуси расхаживали по траве у забора; поросята визжали в дощатом закуте, и пёс Шарик, чёрный, как уголь, пристально глядел на меня, размышляя, кого это нелегкая занесла к ним. Шведовы всегда, при любых передрягах, славились хозяйской основательностью.

Как-то я заглянул к ним в надежде хоть что-то узнать о тетради Федосеева. Никифор Филиппович крестился и божился: говорил же, ничего не знает, в чьи она руки попала и куда делась. Сгинула! Повязанная пуховой шалью, Дарья Михайловна накрывала стол, прислушивалась к разговору.

— Рази у нас хозяйство! — отводя разговор о тетради, пожаловался Никифор Филиппович. — Не дом, а халупа. Вот у моего отца, у Филиппа Васильевича, было хозяйство! Поместье на загляденье: два дома и амбары под жестью. Одной рогатой скотины держали больше сотни, да овец «шпанки» тысячу голов, да упряжных лошадей шесть пар, да выездных четыре зверя-жеребца... Мы с Гришкой скакали на них наперегонки. Боже ты мой!.. Родители держали быков, и большой пчельник, и цесарок с павлинами. Была у нас молотилка «макормик». А гусей-уток тучи! В глазах рябило. Главное хозяйство держали на Кардонике, у хутора Мирона Тоцкого, где сейчас карачаевский аул... И всё добро у нас отобрали, отписали в колхоз, разтранжирили. Эх, революция! — вздохнул Никифор Филиппович, и глаза его заволокло слезой. — Всё супротив человека. Ни себе гам, ни другому не дам... Какой был добрый казак Михаил Андреевич Гордиенко, батько Дарьи Михайловны! Запорожец, из старинного рода. Пропал! Таких казаков уже нету...

Слушая мужа, Дарья Михайловна сторожко озиралась по сторонам: нет ли поблизости *чужих*? Перекрестившись, разлила по стаканам араку из графина: мужу и мне до половины, себе плеснула на доньшко с напёрсток — из уважения к родственнику.

«И чего ей бояться?» — про себя недоумевал я. Никифор Филиппович — колхозник заслуженный. В Отечественную воевал под Смоленском, был ранен; излечившись, снова попал на фронт, в кавалерию. Домой пришёл с наградами. В колхозе занимал небольшие, но всё же руководящие должности: завхоз, бригадир, учетчик. Будучи подпаском, я ему, завхозу, сдавал по накладной овечьи шкуры. Никифор Филиппович все их просмотрел на свет и на каждой чернильное тавро припечатал. Хозяин!.. Старухи шептались, что он, хитрец, в Гражданскую отсиделся в погребе, шутя называли его «подвальным казаком».

Никифор Филиппович на это не обижался и с удовольствием разъяснил мне свою житейскую философию:

— Я живу-поживаю, а те, кто слушал чужаков, разных агитаторов в кожухах, давно в могиле. И, скажи ты, за что бились? За вихри враждебные?.. Всех чужаки обманули: и Кирея Орлова, и Серёгу Половину, и нашего Гришку. Мы с ним были больше, чем братья. Что ты, не разлей вода! По буграм, по дерезе шастали, к девчатам ходили зоревать. Были золотые деньки, да сплыли... Он правильно сделал, что



убёг отседа. А то б с ним расквитались... А Половина, как сыч, сидеть в землянке. — Никифор Филиппович умолк и, свесив голову, прикрыл глаза густыми бровями. Задумался о чем-то, ушел в себя. Отряхнулся от забытья, напоследок присоветовал: — А ты сходи к Половине, попытай: може, он что вызнал про тетрадь. Дюже ушлый был! Турсучил наших...

Заинтриговал меня Никифор Филиппович, и в тот же день я пошёл к Сергею Зиновеевичу. Жил он со своей Половинихой на улице Набережной, неподалёку от моих родителей. Подслеповатая хатка с глиняным полом, железная кровать с продавленной панцирной сеткой. Под горбатым потолком оголённая электрическая лампочка, в красном углу икона Божьей матери и лампадка, заправленная постным маслом. Надеялся Сергей Зиновеевич задобрить несметным богатством всё человечество, а самому досок на пол не достало. Умел он горячо, складно агитировать народ за вступление в коммунию, но теперь златоуст ревкома, кажется, впервые задумался о себе и своей душе. Усомнился в правильности прошлой жизни и, наверное, жалел о том, что требовал от других невозможное, незаконное и ничего хорошего не сделал даже для супруги Натальи. Так и проходила, затурканная, в одной юбке, не видя белого света. Как ни странно, Федосеева он не помнил или не хотел помнить.

— А Гришку Гузанкина? — допытывался я.

— Наверде был какой-то Гузанок, да он утёк. Больше ничего о нем не было слышно... Я на площадь редко ходю. Утешаюсь молитвами... — признался мне Сергей Зиновеевич, впиваясь влажным взором в слюдяное оконце и поправляя за оттопыренными ушами дужки роговых очков. — Читаю псалмы Давида и плачу-рыдаю...

Во дворе на проволоке рядом с желтыми рейтузами мотались его выстиранные серые подштанники, словно подвешенные вяленые караси. Не верилось, что этот лысый безобидный старичок был подручным Нигрובה, грозой кулаков и «подкулачников» и что в тридцатые годы поручали ему, как отметил дотошный летописец Таланов, «исключительной важности государственное дело». С помощью Москвы он остуживал раздор, возникший между соседними колхозами — черкесским и казачьим. По этому поводу в Кремле его учтиво принимал всесоюзный староста М. И. Калинин. В письме ко мне Федор Алексеевич прямо-таки умилялся: «Наш предусмотрительный, разумный делегат возьми и подари Михаилу Ивановичу олуночек сушёных дуль. Калинин размочил пару штук в кипятке, попробовал на вкус и похвалил: “А кардоникские груши-то сладкие!” Славно они потолковали — Михаил Иванович и Сергей Зиновеевич! Посидели, попили чайку, — с упоением писал Фёдор Алексеевич. — Половинин выступил по радио с увещательным словом. Его голос из Москвы натурально звучал из колоколов-репродукторов, развешанных на столбах в ауле Жако и в станице. “Чего нам делить, — проникновенно говорил Сергей Зиновеевич. — У нас, советских, один огромный огород — вся страна. Собирайте с общего огорода общие овощи, вкушайте и наслаждайтесь!” Люди слушали и озирались: “А где Половина?” — и не видели его живого. Это дало повод заподозрить Сергея Зиновеевича в шашнях с нечистой силой. Представьте, до чего же тёмными были наши старушки! А сейчас? Одна сплошная электрификация и грамотность», — внушительно, с идейной непреклонностью завершал письмо мой давний собеседник.

XX.

Бегство Федосеева из станицы положило начало его одиноким скитаниям. За перевалами, по ту сторону ледников — в Абхазии и Грузии, затем в Муганской степи Азербайджана и в горах Армении ходил он в учениках с геологами. После учёбы в политехническом институте освоил специальность изыскателя и подался дальше. След его надолго затерялся на востоке страны — в Саянах. Казалось, он вычеркнул из памяти, как страшный сон, как наваждение, события Гражданской войны. Старался не вспоминать ни друзей, ни врагов.

Борьбе с себе подобными Федосеев предпочел преодоление трудностей среди природных стихий, социальному безумию — накопление знаний, профессиональное и духовное самоусовершенствование. В то время как его соратники-земляки продолжали выискивать «врагов народа» и «затаившихся кулаков-белогвардейцев», начальник геодезических и топографических партий Федосеев открывал неизведанные места, залежи полезных ископаемых. Саянские хребты и перевалы, горные реки напоминали ему о покинутой родине, о «злобном» и ласковом Аксауте — реке



детства, извечно бегущей от ледника к Малому Зеленчуку. Здесь, в общении с природой, он находил избавление от людских страстей и ненависти. На лоне природы лечил душу, внимал заповедной тишине:

«На востоке, сквозь синеву угасающего дня, виднелись гряды остроконечных гольцов, изрезанных тенями уступов и скал. Справа, слева — всюду горы, седловины, пропасти, и, кажется, нет им ни конца, ни края, как и лесу, чёрной лентой опоясывающему эти горы. Но поразила нас здесь не панорама, не море россыпей, а тишина. Мы были окружены таким нерушимым безмолвием, будто всё вымерло и никогда не жило. Разве только подземные толчки, свидетели давних землетрясений на Саяне, да обвалы, изменяющие внешние формы скал, изредка нарушают тишину, да в осеннюю пору на оголённых вершинах, угрожая сопернику, хрипло прокричит сохатый».

Прислушиваясь к извечной тишине, к языку ветра, птиц и зверей, Григорий Анисимович наряду с полевыми записями вёл дневник, куда заносил личные наблюдения, ставшие основой почти всех его произведений. Повествование в них обычно ведётся от лица автора, присутствующего на втором плане, а на первом действуют реальные персонажи — его спутники и друзья: проводник эвенк Улукиткан, изыскатели Кирилл Лебедев, Трофим Пугачёв, Василий Мищенко, Александр Пресняков и многие другие. Все они — первопроходцы. Работают там, где ещё не ступала нога человека и, естественно, часто рискуют жизнью. В основном это люди с изломанной судьбой: беспризорники, бывшие заключенные, одинокие мужчины и женщины, не нашедшие счастья там, где родились, и обречённые искать его в дикой тайге, во мшистых, вязких болотах, в горах, среди угрюмых скал.

На эту особенность творчества Григория Федосеева совершенно не обратила и не смела обратить внимание литературная критика. В изображённых писателем трагических явлениях она видела досадное исключение из правил, в отверженных зеках лишь «сложные характеры» отдельных персонажей. Но отчего героев снедает тоска по дальним оставленным очагам? И почему появилось так много отшельников в медвежьих углах России? Об этом автор говорит сдержанно, с оглядкой.

Загущивать недозволенные, «неудобные» эпизоды, смещать акценты, а то и вычёркивать целые страницы «помогали», конечно, редакторы издательств, особенно популярной в те годы «Роман-газеты». Все же в пределах тогдашней дозволенности Федосеев иногда расшифровывает смысл некоторых текстов либо подводит нас к мысли, которую он остерегается выразить определённое, но предоставляет нам возможность догадываться о ней самим. Вот, например, перед нами круглый сирота, беспризорник Трофим Пугачёв (роман «Смерть меня подождёт»). Он один из тех, кто после Гражданской войны и раскулачивания родителей (о чём можно догадаться по косвенным признакам) чудом выживает. Знакомство начальника экспедиции с Трофимом происходит в Грузии, в голодный 1933 год, при составлении карты Ткварчельского каменноугольного месторождения. Пугачёв прибывает к экспедиции, к семье её начальника, то есть автора романа.

«Моя мать знала о Трофиме из писем, и он не был для неё безразличен, — пишет Федосеев. — Когда же мы приехали и она увидела его, загорелась к этому юноше настоящей материнской любовью. А сколько заботы было! Трофиму за обедом лучший кусочек положит, и горбушку припасёт, и сливок холодных, и початок молодой сварит — всё для него, как для самого младшего сына. Парень, бывало, уснёт, а она усядется у его изголовья, наденет очки и начнёт штопать носки, да так и задремлет».

Холодные сливки и молодой початок кукурузы! И эта фамилия — Пугачёв... Приметы, свидетельствующие о казачьем происхождении и Трофима, и матери Федосеева. Только там, на чернозёмной Кубани, на берегах Аксаута и двух Зеленчуков, в долинах Урупа и Лабы вызревают такие вкусные «молодые початки», о которых невозможно забыть. Начальник экспедиции Федосеев, сам кубанец-беглец, бурей оторванный от родины, не зря пригрозил Пугачёва и подружился с ним, а Клавдия Васильевна почувствовала к нему кровную привязанность, наверное, оттого, что увидела в нём черты погибшего сына Петра.

Далее мы узнаем, что Трофима в отрочестве звали Ермаком (опять намёк на казачье происхождение и запретную мысль об исторической преемственности, всего лишь робкий намёк). Да, Федосеев чересчур осторожничал, страховался — и это стало его бедой. В литературе он был одинок, за его плечами не было, как у иных московских писателей, мощного клана, прикрывавшего тылы и в удобные моменты позволявшего печатать «недозволенное». «Во время отпуска Трофим сдружился с



моей маленькой дочкой Риммой и племянницей Ирой, — повествует Федосеев. — Странно было наблюдать за этим взрослым человеком, *впервые попавшим в общество людей*. О прошлом он и теперь не любил рассказывать и только в минуты откровенности, когда мы оставались с ним наедине, вспоминал какой-нибудь случай из беспризорной жизни. Иногда говорил и о Ермаке. Это имя, как мне казалось, всегда для него являлось олицетворением мужества».

Проведя топографические и геодезические исследования в горах Азербайджана, Армении и Грузии, экспедиция Федосеева переезжает в Сибирь. Далее следуют любопытные подробности: Трофим тоже побывал с Федосеевым на Севере и на Охотском побережье, в Тункинских Альпах и Саянах, хотя «не отличался хорошим здоровьем». Оказывается, много лет он провел («в подвалах»), злоупотреблял кокаином. С чего бы это? В 1941 году добровольцем ушёл на фронт и ко времени демобилизации «стал членом партии, имел звание капитана танковых войск. Нас он разыскал на Нижней Тунгуске и полностью отдался работе». Если поглубже вникнуть в авторские недомолвки, понять причину «неувязок» и вообразить, в каких «подвалах» надорвал своё здоровье Трофим, приоткроется биография репрессированного потомка исчезнувшего казачьего рода. Трофим кровью смыл «свой позор» на фронте и всё же, во избежание возможных преследований, не вернулся на родину, а попал в Сибирь, чтобы затеряться среди сосланных бедолаг-казаков, таких же, как и он. Федосеев, сам изгой, потерявший отца, брата, отчима и близких родичей, приютил Трофима-Ермака не случайно — из этнической симпатии, сострадания к себе подобному.

В конце концов Трофим Пугачёв погибает... от удара молнии.

Молния — метафора. И мы понимаем: смерть его predetermined заранее, Трофим испепелен иной грозой, опалившей его с детства. В воображении писателя, может, помимо его воли, встанет зловещее видение из прошлого. Тогда над убитыми (это не раз видел Федосеев) привычно кружили неотступные стервятники и вороны. Вновь в подсознании, из прошлого и настоящего, развёртывается картина: «Вижу справа, откуда доносится безнадёжный вой собаки, летит ворон. Не заметив меня, он усаживается на вершину лиственницы, важный, довольный. Его чёрный, резкий силуэт на фоне багровой тучи в ветреный день поистине зловещ. Он не торопясь начинает чистить клюв о сучок. Я вскидываю карабин, подвожу под ворона мушку — руки никогда не были такими уверенными и твёрдыми. Пуля сбрасывает птицу на землю».

Взглянём мельком на подружку Трофима — беспризорницу и «воровку» Любку. Возвысившись до бригадира и вспоминая своё «позорное прошлое» (будто оно, это прошлое, не было следствием социального эксперимента тех, кто насильно навязывал народу «новую жизнь»), поумневшая Любка, на самом деле оказавшаяся Ниной Георгиевной, откровенничает: «А теперь страшно подумать, какое терпение проявлял к нам советский народ и чего он только не прощал нам! А сколько раз меня шадил закон! Но все кончилось тюрьмой. Глупая была...»

Ох, Григорий Анисимович... Сирота Любка (Нина) стала воровкой не по своей воле, не «от глупости». С детства она была обречена губителями на унижение, на вечные мытарства. И переменяла она имя тоже неспроста — чтобы не узнали её. Спасибо автору и за то, что правда, хотя в деформированном, искажённом до неузнаваемости виде, пробилась, вылезла наружу, как шило из мешка, и умный читатель понял всё, что в своё время нужно было понять.

Если гипотетически вычленив из текста основных вещей Федосеева грубоватые редакторские вторжения, авторскую коррекцию, смещение в датах и событиях из-за цензуры и сюжетных построений, если условно отодвинуть всё это, как второстепенное, — в корпусе литературного наследия Григория Федосеева рельефно выступают мощные глыбы и пласты: неповторимые исторические, географические, профессиональные и житейские подробности. Обнажатся приметы времени и быта, заиграет многоцветье красок на фоне величия и необъятности природы, животного и растительного мира Дальнего Востока, Сибири, Саян, Алтая, Кавказа — всего того, что существовало в XX веке почти в первозданном виде и, к несчастью, подверглось деформации, осквернению накануне третьего тысячелетия. По существу, дневниковые и полевые записи, роман и повести — это единое, целостное произведение с одними и теми же переходящими героями. Своеобразная энциклопедия огромного региона в эпоху советских перемен... Федосеев оставил читателям, нынешним и будущим, развёрнутую образно-эмоциональную, научную картину минувшей цивилизации, почти натуральный слепок прекрасной, страдающей земли, увиденной гла-

зами писателя-романтика, опытного профессионала — изыскателя, геолога, топографа, геодезиста, учёного. В этом, наверное, и состояла изначально предназначенная ему корневая задача — запечатлеть словом убывающую хрупкую красоту, призвать людей к благородному отношению к ней, заодно сказать о том, как они сказочно богаты и как неразумно щедры и расточительны. Выпавшие на долю Федосеева испытания позволили исполнить высший долг вместе с верными товарищами. Исполнить сполна, без всякого эпатажа.

XXI.

В романе «Смерть меня подождёт» представлена фигура некоего Агея Спиридоновича Швыдько, тоже репрессированного кубанца. Присмотримся к деталям. По наветам он якобы учинил заговор против советской власти, отсидел безвинно 18 лет. Автор встретился с Агеем Спиридоновичем в Новосибирске, «в обледелом трамвае», по дороге из центра домой. Из-под дырявых суконных штанов старика «виднелись посиневшие голые ноги, всунутые в огромные бахилы».

Федосеев приглашает его к себе отогреться. «Старик с явной боязнью вошёл за мною в кабинет. Книжные шкафы, чучела птиц, рога снежных баранов, тэков, архаров, развешанные на стенах, бронзовые бизоны, застывшие в смертельной схватке, на письменном столе; огромная шкура медведя, распластанная на полу, — всё тут удивило старика. Чувствовалось, что много лет он пользовался слишком малым и, как обречённый, не мечтал о другом. Старик с опаской присел на угол стула и, не шевелясь, осматривал комнату».

Встретились два изгнанника: один с виду благополучен, богат, другой — нищ, обездолен, голь перекатная. В социальном плане это антиподы, но их потянуло друг к другу прошлое, ибо там, в исчезнувшем прошлом, они были почти родственники, свободны и равны.

« — А что это у вас, Агей Спиридонович, вся спина в шрамах? — спросил я.

— Беляки в девятнадцатом пороли, — сказал он спокойно, точно разговор шёл о каком-то незначительном событии...»

Запомним этих «беляков», а пока кратко перескажем биографию Агея Спиридоновича. После заключения он приехал в Новосибирск «к невестке с двумя внучатами». Толкнулся в дверь — в её квартире жили чужие люди. По словам бывшего зека, никто из соседей не помнил «ни меня, ни сына, что со мною забрали, и не знают про невестку, куда она сгинула с внучатами. Всех как половодьем смыло».

Именно так и расправлялись с потомками белоказаков. Но автор уверяет нас, вернее, цензоров, что Агеей Спиридонович не «беляк», а самый что ни на есть кремль-красногвардеец с замечательным революционным прошлым. Он «в семнадцатом году с винтовкой в руках присягал революции, Зимний брал». Конечно, было всякое. В лагерях сидели эсеры и анархисты, правоверные несгибаемые большевики, меньшевики, троцкисты и чекисты, красные, белые, «зелёные» (вспомним хотя бы Михаила Мироненко или Сергея Дорохова). Однако по возвращении из ГУЛАГа бывшие революционеры и борцы (Агей Спиридонович в романе именно таков) вне очереди получали квартиры, прочие полагавшиеся им льготы. Власть возвращала старые долги, замазывала свои прегрешения перед её творцами. Об этом можно прочесть у Б. Пастернака, А. Солженицына, А. Рыбакова, В. Дудинцева, Ю. Трифонова, Ю. Нагибина, Д. Гранина, В. Шаламова, О. Волкова и других. Например, я знаю, что балахоновцы Доценко, Сухомлинов и Ляшенко, выйдя на волю, были сполна облагодетельствованы как несправедливо пострадавшие в пору «культы личности». Но почему-то Агею Спиридоновичу, «бравшему Зимний», в таких милостях было отказано. Что-то не вяжутся концы с концами...

В Черкесске я был свидетелем того, как седовласые «революционеры» буквально дрались за надбавки, если их в чём-то, хотя бы в малости, ущемляли. Добивались своего напористо. Агей Спиридонович представлял собою явную противоположность подобным «борцам за народное счастье». Он имел другой менталитет и, не претендуя на льготы, был, если всё принимать на веру, очень доволен «восстановлением справедливости»: «Так бы и остался Агей Швыдько проклятый своим народом за измену, да, слава богу, Центральный Комитет вспомнил про нас: живых с неволи вызволил, а мёртвым восстановил добрую память».

И выживший, осчастливленный старик мечтает: «Теперь подамся на Кубань до старушки, до сынов. Двое их ещё у меня... Руки до земли просятся. Может, и внучата там у бабушки. — Агей Спиридонович ещё что-то хотел сказать, но губы у него задрожали, и он смолк...» Бывший зек ездил на Кубань, но и там в его хате обосновались чужие люди. Сыновья погибли на фронте, старуха померла — «и никого не



осталось от Швыдыков, только я один, как обгорелый пень на пустом месте». Вернулся он в тайгу свободным гражданином. Пришлось бездомному и «обгорелому» Агею Спиридоновичу просить Федосеева принять его в экспедицию, хоть подметальщиком. «Он не жалуется, никого не упрекает. О прошлом не говорит, а когда растревожится какими-то воспоминаниями, уходит от стоянки в лес, вроде за ягодами или за диким луком...»

Закрадывается сомнение: вряд ли штурмовал Агей Спиридонович Зимний. Да и штурм-то (сегодня это известно всем) был «киношный». Никакого грандиозного штурма не было. Был миф, породивший множество других мифов, — и в кино, и в литературе. И не «беляки» исполосовали Агею спину, выселили из хаты и квартиры его родственников, бесследно пропавших...

Вся эта довольно правдивая, но странная картина — как перевернутое, несколько уродливое отражение в зеркале. Если многое поставить с головы на ноги и на своё место, история с Агеем Спиридоновичем обретёт историческую подлинность: это обвинение преступлений советской власти, страшная судьба казака, получившего от неё только сибирский воздух, которым ему позволили дышать, и саянскую воду, которую он даром пил из родников. На остальное он не имел права. Репрессированные «революционеры» имели право, их побеждённые противники, несмотря на давность лет, не имели. Агей Спиридонович должен был превратиться в козювку, в «пыль». Но он выстоял, не потерял веры в добро, в человечность. И Федосеев, как это ни парадоксально, сказал публично о величайшей народной трагедии. Загубленный человек благодарит ЦК (!). Но искренне ли благодарит? — в этом надо ещё разобраться, ибо ситуация находится за пределами здравого человеческого разума и психики.

Есть ещё один персонаж в романе, правда, безличный, — голод. И Никифор Филиппович Шведов, и Макар Яковлевич Могильный в беседах со мной, и в своих произведениях Федосеев, пережившие в 20—30-е годы голод, постоянно о нём упоминали. Отсутствие пищи порождало злобу, вражду, безумие и людоедство. Давний ужас тревожил память. В природе Федосеев не единожды наблюдал ту же борьбу за существование, что и среди людей.

Состояние голода передано писателем в следующем эпизоде. Охваченные наступающим безумием, два живых, некогда дружелюбных существа — человек и собака — неожиданно сплетаются в яростный клубок. Кто-то из двоих должен быть съеденным. Верный пёс Кучум, взбешенный, впивается в грудь автора клыками. «Полезла злоба на злобу, сила на силу... мы оба звереем. Кучум неукротим. Вырывается из рук, бьёт меня грудью, и мы разом падаем, катимся по россыпи куда-то вниз, в пропасть. Я чувствую, как больно бьётся моя голова об острые камни, вижу осатанелые глаза собаки и зубастую пасть, распахнувшуюся рядом с моим лицом...

Я вскакиваю. Не могу отдышаться и не понимаю, был ли это сон или все случилось наяву... Во рту клочок собачьей шерсти, рубаха на мне изорвана, на груди свежие раны, руки в синих прокусах. А Кучум стоит в стороне, следит за мною безумными глазами, озверелый, чужой, готовый защищаться».

Иным эта сцена может показаться вымыслом, игрой воображения. Я же думаю, что схватка за выживание происходила в действительности. Причем между людьми. У Федосеева она всплыла в подсознании, скорее всего, из видения-сна, из пережитого ужаса. Она обратилась в метафорическую картину голода, когда люди теряли человеческое естество и достоинство. Писатель запечатлел *действительность своего былого*, намеренно сместив время и место событий и затушевав их социальное содержание реальными приключениями путешественника.

XXII.

Любая тайна когда-нибудь перестает быть тайной. Как ни укрывали в сейфах, за семью печатями, документы о казачьем восстании в Чёрных горах, которое возглавили генерал М. А. Фостиков и войсковой старшина П. М. Маслов, что ни делали, чтобы принизить значение отчаянного сполоха, начавшегося в Кардоникской и мгновенно перекинувшегося на всю Кубань и Терек, — стереть, уничтожить о нём память не удалось. О народном сопротивлении говорили между собою на завалинках седюские казаки, а любители старины и героических сказаний, подобно мне и Таланову, выслушивая их рассказы, тайком делали кое-какие записи.

В книгах Федосеева я пытался обнаружить хотя бы прямой, нет, робкий намёк, отзвук намёка на нашу кардоникскую драму — увы, Григорий Анисимович, непосредственный её участник и свидетель, глубоко залёг на дно и не проронил о ней ни слова. Впрочем, у него есть рассказ, действие которого происходит на юге, но без



конкретных географических примет, в необозначенном пространстве. Угадывается только время Гражданской войны, где родные братья воюют на противоположных сторонах. Историческая правота в рассказе остаётся за победителем — красным генералом. Очень уж предсказуемый финал. Это не упрек Федосееву — такие сюжеты в произведениях советских писателей типичны. Не избежал предвзятости, уступок господствующей идеологии и Алексей Толстой. В «Хождении по мукам» он показал художественно броско, но исторически неверно образ атамана Шкуро и дерзкий налёт его конницы через кубанский мост у Баталпашинской. В беседах со мной старики выражали недовольство искаженной картиной боя и обижались, что Толстой даже не упомянул о Маслове, главном участнике этой операции. А какая же, возмущались они, правда без Маслова?

Трудно было растолковать им, что художник волен выбирать события и героев по собственному усмотрению и не писать о том, что не волновало его, казалось ненужным в романе. Старики же настаивали на своём: портрет Шкуро написан неверно, а без Маслова события неправдивы... Наивность их суждений не помешала им, однако, разглядеть в этом романе досадную тенденциозность.

Сознавая безнравственность разрешённой свыше «правды» и не имея возможности высказаться откровенно, Федосеев хранил молчание о крестном пути Фостикова и «Армии возрождения России». И всё же он ошибся: надо было писать об этом! Выжидание непоправимо затянулось.

XXIII.

В 1963 году Григорий Анисимович получил печальное известие: на берегу Зеи, у непогашенного костра, погиб его друг эвенк Улукиткан. Он не смог выехать на похороны, но в 1964 году отправился в эвенкийский поселок Бомнак и на могиле Улукиткана вместе с соратниками установил памятник, какие обычно сооружают геодезисты на горных вершинах. На лицевой стороне четырехгранного тура в металле отлиты слова: «Тебе, Улукиткан, были доступны тайны природы, ты был великим следопытом, учителем, другом». На чугунной плите могильного холма изречение самого Улукиткана: «Мать дает жизнь, годы — мудрость».

Григорий Анисимович в смерти друга увидел тайный знак. Надо было спешить, как можно скорее завершать намеченное. Переехав из Новосибирска в Краснодар, он начинает обдумывать сюжет нового произведения. На одном дыхании, в 1967 году, заканчивает лучшую свою повесть «Последний костёр», посвящённую памяти Улукиткана.

В послесловии к повести Федосеев напишет: «Когда я вспоминаю Улукиткана, передо мной встаёт человек большой души, завидного мужества, совершивший не один подвиг во имя долга. Шесть лет он был проводником нашей экспедиции, когда мы работали над созданием карты районов, прилегающих к Охотскому морю. Для меня прожитые вместе с ним годы были академией. Старик открыл мне огромный мир природы, которую он очень любил, научил меня понимать её. Но главное достоинство Улукиткана была человечность, которую он целомудренно пронёс через девяностолетнюю жизнь».

Эти слова вполне можно отнести и к Григорию Анисимовичу. В повести поэтически воспроизведена жизнь человека тайги, одновременно счастливая и трагическая. Судьба Улукиткана — это и судьба Федосеева. По сути, автор — духовный двойник мудрого эвенка, и порою трудно различить, где Федосеев рассказывает об Улукиткане, а где — о себе. Писатель несколько отступает от привычной для него документалистики и обращается к иносказанию, к метафорическим средствам повествования. Создаётся обобщенная метафора-символ: история, рок и застигнутый неотвратимыми событиями человек (и в целом человечество) в период грозных потрясений — революции, Гражданской войны, коллективизации, других народных бедствий. Вопрос о том, как уцелеть в обезумевшем мире и при этом не потерять достоинства, не превратиться в хищного зверя, в жалкую улитку, становится для героев Федосеева мерой жизни и смерти, доминантой их поведения.

В существенных чертах образ Улукиткана перекликается с «туземцем» Дерсу Узала из одноимённой книги исследователя Сибири, путешественника и писателя В. К. Арсеньева. Та же органическая слитность с природой, естественность поведения и мудрость, та же освобождённость от эгоизма, чёрствости и своекорыстия, постоянная готовность творить добро, помогать ближним своим. «Этот дикарь был гораздо человечнее, чем я, — отзывался о Дерсу Узале Владимир Арсеньев. — Отчего же у людей, живущих в городах, это хорошее чувство, это внимание к чужим интересам заглохло, а оно, несомненно, было ранее». Трагическая нота об утрате человечности



звучит и в «Последнем костре». Однако различие городских обитателей и «дикарей» не исчерпывается тема повести. Образ эвенка отнюдь не повторение его знаменитого предшественника Дерсу. Как и многих героев Федосеева, Улукиткана постоянно преследуют злые духи — гор и тайги, гранитного гольца Ямбуя у края Алданского нагорья. И всё же сильнее их — духи человеческой ненависти и злобы, выпущенные из подземных недр на волю с приходом нарушителей древних устоев. Яростных *инотаёжных* пришельцев, будто посланных в мир природы враждебной цивилизацией...

«Последний костёр» — философско-лирическая исповедь, раздумья о социальных преобразованиях, о былом и настоящем, наконец — прощение с горами, с земным существованием человека, с миром животных и растений. Там, где шёл Федосеев (Улукиткан), вставали посёлки, города, открывались месторождения, к ним прокладывались дороги. И вот настал срок прощания со всем, что дорого...

Опечаленный Улукиткан в беседе с повествователем роняет фразу: «Может быть, беда караулит меня за то, что я не вернулся на Альгому». Далёкая, за туманными вершинами, Альгома — потерянная родина старика-эвенка. Там могилы его предков. Схожая мысль о покинутой родине преследует и повествователя. Бегство из станции отделило его от привычного мира, и он вынужден был всю жизнь скитаться. В Абхазии, с перевалов Главного Кавказского хребта, не однажды смотрел на Аксаут, в синем мареве силился разглядеть Кардоникскую — родную и враждебную, куда свободно долетали птицы, а он, отверженный, будто скованный цепями, не мог туда полететь.

Совпадение судеб: друг Федосеева Улукиткан тоже блуждал вдали от родового стойбища. Когда-то он с молоденькой женой Ильдяной, готовившейся вот-вот понести, в лютую стужу покинул одинокий чум на «закостенелой земле». За ними гонит злой дух амакана — медведя, убитого эвенком.

Всё дальше уходит Улукиткан с Ильдяной от амакана. «Надо же было именно в день рождения сына встретиться этому бродяге на пути, не мог раньше или позже», — размышляет о медведе Улукиткан. Но это — рок, от рока не уйти. И он решает повернуть нарты на север, к истокам реки. «Пусть дух медведя думает, что я туда отпочевал, а я в удобном месте сделаю петлю, поверну назад, погоню оленей по льду без следа и незаметно исчезну в тайге. Может, там не найдет меня амакан...»

Подобно Федосееву, Улукиткан петлял и ускользал от амакана (или злых духов посвирепее амакана) — и вдруг нарты провалились под лёд. Дух медведя утопил его любимую жену в реке...

Отмечая у Федосеева иные, чем у Арсеньева, сюжетно-композиционные принципы создания образной системы, некоторые учёные и критики делали вывод, что в свете социально-исторических изменений Улукиткан «это уже не дикий “туземец”, а наш современник, советский человек, сознательно и убежденно следующий общественно-полезному делу». По их мысли, Улукиткан, потерявший всё, что было для него свято, приобрёл какие-то бесценные свойства преображенного, нового человека. Он ощутил потребность «в служении людям и окружающему миру». Можно подумать, что это произошло с того дня, как «переустроители» выгнали его семью из родного стойбища. Созидание через разрушение и потери — не слишком ли дорожка цена эксперимента?

Читая «Последний костёр», я всё ждал: назовёт ли Григорий Анисимович нашу станцию или нет? Будто предчувствуя близкую кончину и то, что теперь, как и другосоратнику Улукиткану, ему никто и ничто больше не угрожает, Федосеев поведал «быль давно минувшую», слегка приоткрыл завесу над собственной тайной. В повести между ним и Улукитканом на одной из вершин (мудрецы и боги обычно беседуют на вершинах) происходит многозначительный разговор:

« — Ты, наверное, думаешь, что старик сдурел — на какую гору лезет, чтобы только издали посмотреть на Альгому? — неожиданно повернулся ко мне Улукиткан.

— Зря говоришь так, наоборот — завидую тебе, что ты увидишь родные места, вспомнишь детство своё, которое так бережно хранишь в душе. Я готов подняться на две, на три такие горы, чтобы увидеть Кавказ, мой Кардоник, где родился, и так же, как ты, слишком рано далеко ушел от своих родных мест...

— Послушай старика, обязательно туда вернись, посмотри из детства на всю свою жизнь.

И Улукиткан с таким участием посмотрел мне в глаза, что, казалось, готов он свернуть с этого пути и вести меня в далёкий край горячего солнца, на мою родину.



<...> Опершись грудью на посох, с котомкой и берданкой за плечами, в рваных лосевых штанах и старенькой дошке, долго стоял на вершине горы этот человек из древнего рода Буты и стойбища Альгома».

Вслед за Альгомой возникает наш Аксаут в скалистых берегах. Альгома — Аксаут, Улукиткан — Федосеев... Схожесть северной и южной рек, схожесть судеб. «Видимо, почувствовав усталость, да и ослабев от волнения, он присел на камень. И, пожалуй, я никогда не видел его лица таким просветлённым и умиротворённым, лица по-настоящему счастливого человека.

Подсаживаюсь к Улукиткану. И по какой-то внутренней связи с удивительной живостью и отчётливостью возникает перед глазами мой родной Кардоник — горная станица, тёмные заросли чинара по отрогам Кавказа и белопенный, в вечном гнев, быстротечный Аксаут...

Да, приходит пора и мне, как Улукиткану, на склоне жизни побывать на своей родине, в краю своего детства. И надо поторапливаться...»

XXIV.

Академик А. Л. Яншин справедливо говорил, что Федосеев поведал лишь о малой доли того, что довелось ему испытать в изысканиях. Множество записей о приключениях осталось в его дневниках, в полевых журналах.

Риск — как норма жизни. В единоборстве с шатуном автор повести «Злой дух Ямбуя», он же лирический герой, выходит победителем, но позволяет медведю уйти. Как ни опасны хищные звери, они беззащитнее человека, нуждаются в его сочувствии и снисхождении. К оленю у писателя отношение особенно трепетное. Благородный олень — символ казачества. Олень, пронзённый стрелой, был изображен на знамени Войска Донского. Дрожь колотит: пророческий символ... Предчувствуя неизбежность ухода последнего оленя, Федосеев в повести «Тропую исканный» восторгается его красотой, статью, гордой поступью, хочет задержать прекрасное мгновенье:

«Вот он еле слышно ступает по росистой траве и вдруг, чутко прислушиваясь, поднимает настороженную голову, весь замрёт в непонятном ожидании. Какое это грациозное животное! Сколько дикой непокорности в его взгляде, в его торопливых шагах, как гордо несёт он свои ветвистые рога».

29 июня 1968 года, незадолго до своего семидесятилетия, Григорий Анисимович Федосеев скончался в поезде Москва — Краснодар. Вечный путешественник, он и умер в дороге. Изболелось сердце, не выдержало перегрузок жестокого века.

Свою последнюю повесть писатель так и не увидел в печати. Она была опубликована уже после его смерти — в первом номере «Сибирских огней» за 1969 год и тогда же — в «Роман-газете». Отдельной книгой повесть «Последний костёр» вышла в «Молодой гвардии» в 1971 году. И — странное совпадение: в 1972 году издательство «Современник» выпустило книги двух уроженцев станицы Кардоникской — «Таёжные повести» Григория Федосеева и первый сборник моих повестей «Танец на белом камне».

Федосеев заявил о себе в литературе в 1949 году публикацией записок «Мы идём по Восточному Саяну» в «Сибирских огнях». В этом журнале в 1961 году вышел роман «Смерть меня подождёт», а в журнале «Дон» в 1966 году — повесть «Злой дух Ямбуя». Книги писателя стали известны и за рубежом — в Германии, Франции, Англии. В 1989—1990 годах издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет собрание его сочинений в трёх томах. На этот раз Григорию Анисимовичу повезло (посмертно): его основные произведения успели выйти до краха и обнищания книжных издательств.

XXIV.

В последний раз навестили мы с братом Василием Никифора Филипповича Шведова в ноябре 1995 года. Ему сравнялось 98 лет, на голове и усах пушился иней, но держался он молодцом: синие глаза блестели живо, голос весёлый. Угощала нас его шестидесятилетняя дочь Мария. Пока мы толковали, сидя на кухне, Мария Никифоровна, степенная и такая же додельница, как её мать, выставила перед нами исходившую горячим парком картошку, солёные огурцы и тонко нарезанное сало с розоватыми прожилками. Принесла и бутылку чистойшей, как слеза, араки. Я заговорил о Федосееве, об утерянной тетради.



— А что тетрадь? — уклонился Никифор Филиппович. — Пропала, ну и пропала... Чего не пропадало у людей... Одна маята.

Свесив белую голову, задумался и начал рассказывать:

— Мой двоюродный братец на чужбине выучился, стал начальником, писателем, а я тут, дома, натерпелся страху... Они же, грамотеи, бросили нас, тёмных. Эх, чего теперя жалковать... Зимой, в 1933 году, еду на бричке в Пашинку за солью. Путь далёкий, дорога склизкая. Трошки зазеваешься — костей не соберёшь... Глядь: впереди сбочь дороги темнеют навроде конопляные снопы. Штук восемь-девять. Подъезжаю ближе: боже праведный, это ж не снопы, а скрюченные бабы и старики! Замерзли. Меня, веришь, так всего и проняло ознобом... Вот врюхался! Пoblзости у дороги желтеет на корню присыпанная снежком кукуруза. Целое поле... Его сторожат военные в бушлатах. Ступи семь шагов в сторону али, не приведи Господь, сломай початок — в один момент пристреляют, как собаку. Через кажные двести метров охранники с винтовками. В грудях у меня закаменело, пока ехал мимо. Хорошо, что выездная справка была за подписью Кирея Орлова. А то бы и меня сцапали за милую душу. Хочь Орёл дал мне справку, но я на Кирея в обиде. По дурости он людей обижал, с пьяницей Николаем Ляпиным разорил каменную церковь. Залез наверх и скинул наземь колокола. Дьявол!..

Моложавое лицо Никифора Филипповича свело судорогой, взялось на щеках кирпично-бурой краснотой.

— Чтой-то я расстроился. Давай ещё хлопнем чуток. Мы же сродственники, а встречаемся редко.

Выпив, он успокоился и вспомнил Дарью Михайловну.

— Покойница была умная женщина. Что ты, линейная казачка! Бывало, заскочить к нам в хату чужаки залётные — чи красные, чи белые, шут их разберётъ. Выпытывают, что да как, где муж, где братья... Дарья Михайловна прикинется глухонемой, метёт себе веником углы. Какой с неё спрос: глухая тетеря! Тем и спасала семью. Покрутятся, покрутятся гости и уйдуть... А соседка чтой-то лишнее сдуру брякнула, и её выпороли как Сидорову козу. Подплыла кровью... Вишь, как? Молчание — золото, болтун — находка врагу! — заключил Никифор Филиппович и тут же, окинув меня просветлённым взглядом, вспомнил: — А знаешь, ко мне всё ж наведывался Григорий Анисимович!

Для меня его признание не было новостью, старик говорил об этом, однако на этот раз он начал рассказывать обстоятельно, как однажды летом возле их двора на шоссе затормозила «Волга» и вышел из неё коренастый человек в светлом костюме, в украинской расшитой крестиками рубаше и в соломенной шляпе: «Здорово дневали!» — «Вот так встреча: Гришка! Явился двоюродный братец — живой и целёхонький».

Двоём они побывали у Дженгура и в Широкой балке, в селе Хасаут-Греческом — там, где кипели бои в Гражданскую. Полубовались издали крутолобым Шаханом, Синими кручами, зубчатыми хребтами снеговых гор. Послушали неумолчный шум Аксаута, ревающего в каменных теснинах и мирно сверкающего блескучей рябью на перекатах, в зарослях ольхи и колочей дерезы...

— Радости мало, жизнь протекла, — печалился Никифор Филиппович. — Помню, Гриша прижался щекой к старой сосне над Аксаутом и шепчет: «Ну, красавица, здравствуй и прощай!» Такой чудной, с немым деревом разговаривал.

Никем не узнаваемый, Федосеев в сопровождении двоюродного брата ходил по улицам. Возле двора Корниенковых полубовался уцелевшими дубовыми воротами с козырьком под жестью. Побывал на кладбище, прочёл надписи на крестах и обелисках. Постоял и на том месте, где была церковь. Из её камней безбожники построили дворец культуры, разместив на втором этаже контору колхоза. На сохранившемся одноэтажном здании атаманского правления, теперь стансовета, смотрел издали, но подходить к нему не пожелал — наверное, слишком много было связано с ним тягостных воспоминаний. Бродил и всё время что-то записывал в блокнот. Никифор Филиппович следовал за ним в отдалении, чтобы не мешать.

По возвращении к дому повстречался им на пути, неподалёку от площади, Сергей Зиновеевич Половинин — белёсый одуванчик. Бывшие соратники не узнали друг друга и прошли мимо. (Тут в рассказе Никифора Филипповича мелькнуло что-то новое, и я затаил дыхание, не задавая вопросов.) Вечером Федосеев расспрашивал его о Петре Нигрובה, Ксении Дороховой и Февронье Ильиничне, интересовался судьбой Сергея Дорохова и Макара Могильного. С жадностью слушал ответы, делал записи в блокноте... «Ты всё пишешь... Чего ворошить прошлое, отдохни», — почувствовал ему Никифор Филиппович. Федосеев с укоризной взглянул на него, при-



знался: «Понимаешь, надо оставить землякам историческую книгу о Гражданской войне на Кубани, о событиях в Кардонике. А то будто мы и не жили».

Видно, как ни старался Григорий Анисимович вычеркнуть из памяти трагические дни своей молодости, они напоминали о себе, жгли душу...

Эта поездка, как я понял из рассказа Никифора Филипповича, дала писателю обильную пищу для раздумий и, несомненно, обогатила сюжет его новой, к сожалению, прощальной повести.

XXVI.

На другой день брат Василий, приехав домой обедать, передал мне, что Никифор Филиппович хочет повидаться с нами ещё раз. Я быстро собрался, и мы отправились в гости к старику. Посидели во дворе, потолковали по-родственному. Я так и не понял, зачем старик позвал нас.

Когда мы с братом направились к машине, Никифор Филиппович сильно разволновался, вышел за ворота. Что-то кольнуло в груди. Мне вдруг подумалось, что я вижу его в последний раз, не зря же он пожелал пройтись со мною по улице, говоря, будто ему надо поразмять старые кости.

— Ты это... спрашивал про тетрадь Федосеева, — напомнил он вдруг, отводя невинно-синие глаза. — Вишь ты, совестно было признаться, что Гришка отдавал её мне на сбережение. Принёс тетрадь и просит: «Сховай куда-нибудь подальше от греха, а то, боюсь, попадётся в чужие руки. Много ко мне всякого народа стало прибываться с Дороховым».

— Давно это было? — с волнением спросил я Никифора Филипповича.

— Кажись, в двадцатом году... Как раз в тот день, как насовсем пришли в станицу красные... Я взял тетрадь и пытаю брата: «Ты что, не доверяешь Дорохову?» — «Не-е, но так надежней, — сказал Гришка. — У тебя она сохранится лучше. Сховай на потолке. В погреб не клади, отсыреет». Ну, я так и сделал, как он советовал.

Мы сошли на обочину.

— И что дальше?

— Сховал я тетрадь и забыл про неё, будь она неладна. Валяется у боровка и нехай валяется, полудновать не просить... Гришка тожеть о ней не вспоминал, а потом вскорости убёг. Помню, кончилась бумага, ни листика, ни четвертинки. Не из чего цыгарки скрутить. Начал лопухи сушить для завёрток. Тут я и вспомни про тетрадь, полез на потолок взять чистые листы на курево. Думаю, буду помаленьку вырывать их. Ага, ищи-свищи! Была — и нету. Небось, кой-то поумнее меня обшарил углы и нащупал её за боровком.

— Григорий Анисимович спрашивал о ней?

— А то нет! — с горечью вымолвил Никифор Филиппович. — Он же из-за неё тожеть приезжал в Кардоник. Рассерчал на меня, чуть не плачет: «Я на тебя надеялся, а ты не сберёг тетрадь. Пропали мои записи!» — «Да плонь, говорю, на них. Пропали и пропали. Ты умный, придумаешь что-нибудь из головы». А он сидит на лавке сам не свой, горюет. Чужак человек! Тогда вся жизнь перевернулась вверх дном, все как с ума посходили, а он заладил: «Погубил тетрадь! Нема тетради, что я теперича буду делать?!» Оно, конечно, ему обидно. А мне рази весело? У меня кошки на душе скребуть. Рассуди сам: кругом вражда, такая заваруха... Как и Гришка, я тожеть в лес убежал, в пещерах, в волчьих яминах скрывался. А в это время по хатам, по дворам шастали тёмные люди... кому не лень. Да и рассуди, какое у меня было сознание? Думал: тетрадь всего-навсего бумага. Отыщись она на потолке, сам бы скурил её. Это теперича я соображаю, что к чему...

Ища сочувствия, Никифор Филиппович растроганно поглядел на меня, и вздох раскаяния вырвался из его груди:

— Думаешь, легко рассказывать про это... В общем, Григорий Анисимович уехал от нас дюже расстроеным. «Теперича, говорит, надо обо всём писать по памяти, а память прохудилась».

Когда мы уж совсем распрощались с Никифором Филипповичем, в последний миг старик ухватил меня за рукав, проговорил с чувством:

— А може, она не пропала? Небось, лежит гдей-то... нетронутая?

— У Нигрובה в несгораемом сейфе? — пошутил я.

— Ого! Попади она к нему в сейф, оттудова её силком не выудишь, — с виноватой улыбкой обронил Никифор Филиппович.

Мы постояли немного и простились — уже, как выяснится, навсегда. Наш кардоникский белоголовый должитель вскоре умер и унёс с собою многие тайны. Не всё же он рассказал о себе и своём двоюродном брате.

Не знаю, встречался ли Григорий Анисимович с Нигробовым и давним своим дружкойм Сергеем Дороховым. При обоюдном желании можно было и повидаться... Хотя люди пожилые, тем более характера осторожного, твердого, что называется, тёртые калачи, обычно избегают свидетелей своей прошлой жизни. Кому хочется заглядывать в сумеречные уголки памяти, лишний раз беречь себя воспоминаниями...

Потерянная тетрадь — это потерянность того, что могло по праву таланта осуществиться, но не осуществилось. Потерянность иной писательской судьбы... Восстанавливая отдельные страницы из прежней жизни писателя и станичников, я узнал, что одна из вершин Западного Кавказа названа именем Федосеева. Так, благодаря Григорию Анисимовичу и его другу Улукиткану незримо соединились Кавказ, Восточные Саяны и Сибирь. Словно две точки в безбрежном космосе, эти уроженцы Юга и Севера, казак и эвенок, сошлись однажды на земных путях и, к немалому удивлению, обнаружили общность своих судеб. Наверное, всё это свершилось по воле Провидения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Борис Бабенко — урядник Собственного Его Императорского Величества Конвоя.
2. В Феодосии М. А. Фостиков занимался эвакуацией казаков и в последний день октября 1920 года отплыл с войсками в Турцию. Всего из Крыма удалось увезти 150 тысяч человек, из них только 40 тысяч боеспособных воинов. В эмиграции, на острове Лемнос, генерал был командующим Сводным Кубанским казачьим корпусом, много лет преподавал в сербских гимназиях. Умер 29 июля 1966 года в Белграде, похоронен в городе Стара Пазова (Югославия).
3. П. М. Маслов с 1922 года находился в Македонии и в городке Крыльево (Югославия). В 1941—1944 гг. воевал летчиком в Алжире. В старости, потерявший зрение и слух, полковник никого не узнавал. 26 декабря 1969 года казак Иван Ефимович Дробот писал о нем генералу В. Г. Науменко в США из Бельгии: «Придешь к нему, поздороваешься, а он предлагает начать формировать отряд или предлагает идти в наступление». Умер Маслов 1 мая 1974 года в доме престарелых в Бельгии.
4. Михаил Дмитриевич Мироненко (1891—1986), бывший командир «зеленой армии», насчитывавшей несколько тысяч человек; после заключения многие годы был проповедником, помощником пресвитера в общине евангельских христиан баптистов. В пользу общины он передал большую часть своих сбережений, накопленных личным трудом.
5. Павел Яковлевич Нагубный — тот самый младенец, выпавший из рук убитой матери. Жил безвыездно в Кардоникской, послушно трудился в колхозе. Умер в 1990 году.



Дмитрий МАРЬИН

ПОДВОДЯ ИТОГИ

В Алтайском крае ежегодно с 2009 г. проводится краевой конкурс на издание литературных произведений. Работы представляются в нескольких номинациях: «Художественная проза», «Поэзия», «Литература для детей и юношества», «Краеведение», «Первая книга», «Публицистика». Победители конкурса кроме авторского гонорара получают по 100 экземпляров собственной книги; почти весь тираж расходуется по краевым и муниципальным библиотекам Алтайского края. В конце апреля 2012 года подведены итоги уже четвертого конкурса.

Итак, завершена очередная краевая издательский конкурс. Имена победителей уже известны. Вскоре у «массового читателя» появится возможность приобрести книгу-победительницу и самому составить суждение о выборе экспертов. На правах одного из членов экспертного совета позволим себе высказать ряд замечаний относительно прозаических работ, представленных на конкурс в 2012 году. Ведь не зря говорят, что именно художественная проза — царица литературных конкурсов.

Прежде всего, следует отметить чрезвычайно низкий уровень произведений, соперничавших друг с другом за право быть лучшими в номинациях «Художественная проза» и «Первая книга», чего нельзя сказать о конкурсах прежних лет. И это при том, что количество претендентов нынче было как никогда высоким: 23 заявки подано в номинации «Художественная проза», еще 10 прозаических работ были представлены в номинации «Первая книга». Тем не менее победитель среди прозаиков оказался лишь один: Александр Пешков со сборником повестей и рассказов «Таёжная вечерня». А. Пешков победил уверенно, намного обогнав по баллам своих конкурентов во время финального голосования членов экспертного совета.

Ученик известного не только на Алтае писателя Е. Гущина, А. Пешков ставит перед собой вопросы, мучившие в свое время и

его учителя. Повести и рассказы А. Пешкова затрагивают вечные проблемы бытия: обретение веры, поиск человеком своего места в жизни, попытка найти в наш техногенный и циничный век истинный источник духовности. Язык произведений свеж, совершенен, чувствуется оригинальный авторский стиль изложения. Наиболее удачным произведением сборника является повесть «Таёжная вечерня», давшая название всей книге. Именно это произведение задает тональность и эмоциональную окраску сборнику. В центре повести — жизнь и судьба живущего в тайге отшельником «бича» Сани. Бывший детдомовец, он так и не смог влиться в социум, навсегда остался одиночкой, ему чужд ритм и образ жизни современного города. Саня живет в гармонии с природой, тайгой, кажется, что он постиг ее тайны. Потому-то к нему и тянутся туристы, люди, наезжающие в тайгу, чтобы отдохнуть от городской жизни. Но они на самом деле видят в природе лишь еще один источник удовлетворения своих потребностей, доступное лекарство от городской суеты. Вместе с тем жизнь по «закону тайги» требует отказа Сани от традиционных человеческих связей: семьи, любви. Образ Сани одновременно трагичен и притягателен. Автор психологически достоверно и жизненно убедительно рисует портреты персонажей. Перед нами, без сомнения, новый интересный и сильный представитель современной литературы Алтая.

Конкуренцию А. Пешкову в номинации вполне могли составить Надежда Митягина с повестью «...Храни от огня...» и Алексей Денисенко с романом «Доктор Шиллинг», если бы сами авторы были чуть искуснее в литературном ремесле. Да-да, именно в ремесле. Потому что как раз с фантазией и языком — основными компонентами оригинального авторского стиля — у Н. Митягиной и А. Денисенко все обстоит более-менее благополучно. Заметим, что в 2006 г. роман А. Денисенко вошел в десятку лучших публикаций интернет-журнала «Русский переплет». Митягина же впервые за долгие годы в литературе Алтая (пионером тут был Ю. Я. Козлов с его «Белым Бомом») пытается художественно реконструировать образ почти легендарного есаула Кайгородова, в 1920—1922 гг. поднявшего против большевиков русский и монгольский Алтай, осмыслить его роль в историческом процессе. Однако у обоих авторов не хватило опыта и мастерства гармонично связать фантазию, язык, композицию и сюжет в единую форму литературного произведения. При чтении данных работ возникает ощущение незаконченности, определенной искусственности в соединении некоторых частей произведения. При этом и Н. Митягина, и А. Денисенко избрали для своих произведений очень сложную структуру композиции: мистический подтекст, множественность сюжетных линий, которые неоднократно пересекаются в произведении, при этом сюжет нередко теряет линейную направленность, сложный хронотоп (действие происходит в нескольких местах и даже в разное историческое время), достаточно большое число персонажей. Обуздать такое сложнейшее композиционное строение под силу, пожалуй, только опытному литератору.

Чего не хватило для победы другим авторам? Если не брать во внимание явно профанирующий и хулиганский сборник «сказок» «Про Алису и ее друзей» известного на Алтае художника Н. Лейбгама и несколько работ, ставших жертвами графомании их авторов, то типичные недостатки прозаических литературных произведений, не прошедших конкурсный отбор, можно свести к следующим.

Прежде всего, начинающие прозаики часто излишне увлекаются сюжетом, перегружая его маловажными деталями, событиями, комментариями этих событий, характеристикой лиц, участвующих в этих событиях и т. д. В лавине деталей, как правило, теряется не только «сверхидея» художественного произведения, но и его языковая специфика, а это обезличивает работу, лишает

оригинальности. Особенно грешат таким приемом произведения в жанре фантастики и фэнтези, представляемые молодыми авторами.

Другой распространенной ошибкой начинающих писателей («начинающих» — независимо от возраста) является неоправданно большое внимание к собственной судьбе. Часто автор в деталях воспроизводит события личной жизни, вполне естественно акцентируя наиболее тяжелые, даже трагические эпизоды. Само описание тяжестей судьбины становится смыслом произведения. Оправданно ли это? На наш взгляд, нет. Жизнь редко кого постоянно гладит по голове, чаще бьет и преподносит не всегда приятные сюрпризы. Так что удивить современного читателя горестями трудно. Рассказывая о своих бедах буквально, автор фактически пытается тем самым отстоять собственную исключительность, и, следовательно, дистанцироваться от читателя, а не наоборот, приблизиться к нему. В данном случае, если использовать известный образ Платона, автор как будто оказывается в пещере, откуда видна лишь часть внешнего мира. Но художественное произведение должно содержать некую типизацию, обобщение, но никак не замыкаться в кругу частных проблем. Это удел мемуаров. Лучшие образцы автобиографической художественной литературы (вспомним Л. Толстого, М. Горького, да и В. Шукшина) никогда слепо не следовали реальной судьбе автора. Здесь авторский талант смог сделать обобщение, типизацию, сумел убедить читателя в универсальности запечатленных жизненных эпизодов. В противном случае все напоминало бы обычную застольную беседу или разговор в вагоне поезда, но никак не художественное произведение.

Подобное увлечение личным помешало, в частности, интересной по замыслу «Повести о былом» Л. Игнатенко войти в шорт-лист номинации «Первая книга». Автор претендует на отнесение произведения к жанру исторической повести, причем обращается к теме, достойной эпопеи: судьба семиреченского казачества в 1910—1930-е гг. К сожалению, перед нами всего лишь семейное предание, недостаточно профессионально обработанное и лишненное необходимых для художественного произведения обобщения и типизации. Автор так и не смог показать частную жизнь на историческом фоне. А ведь семиреченские казаки приняли активное участие в Гражданской войне (в том числе и на Алтае), в абсолютном большинстве поддержали сторону белых, и позже покинули Родину, ушли в Китай. Это путь, от-

раженный в судьбе харбинской поэтессы Марианны Колосовой. Но в повести Л. Игнатенко исторический фон почти полностью игнорируется, смысл произведения сводится к перечислению частных событий в жизни конкретной семьи. За камерными событиями казачьей семьи Ельцовых совершенно не слышен голос эпохи. Так уж получилось, что все попытки создать литературное произведение о жизни казачества вольно или невольно сопоставляются с «Тихим Доном» М. Шолохова. Досадно, что бессилие Л. Игнатенко в раскрытии «казачьей» темы на фоне великого произведения становится особенно очевидным.

И, наконец, пожалуй, самой важной ошибкой, допущенной многими конкурсантами, является пренебрежение к языку художественного произведения. Не хватает достоверности авторской речи, нет достоверности речи персонажей. Особенно заметен такой просчет в произведениях исторического жанра. В уже упоминаемой нами повести Л. Игнатенко в речи малограмотных казаков начала XX века встречаются слова «климат», «трасса», «Киргизстан», «казахи» и т. п. По поводу последнего слова заметим, что этноним «казахи» появился лишь в 1930-е гг. До этого времени не только официально, но и в повседневной речи представителей казахского этноса называли «киргизами» или «киргиз-кайсаками». А вот перл из романа В. Липовцева «Потерянный страх», посвященного эпохе Ивана IV Грозного: «— Великий князь всея Руси Иван Васильевич просит ваше преосвященство прибыть к нему на совет в палаты для разработки дальнейшей стратегии в жизни великого князя, — выпалил гонец». По стилистике и лексическому составу фразы можно предположить, что автор в данном случае искал вдохновения в популярном фильме «Иван Васильевич меняет профессию». А вот так, согласно воображению В. Липовцева (кстати, судя по ряду сцен романа, довольно-таки буйного и скабрёзного), сам Иван Грозный мог написать в одном важном документе: «В Астрахани размещается расширенный контингент русских войск для предотвращения восстания местного населения». Здесь уж точно не обошлось без влияния на слог царя современной российской прессы. И подобных казусов в творении В. Липовцева, успевшего написать (и издать!) уже целую эпопею в трех томах, не просто много, а гораздо больше, чем удачных в языковом отношении отрывков текста. При этом в предисловии к его книге указано, что презентация книги прошла в Государственном музее истории литературы и культуры Алтая, и эпопея «приня-

та на вечное хранение в фонды музея!» Если это действительно правда, то так и хочется спросить: а сами-то работники музея читали этот опус, прежде чем взять его от имени государства в хранилище культурных ценностей? Получается, что по «шедеврам» г-на Липовцева потомки будут судить о литературе Алтая первой трети XXI века?

Хочется думать, что начинающие авторы учтут высказанные замечания и доработают свои произведения до уровня, достойного краевого издательского конкурса. В 2012 г. экспертный совет впервые решил ввести дополнительный поощрительный шаг для авторов, не вошедших в шорт-лист конкурса. Некоторые отдельные рассказы А. Забродиной, С. Алексеева, А. Тимошенко из представленных ими прозаических сборников рекомендованы к публикации в журнале «Алтай». Надеемся, что публикация в старейшем краевом литературном журнале станет настоящим стартом для начинающих литераторов.

Нет худа без добра. Оказалось, что есть и положительный момент сегодняшней патовой ситуации в номинации «Художественная проза». Неожиданно стало возможным увеличить количество призовых мест в номинации «Поэзия», благодаря чему в этом году будет издано сразу три поэтических сборника: набирающего популярность И. Образцова, матерого представителя алтайского авангарда Владимира Токмакова и загадочного Владимира Пасеки (плюс замечательный сборник Александры Малыгиной в номинации «Первая книга»).

Боюсь, что в заключение статьи все-таки не обойтись без минорных нот. Общая слабость представленных на краевой конкурс прозаических произведений вряд ли объясняется исключительно субъективными недостатками литературного мастерства отдельных авторов. Это, как нам кажется, вполне объективное отражение ситуации в современной литературе Алтая (и не только), избилующей откровенно слабыми произведениями творчески бессильных графоманов. Однако, кроме графомании, одна из причин падения уровня алтайской прозы — буйная принтомания, коей заражены некоторые местные издатели, мечтающие о лаврах Мечената и Саввы Морозова. В поисках дешевой популярности, не обладая литературным вкусом, но пользуясь лишь сомнительным правом владения печатным станком (не зря гласит легенда, что его изобрел сам дьявол — отсюда и соблазн!), принтоманы зачастую дают путевку в литературную жизнь откровенным бездарностям и/или своим фаворитам. И зачастую даже бесплатно. А вся-

кий обладатель собственной книги уже считает возможным причислить себя к славному цеху литераторов. И многие такие вот «незаконнорожденные» поэты и прозаики потом настойчиво штурмуют алтайское отделение Союза писателей России, буквально требуя принять их в члены писательской организации, заветной целью видя перед собой лишь членское удостоверение.

Вот один такой результат милости частного принтомана: опус Е. Балакина «Именами вашими стоим»*. Показательно, что редактором книги выступила жена автора — Е. Балакина. В исторической (!) повести об Иване Ползунове, время действия которой сам автор определяет серединой 50-х гг. XVIII века, читатель может увидеть Петропавловский собор в Барнауле (построенный лишь в 1774 г.) и «одно из первых изделий Кольванской камнерезной фабрики» (образованной лишь в 1800 г.), встретиться с начальником Кольвано-Воскресенских заводов генерал-майором А. В. Безром (умершим в 1751 г.), услышать в речи героев слова «бегемот» (отмечено в словарях с 1789 г.), «силос» (появилось в русском языке только в середине XIX в.) и т. п. Не говоря о том, что истории в этой якобы исторической повести просто нет, и литературно-художественные ее достоинства более чем сомнительны. Чего стоит лишь эта фраза: «Сороки... дружно спикировали вниз, точно положив на вспотевшую лысину лекаря две кучки своего помёта». И это, поверьте, далеко не единственный пример уровня умения автора строить художественный образ. Но ведь этот опус Е. Бала-

кина представлялся на краевой конкурс в 2010 г. и был начисто забракован экспертами.

Не все, конечно, так плохо. Да и хороших книг на Алтае выходит немало. Вот, например, победитель конкурса «Издано на Алтае — 2011», действительно великолепная книга известного писателя А. Родионова «Одинокое дело мое». Но что же получается, почти как у Маяковского, издательская работа — это «... та же добыча радия. / В грамм добыча, в год труды»? Вряд ли все так просто. Издательская работа — это, прежде всего, бизнес. А бизнес не терпит лирики. Осознанно или неосознанно, своим безответственным «волеизъявлением» частные принтомамы неизбежно наносят вред местной литературе, увеличивая число откровенно слабых произведений и бесталанных «писателей». А может, это признак безмерного честолюбия, стремления подчинить ход литературного процесса своей барской воле? Высокое имя «писателя», «литератора» становится возможным примерять к себе всякому, кто понравится владельцу того или иного издательства. Конечно, частному принтоману невозможно указывать на то, кого следует публиковать, а кого не стоит. Но, во-первых, каждый руководитель издательства а priori должен задумываться о той ответственности, которую он несет перед читателем за любую книгу, рождающуюся в его типографии. Во-вторых, на наш взгляд, было бы разумным, чтобы краевой издательский конкурс выполнял рекомендательную, а может быть, и регулирующую функцию в быстро мутнеющем потоке местной литературы.



* Балакин Е.Г. Именами вашими стоим: историческая повесть. — Барнаул: Алтайский дом печати, 2010. — 238 с.

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН...

Парадоксы Ефима Беленького

В середине 70-х, зимой, я прилетел в Якутск для того, чтобы поработать в Якутском республиканском госархиве с документами, касающимися поэта и учёного Петра Драверта, — собирал материал для книжки о нём (после участия в революции 1905 он отбывал в Якутске ссылку). В один из дней, когда сидел в читальном зале архива, вдруг пригласили к телефону. Звонить мне мог только один человек — якутский прозаик Семён Никифоров, с которым мы за несколько лет до этого познакомились на отдыхе в Абхазии, больше никого здесь я не знал.

— Тебя разыскивает Леонид Попов, этот наш известный поэт, — сказал мне Семён. — Заходи после архива в Союз писателей...

Ни про какого Попова я и слыхом не слыхал, поэтому пришёл в Союз несколько заинтригованный.

— Сёма сказал, что вы из Омска, — пожав мне руку, начал разговор Попов — пожилой, улыбчивый человек. — А знаете Ефима Беленького?

Я ответил, что очень даже хорошо знаю и в ответ на расспросы Попова начал рассказывать ему о Ефиме Исааковиче. Оказывается, незадолго до этого в журнале «Сибирские огни» появилась рецензия Беленького на сборник Леонида Попова «Песни Вилюя», который перевёл с якутского Анатолий Преловский. Как видно, хорошие слова, сказанные маститым сибирским критиком в авторитетном журнале, весьма поддерживали якутского стихотворца, благодарен он был моему земляку безмерно.

И я, помню, подивился тогда прихотливости и даже некоторой парадоксальности ситуации, связавшей изысканнейшего, тончайшего знатока литературы и этого, с немалым акцентом говорившего по-русски якута. Но, если вдуматься, парадоксов и неожиданных поворотов в судьбе Ефима Исааковича было более чем достаточно.

Взять, к примеру, его участие в войне: два ранения в первом же бою под Шкловом

10 июля 1941-го и третье на следующий день, уже во время эвакуации в тыловой госпиталь — поезд, в котором раненого Ефима везли в тыл, попал под бомбёжку. После четырёхмесячного лечения медицинская комиссия признала негодным к дальнейшей службе.

А затем был второй призыв — на этот раз в трудовую армию. И он оказался в глубоком тылу — в горняцком посёлке на Дегтярском медном руднике под Свердловском. Пришлось осваивать новое, совершенно незнакомое для выпускника литературного факультета Смоленского пединститута дело, а вскоре даже встать во главе цеха.

Думается, далеко не всем его тогдашним товарищам, добывающим столь нужное для фронта сырьё, было известно, что рядом с ними трудится человек, ещё недавно водивший знакомство с Михаилом Исаковским, Николаем Рыленковым, Александром Твардовским, публиковавшийся в смоленском журнале «Наступление», сотрудничавший с газетами и радио.

Мне в своё время не раз приходилось писать о Ефиме Исааковиче для омских газет, брать у него интервью, а следовательно — не раз задавать ему вопрос о его творческих планах. Однажды он сообщил, что собирается взять в Союзе писателей командировку и съездить именно на тот медный рудник, где довелось трудиться в тяжёлые военные годы. Съездить, освежить в памяти те события, а затем попробовать написать обо всём этом. Не знаю, осуществилась ли такая поездка и остались ли её следы в его архиве, но само намерение говорит о многом.

После победы Ефим Беленький приезжает в Омск и в соответствии с назначением Министерства просвещения становится преподавателем пединститута. Наш город стал его второй родиной, именно здесь формировался он и как опытный работник высшей школы, и как исследователь литературы, и как литературный критик.

Не всё шло гладко. В 1949 году, когда в обеих столицах шла азартная охота на «безродных космополитов», ретивые партфункционеры решили поискать таковых и в наших сибирских палестинах. Исполнителем была назначена омская журналистка, которая в своё время, будучи ещё комсомолкой, уже продемонстрировала беззаветную преданность всегда «единственно верной» линии партии, — когда её отец был объявлен «врагом народа», публично отреклась от него. За что и получила прозвище «Павлик Морозов», которое не отклеилось от неё до конца жизни.

* * *

Сейчас начинаешь понимать, что, не смотря на весь свой внешний академизм, как критик Ефим Беленький всегда был актуален, а в некоторых случаях даже намного опережал своё время.

«Литературный ли город Омск?» Так называется статья, открывавшая книгу «Из сибирской тетради» (1978). Статья написана остроумно и с изяществом, она отвечает на поставленный в названии вопрос утвердительно, автор на ярких примерах доказывает: литературные традиции города на Иртыше имеют крепкие корни в прошлом, а его литературное сегодня и интересно, и перспективно. И многое в этой статье звучит так, будто написано не сорок с лишним лет назад, а вчера.

Почему в Омске в годы, предшествовавшие Октябрьской революции, работала самая большая в Сибири группа писателей? Какой была литературная жизнь Омска в период колчаковской диктатуры? Что напечатано на страницах редчайшего ныне издания — омского журнала «Искусство», два номера которого вышли в тяжёлые 1921—1922 годы? Обо всём этом можно узнать из очерков, составивших первую часть сборника «Из сибирской тетради». Ставшая библиографической редкостью книга, малодоступная широкому читателю старая газета, архивный документ — вот что составляет основу этих очерков.

Последнее относится и к литературным портретам, помещённым в книге. Их герои — прозаик Антон Сорокин, поэты Пётр Драверт, Георгий Вяткин и Павел Васильев — по разным причинам на долгое время были забыты, не издавались их книги, а исследователи русской литературы Сибири лишь вскользь упоминали их имена на страницах своих работ. И Ефим Беленький (опять же практически первым) проанализировал их творчество, подробно показав любителям литературы своеобразие таланта каждого. Характерен в этом отношении и пример работы Ефима Беленького с поэзией Петра Драверта.

В 1956 году Сергей Залыгин (тоже, как известно, в прошлом омич) напечатал в «Литературной газете» статью «О товарище, который старше меня», в которой цитировал П. Драверта, с горечью констатируя: «Стихи, которые я приводил выше, опубликованы в четвёртой книге “Омского альманаха”, изданной в 1944 году. Опубликованы и... забыты». Как бы в ответ на эти слова в Омске на следующий же год выходит сборник Петра Драверта «Стихи о Сибири» с предисловием Ефима Беленького. Через 34 года после выхода последней прижизненной книги П. Драверта «Сибирь» (Новониколаевск, 1923) перед любителями поэзии предстал незаурядный мастер стиха. И с тех пор изучение и пропаганда литературного наследия П. Драверта заняли заметное место в творчестве Ефима Беленького. В результате небольшое предисловие к «Стихам о Сибири» вылилось в полнообъёмный литературный портрет. А в 1979 году (тогда отмечалось 100-летие со дня рождения поэта-учёного) в Новосибирске выходит большой однотомник П. Драверта «Незакатное вижу я солнце», который составил, снабдил предисловием и комментариями опять же его омский исследователь.

Помню, когда Ефим Исаакович узнал, что П. Дравертом увлёкся и я, он стал всячески поощрять этот мой интерес. Когда появились мои первые статьи на эту тему, стал ссылаться на них в своих работах. Надо ли говорить о том, насколько важна была такая поддержка для меня, делающего первые шаги в литературе, только находящегося в преддверии своей первой книжки?..

Не раз, разумеется, бывал я у Е. И. дома. Конечно же, книги составляли главную «мебель» его квартиры в большом солидном доме на улице Герцена. Были среди них и букинистические редкости. Но запомнил я почему-то не их, а обычный хозяина выставлять «лицом» наружу новинки, присланные их авторами в течение года. В декабре хозяин подводил итог этим присылкам — иногда их набиралось до двух десятков. Это говорит о широте его «литературно-дружеских» связей — бандероли с книгами, украшенными автографами авторов, приходили из Смоленска, Москвы и Ленинграда, из Свердловска, Новосибирска, Иркутска, Томска...

* * *

В обширной библиографии Е.И. Беленького указана одна его публикация, которая напоминает мне сегодня о недолгой (1980 — 1983 годы), но дорогой и важной для меня работе в Омском литературном музее имени Ф. М. Достоевского. Речь идёт о статье «Самокладки киргизские» в «Вечернем Омске» за 3 июля 1981 года. Но тут не обходясь без предыстории.

В 1980 году тогдашний директор Омского краеведческого музея Юрий Анатольевич Макаров добился в Министерстве культуры РСФСР и у местных властей создания ОГОИЛМ — Омского Государственного объединённого исторического и литературного музея. Среди 18-ти новых (дополнительных) штатных единиц, выделенных ОГОИЛМу, была и «единица» заведующего отделом литературных экспозиций. Занять эту должность Юрий Макаров, с которым мы были хорошо знакомы ещё с конца 60-х годов, пригласил меня. Никаких «литературных экспозиций» тогда ещё не существовало, здание будущего Литмузея находилось в стадии реконструкции и напоминало своим видом жертву бомбардировки, но научные сотрудники Виктор Вайнерман и Надежда Собянина, руководителем которых я вдруг стал, уже около двух лет собирали экспонаты.

Не они были первыми в этом нелёгком деле, история Литмузея уходит своими корнями аж в далёкие 20-е годы, интеллигенция Омска мечтала о нём уже тогда. Букву «А» сказали Г. Круссер, Н. Феоктистов и П. Драверт — в 1928 году они опубликовали в журнале «Сибирские огни» статью «К вопросу об организации историко-литературного музея в Сибири». Много сделал для будущего литмузея краевед А. Ф. Палашенков. В самом начале 60-х годов сбором материалов для него занимался Ю. И. Шухов, затем — Л. С. Худякова и Л. Ф. Хапова. Экспонаты поступали и от таких энтузиастов, как Иван Коровкин, Ксения Зубарева, Светлана Нагнибеда... Но вот беда — собранное в разные годы сосредотачивалось не в одной «кучке», предназначенной именно для будущего Литмузея, а в разных местах. Помню, поняв это, я, новоиспечённый музейщик, полусуштя-полусерьёзно, всё повторял тогда, что поисковые экспедиции нам следует направлять не в какие-то далёкие края, а в собственные музейные шкафы, коробки и папки.

Недаром говорят, что в шутке часто присутствует истина. Так, в богатейшей музейной библиотеке мы нашли тогда журналы, где впервые были опубликованы некоторые произведения Ф. М. Достоевского (а ведь для Литмузея это были экспонаты первого ряда!).

Однажды, весной 1981 года мы с Виктором Вайнерманом перебирали коллекцию автографов, которая входит в состав обширного личного фонда П. Л. Драверта, хранящегося в Омском краеведческом музее ещё со второй половины 1940-х годов. Вдруг мелькнуло знакомое название — «Самокладки киргизские». Именно так назвал когда-то, в самом начале 20-х годов, свою публикацию в омском журнале «Искусство» молодой Всеволод Иванов (тогдашний его псев-

доним — Всеволод Тараканов) — будущий классик советской литературы. Сравнили почерк автографа с имеющимся у нас образцом — без всякого сомнения это была рука Вс. Иванова!

Когда ажиотаж от этой маленькой сенсации спал (а поздравляли в тот день нас многие), возник вопрос: кто напишет о находке? Конечно же, хотелось сделать это самим (ведь нашли-то автограф мы!). Но, как говорится, доводы разума оказались сильнее эмоций. Было ясно, что квалифицированной Е. И. Беленького никто в Омске сделать это не сможет, ведь он, что называется, «в теме» — именно его перу принадлежала хорошо известная нам, сотрудникам будущего Литмузея, статья о журнале «Искусство». Писал он — и не раз — о Всеволоде Иванове, о его литературной молодости, связанной с Омском. А кроме того, Е. И. ещё при Юрии Шухове, в 1961 году, был включён в общественный Совет литмузея. (Много позже Юлия Зародова, специально изучавшая историю создания музея, нашла один из протоколов заседания Совета. По вопросу о сборе материалов и подготовке экспозиции на этом заседании выступал как раз Е. И. Беленький. Тогда, в 1961 году, он говорил, что основа экспозиции уже просматривается, что следует обратить особое внимание на привлечение материалов, связанных с Ф. М. Достоевским, а также с местными писателями, ставшими жертвами культа личности, подчёркивал необходимость пропаганды будущего музея.)

...Хорошо помню, как я позвонил тогда Ефиму Исааковичу. Он не сразу понял, в чём дело, что именно мы нашли. Но когда до него дошло, о каком автографе идёт речь, я почувствовал, что привычного академизма в его голосе осталось минимум, но зато появилось обыкновенное человеческое волнение.

— И вы хотите, чтоб я написал об этой находке?..

Через час с небольшим он уже сидел в душноватом музейном хранилище и бережно перебирал исписанные характерным почерком Всеволода Иванова листочки.

Статья «Самокладки киргизские» в «Вечернем Омске» получилась замечательная. Недаром редакция не пожалела под неё места. «Обнаружение автографа нескольких стихотворений одного из основоположников советской литературы уже само по себе — удача. Но ценность находки не только в этом. Найденная тетрадь содержит новые, неизвестные до сих пор тексты и существенные разночтения уже известных стихотворений Всеволода Иванова».

И дальше идёт тонкий литературоведческий анализ найденного автографа, а в кон-

це приводятся два неизвестных доселе текста — «Жаурын-кора» и «Юрта» — стилизация под казахский фольклор.

Статья о «Самокладках» появилась в «Вечернем Омске», повторю, 3 июля 1981 года. Именно в эти дни в разгаре была наша работа по подготовке первой в только что принятом от строителей здании Литмузея выставки, она была развёрнута пока всего в двух залах и называлась «Первые поступления в Литературный музей». Открылась выставка 24 августа, привлекла немалое внимание, а главное, наглядно показала: долгожданный Омский литературный музей — это уже не разговоры, а нечто вполне реальное и приближающееся. Автограф Всеволода Иванова и лежащая рядом с ним статья Еф. Беленького, напечатанная не где-то в узкоспециальном научном издании, а в массовой популярной газете, не просто украсили экспозицию, а наглядно показали, чем занимается музей и его сотрудники.

* * *

Запомнилось мне и одно из выступлений Е. И. на писательском собрании. В каком это году было, точно сказать не могу, — видимо, где-то в первой половине 80-х.

Собрание было не «рядовым», а отчётно-выборным, вначале тогдашний руководитель омских писателей Леонид Иванов прочитал доклад. Сделан был доклад по давно уже апробированной схеме — рассказав о работе писательской организации в целом, председатель перешёл к информации о каждом отдельном писателе. Назывались книги и публикации, которые состоялись у того или иного местного поэта или прозаика, перечислялись его выступления в периодике, творческие поездки и пр. Было сказано несколько слов и о работе Еф. Беленького.

Но, как оказалось, эти «несколько слов» не удовлетворили Е. И. Попросив слово в прениях, он вышел к трибуне, вынул конспект выступления и по сути дела прочитал своеобразный «содоклад» о своей личной литературной работе, который занял едва ли не столько же времени, сколько перед этим выступление самого Л. Иванова. Ничего подобного никто никогда до этого не делал.

Е. И. перечислял те свои публикации, которые были в последнее время не только в общедоступных изданиях — журналах «Литературное обозрение» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Сибирь» (Иркутск), но и в малотиражных институтских «Учёных записках», указывал на так называемые «внутренние рецензии», которые он писал по просьбе издательств, рассказывал о своей работе в качестве члена редколлегии таких многотомных изданий, как «Литературное наследие Сибири» и «Библиотека си-

бирского романа», капитального двухтомного труда — «Очерки истории русской литературы Сибири». Кроме того, говорил о своей деятельности в качестве члена Совета по критике и литературоведению при Союзе писателей РСФСР, о сотрудничестве с омскими СМИ, о встречах с читателями по линии бюро пропаганды художественной литературы и общества «Знания», о своём участии в подготовке экспозиции будущего Омского литературного музея... Всё это было рассказано, как всегда, в негромком, спокойном, «академическом» тоне, без намёка на какой-нибудь «вызов». Но каждый понимал, что своеобразным вызовом был сам факт данного необычного выступления — вызовом против привычного, схематического, «перечислительного» подхода к живой, творческой писательской работе.

СИБИРЯКИ В ДВЕНАДЦАТОМ ГОДУ

Скромное омское издание — небольшая, чуть крупнее ладони, брошюра Вячеслава Стрельского «Сибирь в Отечественной войне 1812 года». Издана в 1942 году.

Автор, работник Омского архива, подчёркивает, что в дни Великой Отечественной войны повысился интерес к героическому прошлому нашей Родины. Подняв никогда не публиковавшиеся документы, он рассказывает об участии сибиряков в войне с Наполеоном.

Вот как оценивает брошюру Стрельского автор предисловия к ней Б.М. Волин:

«...Впервые публикуемые в брошюре т. Стрельского материалы об участии Сибири в Отечественной войне 1812 года представляют значительный интерес...

Далёкая холодная Сибирь и её многочисленные народности во главе с русскими людьми живо пережили происходящее на другой, западной стороне Отечества. Сибиряки — русские и нерусские люди — жертвовали своим добром, добровольно шли в ополчение и армию, проливали кровь и отдавали жизнь свою во имя победы над опаснейшим врагом, угрожающим самим основам национальной самостоятельности России».

Документы, которые цитирует Вячеслав Стрельский, просто поразительны.

1812 год. Идёт запись добровольцев, или, как тогда говорили, «жертвенников», в народное ополчение. Тобольский губернатор фон Брин сообщает, что жители большинства тобольских волостей, «движимы будучи усердием к общему благу сделали приговоры, что... все вообще способные носить оружие... готовы вступить в ополчение для защиты Отечества».

Проводится сбор пожертвований. Иркутский губернатор Трескин докладывает, что деньги на народное ополчение поступили от населения «без всякого с моей стороны возбуждения, сверх всякого чаяния».

В фонде сибирского генерал-губернатора автор брошюры разыскал сообщение, присланное вице-губернатором из Томска: «...вдова подпоручицкая жена Татьяна Кошарова словесно объявила, что имеет у себя никуда ещё не определённого сына Михаила шестнадцати лет... а нынче жертвует отдачею его для продолжения воинской службы на вечное служение в армейские полки... Ныне её Михайло объявил таковое ж вышеописанное желание».

Рассказывается в книжке и о героизме сибиряков, проявленном непосредственно в боях. Говорится, например, о 24-й Сибирской дивизии, защищавшей на Бородинском поле батарею Раевского и погибшей целиком во главе со своим командиром Лихачёвым.

Нужнейшее и благороднейшее дело сделал семитысячный тираж этой скромной брошюры. Читателю напоминали о славе прадедов, призывающей быть достойным её, помогали ошутить историзм происходящего вокруг.

* * *

В своё время поиски сведений о Вячеславе Стрельском привели меня к его дочери — сотруднику Института истории Академии наук УССР Л. В. Шевченко. Вот её письмо, полученное в ноябре 1986 года:

«С большой грустью сообщаю Вам, что мой папа — Стрельский Вячеслав Ильич скончался вот уже более трёх лет назад — 11 августа 1983 г. После его смерти я занимаюсь передачей его творческого наследия (рукописи, переписка, биографические документы, фотографии и др.) в архив, где создан специальный фонд. Сейчас мы пытаемся сделать его библиографию и опубликовать её.

С 1944 г., после возвращения из Омска, он работал в Киеве директором ЦГИА УССР (с 1944 по 1947 г.), одновременно работал на вновь созданной кафедре архивоведения и вспомогательных исторических дисциплин Киевского университета, заведовал ею с 1945 г. до конца жизни. Доктор наук, профессор, автор более 120 научных трудов, в том числе — нескольких учебников по источниковедению истории СССР».

«Делаю выписки, — продолжает Л. В. Шевченко, — из его автобиографии. В январе 1942 г. он был направлен в Омск, где работал старшим научным сотрудником Архивного отдела НКВД по Омской области. Наряду с организационной работой, по заданию Е. М. Ярославского и Б. М. Волина

им были срочно подготовлены две книги “для поддержания боевого патриотического настроения советских воинов формирующихся дивизий на Сталинградский фронт: “Сибирь в Отечественной войне 1812 г.” (Омск, 1942) и “Сибирь в Великой Отечественной войне” (Омск, 1943)”. Одну из них В. И. Стрельский лично доставил в сражающийся Сталинград генералу Гуртьеву».

Здесь стоит напомнить, что 308-я дивизия, которой командовал Л. Н. Гуртьев (1891 — 1943), была сформирована весной 1942 года на базе Омского пехотного училища, начальником которого он был. Отличилась в боях под Сталинградом, о подвигах гуртьевцев узнала тогда вся страна из очерка Василия Гроссмана «Направление главного удара», опубликованного вначале в «Красной звезде», а затем (по личному указанию Верховного главнокомандующего) — в «Правде» и других изданиях. В Омске этот очерк был оперативно издан отдельной книжкой. Погиб Герой Советского Союза Л. Н. Гуртьев в боях за Орёл, и в этом городе ему установлен величественный памятник.

Но вернёмся к письму дочери архивиста и историка В. Стрельского, в котором она сообщает факты биографии своего отца. Она пишет, что, кроме двух вышеназванных брошюр, им «были написаны ещё книги: “Великая Отечественная война и Сибирь” — в соавторстве с В. Дуловым (Иркутск, 1944), “Патриотические традиции сибиряков”, был опубликован ряд статей на эти же темы в “Историческом журнале” и в омской газете “На страже”. Обогрётная кровью неизвестного советского воина и прошитая пулей фашиста книга “Патриотические традиции сибиряков” экспонировалась в Центральном музее Советской Армии в Москве.

Кроме того, он был также пропагандистом Омского обкома партии, прочитал более 100 лекций в воинских частях, в госпиталях, на предприятиях, выступал по радио».

* * *

Библиография трудов В. И. Стрельского, о которой упоминает его дочь Л. В. Шевченко, вышла, и позже я её получил. Конечно, нашла в этой библиографии место и омская книжка 1942 года, и другие его омские работы военного времени. А вот некоторые факты из вступительной статьи (автор Ю. Э. Данилюк).

Родился В. И. Стрельский в 1910 году в Курске, в семье железнодорожного служащего. Его отец И. Д. Стрелков-Стрельский был одним из организаторов единственного в России провинциального театрального издания — журнала «Курский театр», в котором участвовали Ф. И. Шаляпин, М. Г. Савина, М. Н. Ермолова.

После Омска, вернувшись в феврале 1944 года на Украину, он участвует в работе оперативных групп НКВД, спасавших документы своевременно не эвакуированных советских архивов и параллельно искавших документы откатившихся на запад фашистов. В Ровенской области поисковой группой, в которую входил В. Стрельский, был найден архив рейхскоммиссара Украины Эриха Коха. Бумаги из этого архива фигурировали на Нюрнбергском процессе.

...Таковы штрихи жизни человека, трудившегося в сибирском городе Омске в тяжкие дни военного лихолетья и написавшего для бойцов генерала Л. Н. Гуртьева книжку, рассказывающую об их далёких предшественниках — героях славного 1812 года.

* * *

Остаётся добавить, что в 2011 году омские архивисты (Л. Огородникова и другие) переиздали эту книжку, она предстала перед читателем во вполне достойном виде — в твёрдом переплёте, с цветными иллюстрациями.

ЗА ЧТО УБИЛИ ЛЕРМОНТОВА?

Пощёлкаешь телевизорным пультом с полчасика и невольно начинаешь убеждаться — со всех сторон окружает нас нечто Иное, Потустороннее, нашему слабенькому умишке не до конца доступное...

Вот истово и неустанно читает свои бесконечные лекции о Господе и Библии неутомимый лектор с фанатичным блеском в глазах. Вот посвящает нас в бесчисленные мистические тайны неудавшаяся шпионка с умопомрачительной фигурой. Вот возносят хвалу Аллаху с мусульманского канала. Вот соревнуются экстрасенсы, красиво поют кришнаиты... А рядом вешают колдуны, шаманы, знахари, гадалки, предсказатели будущего, разгадыватели неразгаданного... Делятся интимными подробностями дамочки бальзаковского возраста, забеременевшие от инопланетян. Мелькают на телеэкране летающие тарелки и другие НЛО с пришельцами на борту, бочком пробегают за кустами стеснительные снежные человеки. Их опять сменяют серьёзные, хорошо и правильно говорящие священнослужители в рясах и с солидными крестами на массивных цепях...

Как-то неуютно среди всего этого скромному воспитаннику безбожной Все-союзной пионерской организации и развешёлого Ленинского комсомола. Как-то одиноко осознавать себя, никогда не верившего ни в Бога, ни в чёрта, но в то же время вечно в чём-то сомневающегося, среди всех этих уверенных, солидных людей, ведущих себя так, будто в карманах у них лежат мандаты быть на нашей грешной Земле представите-

лями неких Высших сил. Недавно даже услышал чьё-то (конечно же, авторитетное) утверждение, что атеисты — это вообще большие люди, которых следует лечить. (Хорошо хоть, что пока в этой фразе отсутствует слово «принудительно»).

К чему это я? А вот к чему.

В конце июля — начале августа 2012 года на некоторых сайтах появились статьи, авторы которых вспоминали печальные подробности смерти великого нашего поэта Михаила Лермонтова. Ведь его трагическая дуэль с Мартыновым состоялась 27 июля. А я вспомнил другое — после того, как в мае этого же года в нашем городе с большим размахом прошёл кинофестиваль «Золотой витязь», мне и другим посетителям одного из его мероприятий стала известна страшная тайна ранней гибели несчастного Михаила Юрьевича. Поведал нам её сам главный организатор этого знаменитого кинофорума — актёр и режиссёр Николай Бурляев.

Кинофестиваль, говорят, прошёл очень хорошо, в гости к нам в Омск приезжали многие любимые народом актёры и режиссёры, на фестивальных встречах и показах побывали тысячи людей. Я посетил только одно мероприятие, о нём и хочу рассказать. В рамках фестиваля в наш город приезжал заслуженный артист России Николай Чиндяйкин. Для тех омичей, кто постарше, приезд его был праздником — ведь хорошо помнится его замечательная работа на сцене Омского драматического театра в 70-е годы. Особенно в паре с женой — блистательной актрисой Татьяной Ожиговой.

С волнением начал знаменитый актёр говорить о тех чувствах, которые он испытывает, вновь оказавшись в стенах родного театра. На сцене, носящей имя любимой, временно ушедшей из жизни жены. Публика собралась, можно сказать, особая, заинтересованная, слушали внимательно, некоторые и сами тоже выступали с воспоминаниями о золотых годах Омской драмы...

Но вдруг рядом с Николаем на сцене появилось первое лицо «Золотого витязя» — Николай Бурляев. И в результате чуть ли не половина отведённого для встречи времени оказалась занятой его выступлением. Вначале он рассказывал об успехах фестиваля, о своей творческой биографии, одним из узловых моментов которой стало, по признанию актёра, исполнение роли Лермонтова в одноимённом авторском фильме 1987 года. Но затем гость начал излагать свои лермонтоведческие взгляды, предварив их смелым заявлением о том, что к ним прислушиваются сегодня ведущие лермонтоведы страны.

Враги России, заявил Николай Петрович, уже давно пытаются исказить светлый образ великого поэта, который был истинным патриотом своей страны. Ещё в позап-

рошлом веке они (враги) сочинили за него (т. е. за поэта) нехорошее стихотворение «Прощай, немая Россия...» и выдают это провокационное антипатриотичное восьмистишие за его сочинение. А на самом деле Михаил Юрьевич этих стихов не писал, не случайно автограф их отсутствует. Автор «Бородино» Родину горячо любил и никак не мог назвать её «немойтой».

Позже, придя домой, я достал имеющийся в моей библиотеке четырёхтомник Лермонтова и разыскал в нём это стихотворение:

**Прощай, немая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.**

**Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих царей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышающих ушей.**

Удивившись тому, что строка «Укроюсь от твоих пашей...» дана в данном четырёхтомнике в незнакомой мне редакции, я раскрыл примечание к этому стихотворению. В нём сказано буквально следующее:

«Написано, очевидно, перед отъездом во вторую ссылку на Кавказ — весной 1840 года. Одно из самых сильных политических стихотворений Лермонтова, свидетельствующее о чрезвычайно последовательном революционно-отрицательном отношении Лермонтова к полицейскому режиму Николая I. Ввиду смелости и политической остроты стихотворение впервые могло быть напечатано в России только в 1887 г.»

Этот красивый лермонтовский четырёхтомник достался мне от отца — тот купил его вскоре после войны, в год его выпуска — в 1948-м. На дворе тогда стояла активная и увлекательная охота за «безродными космополитами», а комментарию к этому изданию как раз и писал матёрый «космополит» — Борис Эйхенбаум, и он мог в угоду властям слегка преувеличить «революционные» заслуги Михаила Юрьевича.

Ладно, подумал я, обратимся к более спокойным временам. Пришёл в ближайшую библиотеку и спросил, есть ли у них «Лермонтовская энциклопедия», изданная, как известно, в 1981-м. Энциклопедия нашлась, и вначале я порадовался её несколько «бэушному» внешнему виду — так выглядят книги, которые то и дело читают. А ведь это узкоспециальное издание, а не роман мадам Дондовой. Но Энциклопедию активно читают, значит, русской классикой интересуются! Так вот, полистав Энциклопедию, я понял, что и у её составителей, как когда-то у Эйхенбаума, никаких сомнений в автор-

стве данного стихотворения не было. Более того, здесь говорится, что отсутствие автографа — аргумент весьма и весьма косвенный, поскольку таковые отсутствуют почти у каждого четвёртого лермонтовского произведения.

Но вернёмся в тот майский день, в уютный зал Камерной сцены Омского драмтеатра.

Разобравшись с вышеупомянутым стихотворением, Николай Бурляев заговорил о вещах более глобальных. Например, о том, что ему известна причина гибели нашего великого поэта. Его убийца Мартынов был лишь инструментом, действовавшим по повелению неких высших сил, некоего божественного перста. Поэт был наказан за свою поэму «Демон», в которой Демон — это воплощение мирового зла, чёрных антибожественных сил, враг человеческий — был нарисован автором с симпатией, в результате он вызывает у читателя чувство сопереживания, что неправильно, антихристиански его, читателя, ориентирует. Вот именно за это и настигла Лермонтова мартыновская пуля.

А в качестве «довеска» к вышеизложенному несколько ошарашенный такой осведомлённостью выступающего зал получил «инфу» и про причину несчастья, случившегося со знаменитым артистом Николаем Караченцовым. Оказывается, автомобильная катастрофа, в которую тот попал, это не просто обычная катастрофа, а тоже божья кара. Настигла она артиста за то, что он в течение многих лет играл в ленкомовском спектакле «Юнона и Авось» роль камергера Резанова. Причём играл его так, что образ этот полюбился тысячам зрителей. В то время как Резанов — это далеко не образец для подражания, а греховодник, соблазнитель юной и невинной девушки, разрушитель её потенциальной семьи. На двадцать пятом году существования знаменитого спектакля терпение у Небесной канцелярии лопнуло, и с Караченцовым случилось то, что случилось... Так-то вот...

Поведав эту историю, главный организатор фестиваля «Золотой витязь» нас покинул. После чего Николай Чиндяйкин, молча помотав головой, продолжил своё общение с залом...

* * *

Почти что в тему — сообщение «Общеписательской литературной газеты». «Русская Православная Церковь, — говорится в нём, — одобрила переиздание сказки А.С. Пушкина «О попе и работнике его Балде» в редакции Василия Жуковского, в котором поп заменён купцом. Впервые сказка увидела свет в 1840 году — оппонентом Бал-

ды в ней выступал купец Кузьма Остолоп. Версия, где Балда поступил на службу к попу, была напечатана в 1882 году в собрании сочинений Пушкина под редакцией П.Е. Ефремова. С приходом к власти большевиков именно она стала считаться канонической» (ОЛГ, № 4 (29), 2012).

Поэтому весьма актуальным становится в связи со всем этим вопрос о конце света. Лично я, как только попаду туда, где находятся сейчас и Михаил Юрьевич, и Александр Сергеевич, в первую голову постараюсь непосредственно у них выяснить и про «немую Россию», и про «оппонента Балды». Да вот всё откладывается конец света и откладывается. В одной из недавних телепередач что-то опять про письма мая говорили, мол, именно там точный срок указывается, когда всем нам кирдык наступит. Как бы не пропустить, не проспак — телезритель-то я не очень прилежный...

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН...

В Сети осенью 2012-го проходила информация о том, что вдова Александра Солженицына — Наталья Дмитриевна уговаривала нашего президента увеличить в школьной программе часы преподавания литературы. Оказывается, нынче они уменьшены уж совершенно до неприличного уровня.

Вот текст их беседы (сокращён он не мной):

«Путин обещает Солженицыной рассмотреть вопрос увеличения часов литературы в школах

Ново-Огарёво. 5 ноября. ИНТЕРФАКС.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообещал обсудить с Минобрнауки вопрос увеличения количества часов преподавания литературы в школе.

«Пообсуждаем это с Минобрнауки. Поговорю еще с ними», — сказал В. Путин на встрече с вдовой Александра Солженицына.

Наталья Солженицына пожаловалась на то, что часы литературы в школе сократили с пяти до двух. Она отметила, что раньше «люди могли говорить друг с другом цитатами из литературных произведений и понимали друг друга, а сейчас не так».

«То, что литературу теснят — это на самом деле колоссальная опасность для единства страны <...> Выкинули её, а что ввели? <...> Литературу надо бы вернуть», — сказала Н. Солженицына, добавив, что именно литература объединяет общество.

В. Путин отметил, что сейчас идут непростые процессы в сфере образования. «Вот они непростые идут, и все не в пользу литературы», — ответила на это Н. Солженицына.

«Я думаю, что вернутся к этому ещё. Вы знаете, навязывать сверху — всё-таки это неправильно, надо чтобы профессиональное сообщество само...», — сказал президент.

Н. Солженицына заверила, что «профессиональное сообщество, которое гуманитарное — оно, конечно, все воет и плачет и хочет, чтобы это вернули, а то, которое демократическое — оно говорит, что это не нужно».

Н. Солженицына напомнила, что скоро будет отмечаться 50-летие произведения «Один день Ивана Денисовича». «Иван Денисович» необходим как лекарство против беспамятства. Потому что понимаете, вот беспамятство — это всё-таки болезнь слабого человека, слабого общества и слабого государства. Потому что помнить нужно и хорошее, и плохое обязательно, иначе мы будем хромать», — сказала она.

«Точно, это правда», — согласился с ней В. Путин.

По словам Н. Солженицыной, «Ивана Денисовича» изучают в школьной программе уже давно, а с «Архипелагом ГУЛАГ» дела обстоят сложнее. «Он же рекомендательный просто, и некоторые местные департаменты, которые заказывают книги в издательстве «Просвещение», его не заказывают», — сказала Н. Солженицына.

Она также обратила внимание на то, что школьники проходят «Архипелаг ГУЛАГ» в 11-м классе весной, в то время, когда готовятся к ЕГЭ».

Когда-то Н.Д. Солженицына помогла нашему альманаху «Складчина» — органу Омского отделения Союза российских писателей. После дефолта 98-го года, когда лопнул поддерживавший нас Инкомбанк, мы никак не могли раздобыть денег на «Складчину — 4» — в течение пяти почти лет. Перебрав десятки всяческих вариантов и обнаглев от отчаяния, в 2003 году я обратился за помощью и в «Фонд А. И. Солженицына», послал туда три первых выпуска альманаха. В ответ вдруг позвонила сама Президент Фонда — Наталья Дмитриевна. Она сказала, что альманах наш ей понравился, правда, если вести речь о помощи со стороны их Фонда, то её смущает, что до этого Фонд помогал в основном бывшим политическим заключённым, для этого он и был создан. В ответ, помню, я попытался сострить — сказал, что мы живём в стране, где очень даже легко поменять статус свободного гражданина на тот, о котором она говорит. Моя собеседница сдержанно засмеялась и начала говорить о том, какие финансовые документы нужно прислать для получения их субсидии. На следующий год «Складчина — 4» вышла.

Не знаю, удастся ли переправить Н.Д. Солженицыной книгу, которую мы вы-

пустили в конце 2012 года на муниципальный грант и которой хотим подвести определённые итоги почти двадцатилетнего существования альманаха. Внешне выглядит она весьма привлекательно. Это избранное из «Складчины», 1-я ее книга, которая включила в себя прозу и поэзию. «Не книга — невеста!» — воскликнул один эмоциональный человек, когда взял её в руки.

Вместо «передовой статьи» в «Избранном» помещена хроника «Неистребимая “Складчина”», рассказывающая об истории альманаха. В ней среди прочего цитируется моя статья, написанная ещё в 2008 году — к выходу тридцатого выпуска. Называлась она статья «Делай, что должен, или Комментарий редактора к числу 30»:

«О “Складчине” знают не только в Омске, но и во всех российских городах, где есть отделения и представительства Союза российских писателей (таковые существуют в большинстве регионов страны). Мы — часть общероссийского литературного процесса. Процесса, который силой слова мужественно пытается противопоставить себя всеобщему оболваниванию, “опопсению” и пошлости, насаждаемым с телевизионного экрана, из-под глянцевого обложки и даже с театральных подмостков. Мы — активные участники данного противостояния, и это ко многому обязывает... Конечно, было бы наивным думать, что мы в обозримом будущем одержим верх в этом противостоянии... Но не сидеть же сложа руки, моральная работа за нами. Поэтому надо следовать древнему правилу: делай, что должен, и будь, что будет».

Даже сам президент страны, как это видно из его беседы с Н. Солженицыной, опасается навязывать своё мнение федеральному Министерству образования, которое уменьшило пять школьных часов, предназначенных для изучения литературы, до двух. Что ж, а мы попробуем зайти с другого конца — не «сверху», а «снизу» — со стороны самой школы. Мы готовы вслед за экземпляром «Избранного» прийти в любую из 370 омских городских школ и провести беседу о современной литературе, о местных писателях. В такой ситуации на первый план выходит фигура школьного библиотекаря. Теперь уже во многом и от него, а не только от учителя-словесника зависит литературная эрудированность наших детей и внуков. Было бы здорово, если бы по каждому экземпляру нашего сборника, поступившему в школы, было бы проведено по несколько встреч, литвечеров, а может, и дискуссий. В целом задуманного столичными чиновниками процесса отлучения молодёжи от отечественной литературы это, разумеется, не остановит. Но нужно же сопротивляться. Нужно делать, что должен...

Кстати, понимают это многие. Вот, например, как выражают своё отношение к «минимизации» (бюрократы от Минпроса употребляют словечко «оптимизация») количества уроков по литературе наши соседи — тюменцы. Тамошняя арт-группа «Цвет города» демонстративно разрисовала одно из школьных зданий под книжную полку: пусть дети, ежедневно видя такие огромные книжные корешки, помнят, что не «компом» единым жив человек...



К 70-ЛЕТИЮ ЭДУАРДА РУСАКОВА

Для автора — дебютанта в жанре «юбилейного творчества» — трудности начались с первой фразы «исполнилось 70 лет известному писателю»: а кем и чем нынче определяется известность? По тиражам лидируют Донцова, Шилова, Устинова, Полякова, Маринина, «Сайт писателей» представил список «10 лучших»: Пелевин, Улицкая, Юзефович, Маканин, Кабаков, Лукьяненко, Акунин, Быков, Гришковец, Иванов... Из сибиряков ближе всех к этой группе подобрался Михаил Успенский, земляк Эдуарда Русакова, в свое время он даже передал тому руководство Красноярским отделением Союза Российских писателей.

Такая неопределенность с понятием «известность» приводит к казусам и неловким ситуациям. Так, в обзоре раздела «Персона номера» во втором номере «Литературной учебы» за этот год Русаков представлен как «известный в Красноярске писатель». Обидно (все-таки его знают и за пределами крайцентра) и неверно: в Красноярске Эдуарда Ивановича больше знают как журналиста, обозревателя газеты «Красноярский рабочий».

Остается одно — полагаться только на свои собственные оценки. На мой взгляд, Эдуард Русаков — один из лучших писателей России, его творчество — наиболее полная реализация тех возможностей, которые таятся в мучительных попытках соединить традицию и новацию, вечное и земное, высокое и низкое, неведомое прошлое и ужасающее своей предсказуемостью будущее...

Будущий писатель родился 31 октября 1942 года в городе Красноярске. Отец, Иван Русаков, ушел на фронт в начале 42-го и погиб в 44-м при освобождении Литвы. Как отмечают биографы, Эдуард беззаветно любил свою мать — Елену Русакову, в нем с детства жили страх потерять ее и чувство сиротства. Как отмечает сам писатель, сиротство «обострило и мою фантазию, и чутье, и ту степень аутизма, которая необходима писателю». Мамынькин сынок, с детства избалованный женской лаской (мама, бабушка, бездетная тетя), напишет потом редкие по своей пронзительности строки, чего стоит начало рассказа «Стеклянные ступени»: «Голос мамы тихий, шелестящий, еле доносящийся издалека: “Зайчик белый, где ты бегал?.. как ты там, мой маленький?..”»

Читать и придумывать разные истории Эдик начал рано, а в пять лет заявил маме, что станет писателем и художником. И лет через семь написал первую повесть — про американских шпионов и советских контрразведчиков...

Человека формирует среда, писателя — тем более. Такой средой для Эдуарда Русакова стал родной Красноярск. Впоследствии Русаков назовет его «мемориальной зоной, большим заповедником», в котором он одновременно и экскурсант, и экскурсовод, и смотритель, и экспонат. К середине XX века город резко разделился на индустриальное правобережье и «культурное» левобережье. На левом берегу были: четыре института (педагогический, медицинский, сельскохозяйственный, лесотехнический), два театра (драмы и музыкальной), два кинотеатра с «музыкой», прекрасный парк (место действия великолепных рассказов Русакова о своих родителях), богатая библиотека. Однако и левобережье не было одинаковым, монолитным. Вся деловая и культурная жизнь кипела на проспекте Сталина (позже Мира) и прилегающих улицах (Ленина, Маркса). Над городом, за речкой Качей, в садах, под Каральной башней, запечатленной на вышедшей из оборота «десятке», располагались две слободы, Николаевка и Покровка, прибежище всех, кому нужен был хоть какой-то угол, рассадники клопов, воровства, хулиганства. Эдуард был «пограничником», он жил между центром и берегом Енисея, в двухэтажном деревянном доме, здесь еще сохранялся провинциальный быт (кстати, моя тетка, жившая в таком же деревянном доме на проспекте Мира, держала в сарайчике козу аж до начала 60-х). Его картинки то и дело встречаются в рассказах Русакова: «Аничка Малеева жила с любимым мужем в старом деревянном одноэтажном доме, на окраине города, возле гнилого пруда, на кривой улице имени Грибоедова... Вот и дом с зелеными наличниками, вот и просторный палисадник, заросший астрами, ноготками, анютиными глазками». Правда, Эдуард жил не возле пруда, а рядом с самим Енисеем, тогда еще теплым, живым, не убитым ГЭСами.

Культурная, в частности, литературная среда была представлена прозаиками Сергеем Сартаковым, Алексеем Черкасовым, Михаилом Глозусом, сражавшимися за лавры местного Шолохова, Николаем Устиновичем, поэтами Казимиром Лисовским и Игнатием Рождественским, певцами Севера. Краевое издательство работало по четкому плану, выпуская очередные «кирпичи» Сартакова («Хребты Саянские»), Глозуса («Последний удар») и других членов СП. Драмтеатр, один из лучших в Сибири (здесь играл чуть ли не единственный на всю Сибирь народный артист), ставил идейно содержательные спектакли по малохудожественным пьесам Погоди-

на, зато в музыкальной шло безыдейные, но блистательные «Сильва» и «Летучая мышь». Театр музыкальной располагался на западе Красноярска, и с запада же, из Москвы, в середине 50-х подул ветер перемен. Стала выходить катаевская «Юность», в книжных магазинах появились «Избранное» И. Бунина, напечатали поэму Евг. Евтушенко «Станция Зима»; в Красноярск по распределению приехали молодые поэты — филолог Зорий Яхнин и физик Роман Солнцев («Зорька и Ромка»). На проспекте Мира появился Брод, где после занятий до глубокой ночи группами, толпами, парами и поодиночке слонялись студенты четырех вузов.

В 1960-м Эдуард стал студентом одного из них, медицинского. Потом он напишет: «Медицина очень полезна писателю... Знание медицины дает необходимую трезвость (и даже долю цинизма), что необходимо для пишущего человека». К моменту поступления он был автором не только давно забытых им «ишионских» повестей, но стихов и психологических рассказов, написанных, по его признанию, под влиянием прозы Леонида Андреева, Гаршина, Достоевского.

В студенческие годы произошли две важные встречи, два знакомства: с Евгением Поповым, будущим автором «Метрополия», и художником Андреем Поздеевым. В 1962 году за издание юношеского самиздатского журнала Русакова и Попова «разбомбили по всем статьям — по чекистской, комсомольской, институтской», но суровых репрессий не последовало, Попов поступил в Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, а Русаков успешно закончил медицинский институт, получил направление в краевую психбольницу и напечатал свой первый рассказ в альманахе «Енисей».

Картины Поздеева — яркие, праздничные, непохожие на «огоньковскую» гладкопись, поразили Эдуарда еще в школьные годы, а знакомство Русакова и Попова с Поздеевым переросло в долготлетнюю дружбу, прервавшуюся только со смертью художника в 1998 году. Осталось несколько портретов Русакова и Попова. Один из них, где Эдуард кудряв, юн, розовощек, я видел в скромной квартире писателя, доставшейся ему от мамы. В 2003 году в журнале «День и ночь» была опубликована документальная повесть Русакова о жизни художника Андрея Поздеева «Свободен, как солнечный зайчик».

Остался верен Эдуард и дружбе с Евгением Поповым, который уехал из Красноярска, как честно признался потом, из опасности попасть на нары или спиться. В Москве его ждало все: всесоюзная слава, скандал с «Метрополем», опала, публикации почти во всех московских журналах. Они перезваниваются, переписываются, раз в год встречаются в Москве.

После института Русаков три года жил и работал в деревне Поймо-Тина врачом-пси-

хиатром. Эти годы остались самыми яркими и памятными: «жил в своем доме, а рядом была тайга, вольная жизнь, масса впечатлений и переживаний». Эти «впечатления и переживания» вошли в роман «Смейся и плачь» и в рассказ «Деды и внуки», опубликованные лишь в 2010 году. Рассказ «Деды и внуки» (о том, как молодой врач психбольницы поехал с шофером Миллером на станцию за водкой по случаю своего дня рождения, а на обратном пути по просьбе главврача прихватил в психприемнике «психа», как псих, замученный «голосами», уверял спутников, что он обязан кого-нибудь убить, иначе он не успокоится, как Миллер «искусил» врача выпить по маленькой, а «псих» называл их алкоголиками и обещал написать жалобу в крайздрав, а потом они свалились в кювет, разбили бутылки и с горя напоили оставшимся алкоголем «психа») может сравниться только с долатовской «Зоной», ставшей классикой: та же свобода, мнимая легкость и беззаботность, зоркость и печальная ирония...

Ранными рассказами Эдуарда заинтересовался довольно известный в то время московский писатель Николай Евдокимов. В 1973 году Русаков становится студентом-заочником Литературного института и попадает в семинар Николая Томашевского — известного литературоведа и переводчика. В каждом событии есть плюсы и минусы, но несомненно то, что общение с «абсолютно западным человеком, у которого было хорошее чутье на настоящую прозу», оказалось более полезным для становления «своего голоса», чем подражание даже гениальному писателю.

Сам Русаков с удовольствием и благодарностью вспоминал годы «литучебы». За окончанием Литинститута последовали успешное участие во Всесоюзном совещании молодых писателей (с добрыми напутствиями Игоря Золотусского и Юрия Трифонова), книги в Красноярске и в Москве, возделенный прием в Союз Писателей СССР.

Мое знакомство с Эдуардом Русаковым началось с повести «Театральный биннокль», напечатанной в начале 80-х альманахом «Енисей», который в ту пору не уступал многим московским журналам. И все же не эта умело выстроенная повесть открыла мне Русакова. Он начался для меня с книги «Остров Надежды» (Красноярск, 1987) — я был поражен, очарован, захвачен, и эти чувства были сродни тем, что охватили меня в 1964-м на выставке Андрея Поздеева. Русаков выполнил свое обещание и, как это ни банально звучит, стал художником слова, каждый его рассказ — как полотно, перед которым стоишь, думаешь, возвращаешься к нему. Потом мне довелось прочитать и московскую книгу «Белый медведь», но «Остров Надежды» осталась для меня самой «красноярской» книгой Русакова, хотя там действие происходит и в Москве, и в Крыму. Конечно же, не последнюю роль сыграло то,

что я с 59-го по 64-й жил в Красноярске, ездил с правобережного Злобина на левый берег, слушал в парке Флиера и оркестр молодого Каца, провожал девушку за Качу: «Снова вспыхнула божия искра, что погасла когда то давно... Снова дом деревянный за Качей, снова девочка горько заплачет...»

С этих, прямо скажем, не лучших, но искренних стихов автора началось наше знакомство. Шла вторая половина 90-х, после 80-х, «самого плодотворного, удачливого, почти счастливого во всех смыслах» десятилетия, после «похода во власть» в начале 90-х вместе с Романом Солнцевым, ставшем при губернаторе Зубове председателем комитета по связям с общественностью, началась жизнь трудная и трудовая. Некоторое время он зарабатывал на хлеб в одном частном издательстве, правя, а порой переписывая состоятельных графоманов. Помню, с каким тяжелым настроением возвращался он с этой работы. Но были в жизни и радости, прежде всего — книги. В 1995-м в Красноярске вышла «Дева Маруся». Это был новый Русаков, экспериментирующий, играющий («ветренный автор, капризный кривляка»), и если где и была «доля цинизма», то именно в «Деве Марии», имеющей подзаголовок «Исторические фантазии и фантастические истории». Среди ее героев: цесаревич — будущий Николай II, которого спасла от смерти в городе Кырске послушница Люся; молодой Ленин, по пути в Шушенское соблазняющий красноярскую барышню; знаменитый путешественник Ф. (видимо, Ф. Нансен); адмирал Колчак и сам Иисус... «Легкомысленная» смесь правды и вымысла особенно полно проявилась в повести «Крыша поехала, или Год Быка в ГорДК», написанной от лица руководителя поэтической студии. Русаков действительно руководил литературной студией «Дебют» в городском Доме Культуры в те перестроечные годы, когда все зашаталось и пришло в движение, появились демократы, прорицатели, учителя, провокаторы, антисемиты, а также секс и страх — в Красноярске имеющий под собой вполне реальную основу: многогонные запасы воды в Красноярском водохранилище, которые при разрушении плотины смоят город... И это в повести случилось, но — вопреки строгим расчетам — вода поднялась только до четвертого уровня, и крыша ГорДК оказалась надежным убежищем от потопа, ковчегом. Ее — опять же вопреки всякой реальности — кружило на месте и затем прибило к Караульной горе, прямо к белокаменной часовне, а из нее «вышла прекрасная юная женщина», и такой финал был бы слишком не по Русакову, если б она не оказалась неверной возлюбленной героя, роковой красавицей в розовой ночной кружевной рубашке и с аморальной улыбкой на устах. «— Шлюха, — сказал капитан Седых».

«Дева Мария» стоит особняком в творчестве Русакова и требует квалифицированной оценки, я же был рад, что в конце века Русаков вернулся к себе, точнее — пошел дальше в том же направлении, а не в сторону. В 1999 году вышла книга избранных рассказов «Ряд волшебных изменений», ежегодно в журналах «День и ночь» и «Сибирские огни» появляются новые рассказы и повести Русакова — предельно жизненные, острые, без морализаторства, присущего некоторым произведениям «советского» периода, особенно продаваемым сквозь московский чашекол, искренние и личные: циклы «Рассказы завтрашнего дня», «Зона Ру». А новые московские издательства снизошли до Русакова лишь в 2003 году («Палата № 666»). Друг Русакова Евгений Попов с горечью пишет в «Литучебе»: «...живи Русаков в Москве либо в Питере, его имя было бы у всех на слуху. А так он всего лишь “широко известен в узких кругах”, хотя его уникальный талант по достоинству оценён и коллегами, и специалистами-литературоведами». Е. Попов неоднократно относил произведения своего земляка в различные издания, и почти везде получал отказ с неубедительной мотивировкой. В другом журнале Е. Попов сетует, что книги Эдуарда Русакова выходят тиражом всего 100 экземпляров. «Однако многим его коллегам, читателям и почитателям известно, что он — один из лучших современных беллетристов, мастер фабулы и сюжета. “Гамбургский счёт” в литературе — это не миф».

Действительно, последние три года его книги выходят регулярно и в оригинальном исполнении в «Частном издании Николая Негодина» тиражом в 100 экземпляров. Многие из того, что писалось в стол, увидело свет: «Уходящая натура», «Шали, мое сердце», «Повести застошных лет». Задумано полное собрание сочинений в 16 томах.

Профессия Эдуарда Русакова — исчезающая. Сам он это, видимо, понимает и относится к этому с «метафизической» (так названо интервью с Русаковым в «Литучебе»: «Эдуард Русаков о литературе и метафизике») мудростью: «Я не удивлюсь, если пройдет несколько лет — и вообще книги мало кто будет читать». Иного не может быть в стране двадцатилетнего культурного геноцида, информационного терроризма, пропаганды агрессии, цинизма, пошлости, идеологии узаконенного грабежа и поощрения предательства, и писателю, чтобы попасть в «формат», надо согласиться с этим.

Тем большее уважение вызывает творческий путь, которым следует Русаков, когда он садится за стол с авторучкой в руке (он сначала пишет от руки, лишь потом печатает на компьютере).

Новых идей и сюжетов тебе, Эдуард! Пусть твоё собрание сочинений долго-долго не станет полным и законченным!

Мы любим тебя!

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Горшенин А. В. Литература и писатели Сибири. Энциклопедическое издание. — Новосибирск: РИЦ НПО СП России, 2012.

«Энциклопедия» и «Сибирь», «литература» и «Сибирь» — не так давно эти понятия были трудно совместимы. Мешали скептики, которых немало и сейчас и которые могли бы спросить: «Какая тут может быть литература? Подражания или вторичность. Все главное пишется в Москве и окрестностях».

Впрочем, говорят это не они, а их лень и нелюбопытство, в лучшем случае снобизм. Ибо не было известных творческих или ученых людей, кто, оказавшись в Сибири, по своей воле или нет, не отозвался бы на свое пребывание здесь. В списке таких «отозвавшихся», только среди писателей, немало громких имен: Достоевский, Гончаров, Г. Успенский, Чехов, Короленко. Отзывались и не побывавшие в Сибири: Рылеев, Мамин-Сибиряк, Л. Толстой, Горький. «Сибирские» произведения и тех и других тоже не из последних: «Записки из Мертвого дома», «Из Сибири» и «Остров Сахалин», дума «Ермак» и поэма «Войнаровский», сибирские главы «Фрегата “Паллады”» и «Воскресения».

Этого уже вполне достаточно, чтобы разбудить любопытство и поинтересоваться: а было ли что-то до и после этих классиков и их произведений? Оказывается, было. Сибирское летописание (с 17 века), тобольские «толстые» лит. журналы конца 18 в., внушительный массив декабристской литературы (поэзия, проза, мемуары). Тогда же появляются и свои, сибирские: поэты Ф. Балдауф и Дм. Давыдов, прозаики И. Калашников, Н. Щукин. Дальше — больше. Неофиты сибирской литературы узнают, что были в том «диком» каторжном крае свои Герцен и Огарев — Н. Ядринцев и Г. Потанин, великие патриоты и защитники сибирской земли, «областники», но не сепаратисты.

Так что расцвет литературы в Сибири 20 в. объяснить уже легче: феномен не подражательности он, а подлинной, неподдельной оригинальности. Если все равно не понятно, то нужно спросить по-другому: откуда в Сибири появились Вяч. Шишков и Вс. Иванов, Г. Гребенщиков и Г. Вяткин, А. Новоселов и А. Сорокин, увы, мало известные за пределами Сибири, и наоборот, далеко за ее пределами известные В. Астафьев, В. Шукшин и В. Распутин? Стоит задаться подобным вопросом, вникнуть, втянуться, и от скептицизма следа не останется. Такой новообращенный и возьмет «Энциклопедию» А. Горшенина, чтобы открыть для себя много новых имен, названий, понятий.

Хотя и не утолит в полной мере свою жажду познаний. Ибо издание рассчитано и на тех, кто уже знает сибирскую литературу, прочел из нее не только Астафьева или Шукшина. Так что малосведущих книга поразит широтой картины — вот их, оказывается, сколько на каждую букву алфавита. Сведущие будут требовательнее, критичнее. Но и те и другие отметят главное в книге А. Горшенина — информативность. На всех уровнях словарной статьи. Пишет ли автор о биографии писателя, перечисляет его произведения, должности, награды, дает ли характеристику его творчества. Кажется даже, что талант А. Горшенина как критика, склонный к кратким, точным формулировкам, особой «математичности», будто и предназначен для создания энциклопедий и справочников. Видимо, не прошла даром работа будущего критика в негуманитарной сфере — «техником в проектно-институте и лаборантом в НИИ, журналистом, редактором в научно-технических журналах», как пишет он о себе в книге.

Определенная «сухость», нелюбовь к изыскам и красотам стиля, эссеистическому красноречию и разглагольствованиям выделяла А. Горшенина и из плеяды сибирских критиков 70—80-х гг., когда он начал свою деятельность. С другой стороны, эта чисто сибирская (хотя сам А. Горшенин родом из г. Ульяновска) сдержанность свойственна в

целом сибирским критиком. Особенно famous известному, повлиявшему на автора этой книги, Н. Яновскому. Что не исключает страстности, полемичности в борьбе с литературщиной, разного рода имитациями, играми в литературу. Такая литературная строгость в былые годы склоняла критиков к политической публицистике, пророчески-подвижнической миссии, к Н. Ядринцеву и Г. Потанину. Ныне литература, золушка и падчерица ультракомпьютеризированного общества, нуждается в элементарном — просветительстве. Надо напоминать, и не единожды, что были в родной Сибири целые поколения и плеяды своих — и настоящих — поэтов, прозаиков, публицистов, критиков, что ограничиваться только «московской» литературой нельзя (а иногда и вредно). Буквально («букварно»!) с нуля рассказывать в популярной форме, объяснять, просвещать.

Неслучайно поэтому, что предыдущими книгами А. Горшенина были «школьные» «Беседы о сибирской литературе» (1997) и «Лица сибирской литературы» (2006), рассчитанные одновременно и «на широкий круг читателей». В перечне тех, кому адресуется новая книга, на первом месте уже «литературоведы и критики, редакторы, журналисты, работники библиотек», но не забыты и «учащиеся и студенты».

Тем труднее автору было соблюсти меру между литературоведческо-критическими оценками и «школьным» просветительством. А. Горшенин в предисловии оговаривает: в книге «не ставится задача литературоведческого исследования и оценок». Но и просветительская, энциклопедическая составляющая книги тоже оговаривается: она «не может являться исчерпывающим сводом знаний о литературной Сибири», «“за бортом” осталось немало писателей-сибиряков, особенно современных» и особенно дальневосточных и «некоторые национальные литературы». Автор объясняет это техническими причинами: «недостаточная информационная база, устарелость ряда источников, разорванность единого литературного и культурного пространства». Но можно объяснить и по-другому.

Знакомясь с персоналиями и участниками сибирского лит. процесса, замечаешь, что многие из них, главным образом в 20 в. и в советской его части, были, что называется, «от сохи». Т. е. вчерашними ремесленниками, рабочими, крестьянами, а если уточнять, как любит А. Горшенин, то, например, «приемщиком леса», как уроженец Читы В. Лавринойтис, «слесарем-водопроводчиком», как живший в Кемерове В. Махалов, «монтажником мостоотряда на БАМе», как новосибирец В. Романов или даже «скотогоном в Монголии», как молодой иркутянин

А. Преловский. Еще более экзотическими занятиями и профессиями удивляют: будущий юморист О. Чарушников, поработавший «кошечгаром и начальником бюро по трудоустройству» или поэт и будущий иркутянин П. Реутский, учившийся в рыбном техникуме и работавший в воронежском цирке. А были еще бывшие следователи (С. Алексеев), врачи-реаниматологи (О. Корабельников), научные сотрудники (Л. Треер), летчики (В. Хайрюзов) и т. д. Грань между писательством и работой, профессией часто так и не стирается. Поэтому так трудно порой отличить подлинного писателя, умеющего создавать свой художественный мир, от научившегося грамотно рассказывать о виденном и слышанном. Поэтому критерий отбора — энциклопедия! — и предполагал отсев.

Тем не менее работа в той или иной нелитературной сфере для писателя, конечно, не порок. Наоборот, немалое достоинство. Если, правда, он реалист, который, по А. Горькому, достаточно долго побывал «в людях», чтобы быть готовым к писательству. Так что можно смело утверждать: сибиряк, значит, реалист, кому достаточно особой, сибирской реальности, избыточной в лучшем смысле этого слова, созерцает ли он или действует, работает (часто писатель-сибиряк — из геологов или охотников). И так было всегда с появлением сибирской литературы, импульсом к которой было явление Ермака и его деяния, родившие сибирское летописание (Есиповская, Строгановская, Кунгурская и др. летописи), с ярко выраженным «демократическим началом», как пишет А. Горшенин. И даже романтизм в Сибири не был похож на общероссийский: «местный колорит» «был для писателей-сибиряков не высшим, отвлеченным явлением, а вполне реальным, конкретным, близким», читаем в статье «Литература сибирская» «Энциклопедии» А. Горшенина.

Что уж говорить о собственно реализме, базировавшемся на неромантических очерке и публицистике — и в пору своего зарождения (1860-е гг.), и в последующие годы и века. Одна только «школа Короленко» конца 19 в. — сам автор «Сибирских рассказов» и его единомышленники из группы ссыльных писателей-народников (В. Тан-Богораз, П. Якубович, В. Серошевский, С. Елпатьевский и др.) — много дала Сибири. На ее плечах поднялось новое поколение уже своих, коренных, а не ссыльно-«европейских» писателей, объединившихся в «движение “Молодая литература Сибири”» (И. Гольдберг, Ф. Березовский, Г. Вяткин, Г. Гребенщикова, А. Новоселов и др.) и озабоченных изображением родного края с точки зрения пробудившегося самосознания, «сибирского взгляда» на изображаемое.

Тут сибирская литература вступала на скользкую тропинку того самого «областничества», которым пугали писателей-сибиряков едва ли не 200 лет подряд. А. Горшенин, согласно своему нейтралитету — не исследовать и не давать оценок — только приводит в обзорно-понятийных статьях идеи сибирских мыслителей. Но само цитирование уже становится концептуальным. А как иначе можно отнестись к словам Г. Потанина, который считал в 1870-е гг. (в пересказе А. Горшенина), что «нужно быть готовым к скромной роли провинциального писателя, к тому, что произведение сибирской литературы будут иметь значение только в Сибири и не пользоваться успехом за ее пределами» («Литературная критика Сибири»).

Так, собственно, оно и получилось. Сибирская литература, сибирские писатели так и остались скромными провинциалами. Как бы ни пытались теоретики называть сибирскую литературу лишь «историческим», временным явлением, «участком общерусской литературы, отображающим на краевом (местном, областном) материале ее общий путь развития» (М. Азадовский). Многие из коренных сибиряков, видевших, как читинский критик Н. Насимович-Чужак, в литературе еще и «художественное явление» («сибирский колорит» — «сибирские мотивы, настроения, краски, сибирский быт»), этот «участок» покидали, перебираясь в Москву.

В персональных энциклопедических статьях А. Горшенин не забыл указать таких «перебежчиков»: Дж. Алтаузен, М. Андреев, А. Бачило, Б. Бедюров, Ф. Березовский, П. Васильев, В. Вихлянцев, Г. Гор (Ленинград), П. Далецкий (Ленинград), И. Дворецкий, Б. Жеребцов, С. Залыгин, А. Иванов и др.; перебирались и в другие города — С. Алексеев (Вологда), И. Елигичев (Тамбов) и т. д. Продолжать не будем, чтобы не заподозрили в составлении чего-то вроде «черных списков». В конце концов, понятие «литературы сибирской», как пишет А. Горшенин, спорное и «до сих пор не получило четкого, устойчивого определения». Несмотря на введение понятий «сибирский текст» (под чем разумеется «осознание исторической “миссии” региона»), «сибирский фронт» — аналог «американской модели», «субэтническое сознание», «историко-культурный ландшафт», «тексты локального исторического самоописания». Дискуссии как были, так и остались, не отменив «исходного вопроса»: «может ли поэтика региональной литературы отличаться от общерусской?»

Но все эти споры не означают, конечно, карт-бланш сибирякам на отъезд. Проблему «ходульного “европеизма” — эпигонского копирования чужого нового», с чем и связан этот «туризм в литературе» (В. Зазуб-

рин), поднимают те наследники «областников», которые озадачены сохранением «региональной самобытности», сибирского самосознания, как, например, А. Казаркин. В своих ярких статьях он пишет о том, что «сибиряки пытаются осознать себя другой, немосковской культурой, не потребляющей, а “кормящей”, т. е. морально здоровой, сопротивляющейся огрублению и обезличиванию региона» (справочник «Томские писатели», 2008).

Энциклопедия А. Горшенина чужда таких «областнических» заострений проблемы в силу своей просветительской задачи. Такая полемичность — удел «местных» литературно-писательских справочников, «культурных гнезд», на которые теперь раздробилось некогда общесибирское лит. пространство. Поэтому о том же А. Казаркине в энциклопедии вполне нейтрально говорится как о «литературоведе и критике», «в центре постоянного творческого внимания» которого находится «прошлое и настоящее русской литературы, ее классики и современники, а также литературное краеведение».

Если позволяет А. Горшенин себе какие-то оценки, то весьма неутешительные, особенно для современности: «У большинства авторов нового писательского поколения художественных достижений почти нет. Как почти нет и настоящих лит. открытий» («Проза Сибири»); «В целом же постоянно расширяющаяся поэтическая палитра сегодняшней Сибири очень пестра, неоднородна и пока не складывается в цельную картину» («Поэзия Сибири»); современная лит. критика «отходит от постановки и решения больших идейно-художественных и эстетических задач, становясь по преимуществу рецензионно-аннотационной, а то и просто рекламной» («Литература сибирская»); «Развитие лит. критики в Сибири явно застопорилось. Начало XXI в. обнадеживающих перспектив также не показало» («Литературная критика Сибири»).

Может быть, поэтому энциклопедия А. Горшенина имеет такой явный уклон в советский период литературы, середину 20 в. — поистине «золотой век сибирской литературы». В 20—30-е гг. появились произведения «сибирских классиков» — Вс. Иванова, В. Зазубрина, Л. Сейфуллиной, Е. Пермитина, П. Васильева, Л. Мартынова и др. В эти же годы появились на свет классики другого поколения — В. Астафьев, В. Шукшин, В. Распутин. И великое множество хоть и не классиков, но вполне общероссийского значения писателей и поэтов: А. Коптелов, К. Урманов, М. Ошаров, А. Мисюров, С. Сартаков, К. Седых, И. Лавров, Н. Самохин, А. Плетнев, В. Сапожников, А. Черноусов, Р. Солнцев, А. Плитченко, Н. Грехова, Л. Мерзликин, В. Озолин, А. Преловский, З. Яхнин...

Многие десятки имен! И целый всплеск в развитии литератур коренных народов Сибири — алтайской, тувинской, хакасской, ненецкой, эвенской, якутской, мансийской, юкагирской, чукотской, корякской, нанайской и др., которым в книге посвящены отдельные статьи.

Такой вот огромный массив, пассионарный взрыв литературы советских лет А. Горшенин и пытается описать и упорядочить. Благо на помощь приходит алфавитный принцип и отлаженный метод кратких формулировок характера и направления творчества того или иного писателя. Здесь автору приходится повторяться, говоря о том, что писатель посвящает творчество «природе и людям» родного края (алтайского, тувинского, хакасского, дальневосточного, забайкальского и др.), что темами его являются военное детство, целинные годы, «первостройки» Запсиба, Красноярской, Братской и др. ГЭС или комсомольскихстроек; это «человек на земле», «служение обществу», «обыденные жизненные ситуации» или «злободневные проблемы современного бытия», «неповторимый северный колорит», «моряки, летчики, рыбаки», «война, любовь, советская деревня», армия, родина, долг и т. д.

Тем не менее А. Горшенин умеет так преподнести того или иного сибирского литератора, что его, казалось бы, такие немудреные, почти стандартные характеристики творчества выглядят единственно точными и необходимыми для данной «персоналии». Особого искусства на этом поприще он достигает, когда пишет о поэтах. Е. Жилкина: «Каждое стихотворение Ж. — раздумье, задушевная беседа о самом заветном...»; Н. Изонги: «С восторгом интеллигента-неофита, открывающего для себя чудесный край, И. воспевала Сибирь с ее экзотикой, величием...»; Е. Березницкий: «Война сразу же властно вошла в поэтическое сознание Б...»; С. Самойленко: «В центре поэзии С. — мир во всем его многообразии и непредсказуемости...».

Когда же речь заходит о поэтах, которых автор знал лично, энциклопедическая статья оживляется оригинальными выводами и оценками. Здесь А. Горшенин, несомненно, опирается на свои «наработки», опыт своих прежних книг и статей, в том числе и в «Сибирских огнях». Например, у А. Плитченко А. Горшенин отмечает «универсальность» (разножанровость) дарования при том, что «главным предметом» и истоком его творчества был «родной дом», преображающийся со временем в «духовную, эстетическую и философскую субстанцию». Столь же красноречив автор книги и в статьях о современных ему прозаиках. Н. Самохин, например, предстает не только «блестящим

юмористом-сатириком», но и «тонким лириком и мастером психологической прозы, и острозлободневным публицистом», «за незначительными штрихами текущей обыденности» умеющий «разглядеть подчас нечто очень важное».

Такие контрасты при освещении жизни и творчества сибирских писателей, особенно новосибирских, менее заметны в общем массиве книги. Помимо «персоналий», в ней много других, чисто энциклопедических статей: о различных группах и объединениях писателей разных лет, о множестве журналов, альманахов, сборников, включая до- и послесоветские; есть и о лит. музеях и лит. премиях (их, оказывается, в крае не так уж и мало!). Особняком идут статьи о роли и значении классиков общероссийских: «Достоевский и Сибирь», «Радищев и Сибирь», «Чехов А. П. в Сибири», «Горький А. М. и литература Сибири» и др.

И тут, однако, контрасты. Если Достоевский, по воспоминаниям А. Врангеля, «горячо доказывал, что у Сибири нет будущности», то А. Горький, наоборот, пишет А. Горшенин, как никто другой «оказал на развитие сибирской литературы... широкое и плодотворное влияние». Есть тут о чем задуматься. Горький действительно поддерживал и дореволюционную «Молодую Сибирь», и послереволюционные «Сибирские огни». Но не стали ли многие сибирские писатели в 30-е и последующие годы из-за этой поддержки «мини-Горькими», деформировавшими свой талант горьковским реализмом советского образца, а затем и соцреализмом, официально введенным на Первом писательском съезде под руководством Горького? И даже в этой формуле — «широкое и плодотворное» — чувствуется стилистика тех горьковских советских лет.

Эти «советизмы» в книге иногда весьма ощутимы. Таковы статьи о писателях — авторах соцреалистических эпopeй — Г. Маркове (««Сибиряна» М. полна драматизма и напряженного динамизма и в то же время пронизана социальным оптимизмом»), В. Балябине (««Забайкальцы» — многоплановое художественное, социально-бытовое полотно, отображающее борьбу забайкальского казачества начала XX в.»), А. Иванове (его произведения «посвящены главным образом развенчанию частно-собственнической психологии и морали, чуждых социалистической идеологии»).

Чувствуется, однако, что в характеристиках и сибирских соцреалистов, больших и малых, и дореволюционных писателей-народников и революционных демократов (Н. Наумов, И. Федоров-Омулевский, И. Куцевский) А. Горшенин все-таки смягчает терминологию и стилистику официальной критики тех лет. И за счет этого выдвигает на

первый план неидеологические составляющие их произведений. Так, в «Даурии» К. Седых А. Горшенин в первую очередь отмечает изображение судеб «жителей забайкальского казачьего поселка на рев. переломе», «своеобразный быт казаков», «мир природы Забайкалья», оставляя явно выраженную соцреалистическую суть эпопеи «за кадром». То же и о рассказах и очерках Н. Наумова: там важно, прежде всего, изображение «жизни трудового населения окраины России».

Иногда, впрочем, А. Горшенин переносит практически без изменений формулировки из советских книг, и мы видим, что называется, «в натуре» образчики критики и литературоведения тех заповедных лет: в романе И. Кушевского «Николай Негорев» «важное место занимает и проблема ренегатства буржуазной интеллигенции» с «типичным образом “благонамеренного” интеллигента, карьериста и приспособленца». В конце концов, историю страны, общества, литературы не переписать, не замолчать. И рядом с этими «музейными древностями» прежнего литературоведения у А. Горшенина есть статьи о вполне несветских Г. Гребенщикове (эмигрировал после 1917 г. во Францию, затем в США) и А. Кутилове (диссидент и бомж), эмигрантах-харбинцах А. Несмелове и А. Ачаире. Срабатывает, видимо, принцип энциклопедической «всеядности».

Но вот что трудно извинить, так это ошибки и опечатки, порой весьма досадные.

Так, герой того же И. Кушевского Негорев вдруг читается как «Негода», а дата смерти известного сибирского литературоведа Ю. Постнова — «1987» вместо 1978 г. Не нужно забывать, что А. Горшенин обозначил себя как «автор-*составитель*», т. е. в какой-то мере компилятор, доверяющий, подчас целиком, источникам и предшественникам. Как это произошло в последнем случае с Ю. Постновым: дата смерти взята из «Материалов к словарю “Русские писатели Сибири XX века”» (1997) Н. Яновского, где и была указана неправильно.

Как бы то ни было, но работа А. Горшениным проведена немалая, а главное — нужная. Слишком многое накоплено и сделано пишущими сибиряками, вольными или невольными, с 17 века, чтобы отказать этому огромному своду текстов о Сибири в праве называться сибирской литературой. А. Горшенин лишний раз подтвердил это своей энциклопедией. Во многом «авторской», со своим видением, своими методами и подходами к анализу и обобщениям, своим «словарем». Но значимость самого факта выхода в свет такой книги перевешивает недостатки, включая технические. Сам автор-составитель вполне осознает «промежуточность» своего труда, не являющегося окончательным, совершенным: это «издание» он предлагает «в том виде, в каком сложилось на момент выпуска, надеясь, что и таким оно сослужит добрую службу».

Что ж, в добрый путь!

Владимир ЯРАНЦЕВ



Балков К. Н. Куда подевалось небо. Рассказы. — Иркутск, 2012.

Слишком просто было бы назвать многомерную прозу К. Балкова «медитативной», «вязкой», «почвенной», взыскующей человека «естественного», составляющего с природой одно целое. Но и нельзя ей быть иной, если центром мироздания в универсуме этой прозы является «Байкал-батюшка», без которого немислима жизнь обитателей Подлеморья, чьей почти патриархальной жизни в конце 20 в. приходит конец. Сюжеты таких «концов», жизненных обрывов, катастроф и составляют рассказы этой книги, трагичной и светлой одновременно. Ибо все эти Кеши Дворкины и Ульяны Ульянычи, Дамдины и Цыденжапы — труженики не столько своего сурового дела (таежно-охотничьего, рыбацкого, ремесленного, земледельческого, учительского и т. д.), но и духа. Они почти юродивые, оголенные до той человеческой сути, когда возможно поставить ее на грань с зачеловеческой, бесплотной.

Не зря так часто герой К. Балкова остается один на один с Байкалом, на горизонте сливающимся с небом. Остается сесть в лодку и поплыть в эту светлую даль, навстречу не смерти, а чему-то высшему. Как в рассказе «Дед-сто лет», архетипическом для всего сборника. К духовным, буддистским мотивам здесь присоединяются и социальные — наступление эпохи дельцов, бездушных стяжателей, скупающих земли исконных жителей. «Замутнело в душах, отринулось от минувших лет пролежшее» и такие, как Дед-сто лет, общение с которыми очищало «мужичью душу» от скверны, теперь не нужны. Но и умереть так просто они не могут, ибо состоят не только из тела. Может, поэтому суть книги К. Балкова — светлая, и обложка ее — небесно-голубая, с байкальским пейзажем, а не «мутная», траурная. Простые люди не могут быть плохими, Подлеморье населено «в первую очередь хорошими людьми», со своими «священнобайкальской

религией» и языком, который «еще не вычленился из шума ветра и плеска волны», как пишет в содержательном послесловии к книге Т. Ясникова.

Чагин В. В. История Красноярска от основания до перестройки. — Красноярск: ПИК «Офсет», 2012.

Эта удивительная книга, виртуозно совмещившая в себе историю и юмор, летописную достоверность и эстрадный концерт, откровенно следует за дореволюционной «Всемирной историей» сатириконцев, что и без авторского послесловия сразу обнаруживаешь. Не обошлось тут, конечно, и без блогерско-живоурнального остроумия, о чем говорит все то же послесловие, точнее, рисунок с автором подле раскрытого ноутбука. Сатириконский интеллектуальный юмор в этом необычном симбиозе, видимо, сыграл роль сдержки-противовеса, меры-эталона, чтобы не дошутиться до пошлости-вульгарности. И в целом автор таких провалов на скользком пути «исторического» юмора не допускает, но балансирует на грани: перепись Красноярска 1671 г. насчитала 1200 человек населения — «на четыре хрущевские пятиэтажки», комментирует автор; А. Радищева, везущего из сибирской ссылки свои рукописи, он снабжает «почти законченной работой “Правильный гидростроитель”».

С куда большими опасениями подходишь вместе с книгой к проблемному 20 веку с революциями, войнами, репрессиями, боясь, что «тенор» авторского юмора может здесь сорваться. К счастью, голоса ему и тут хватает: опасные рифы времен и тем, явно неюмористических, В. Чагин проходит методом «точной» смехотерапии: при Колчаке «вокруг Красноярска завелись партизаны»; «год 1937 в историю Красноярска вошел многими делами» (т. е. не трудовыми, а расстрельными); Красноярск в 1941 г.

превратился «в глубоко тыловой город со всеми *вытекающими обстоятельствами*», включая «вязание носков и варежек» и «застраивший в городе львовский джаз». Немало помог автору и выбранный им «метод» 2-страничных главков, как раз на книжный разворот, так что и содержание в конце можно не указывать, да и чересчур расшутиться трудно. Рисованные в стиле шаржей картинки (строго на нечетных страницах) облегчают и без того легкое, до порхания, чтение, а нелетописные главки (о поляках, классических гимназиях, летчиках-полярниках, альпинистах братьях Абалаковых и т. д.), чуть-чуть притормаживая «Историю...», заставляют думать об авторе не только как о блогере-«сатириконце», но и небесталанном прозаике.

Родионов А. Одинокое дело мое... Мгновения лет мимолетающих. Статьи, заметки, очерки. — Барнаул: Алтайский дом печати, 2011.

Эта книга — почти квадратная, высотой в 615 страниц — уже внешне напоминает сундучок с драгоценностями и артефактами. А стоит открыть — и утонешь в ее сокровищах — несметно-бесчисленных фактах, именах, названиях, датах драгоценного нашего прошлого. Нашего, т. е. сибирского, точнее сказать, алтайско-барнаульского, того, где в начале 18 в. зародился еще один, вслед за Тобольском, Томском, Иркутском, Красноярском, очаг сибирской цивилизации и культуры, материальной и духовной. Можно все это обилие частных (как, при каких обстоятельствах, каким чудом или технологией зарождались заводы Рудного Алтая, Барнаул, Бийск и их закрома — памятники архитектуры и

литературы, храмы и библиотеки, а также прославленные барнаульцы, коренные и временные) назвать просто краеведением, осолобого рода журналистикой местного значения. Фактически эта книга очерков таковой и является, будучи собранной из материалов, опубликованных в сибирской периодике, в том числе и в «Сибирских огнях».

Но можно назвать эту сокровищницу (книга превосходно иллюстрирована редкими фото и репродукциями) и результатом подвижничества одного из самых неравнодушных к своей малой родине сибирских писателей. Не зря то и дело встречаешь в книге горькие слова об «опустынивании» ландшафтов естественных и культурных, будь то разрушение построек Ю. Кондратюка или дома архитектора Носовича, утрата библиотеки Колывано-Воскресенских заводов или лежащее втуне лит. наследие поэта с эмигрантской судьбой Д. Кобякова. Обо всем болит и вопиет беспокойная душа А. Родионова. Прошлое края 18 и 19 вв. становится настоящим убежищем для писателя, увлеченно и многостранично рассказывающего о герое войны 1812 г., сибиряке с европейскими корнями А. Скалоне, спиртоносах на сибирских приисках, обороне Албазинской крепости или Сузунском монетном дворе с двухвековой историей. В этом вольном или невольном уходе в старину, видимо, и кроется секрет «одинокого лит. дела» А. Родионова. Нажмет ли читатель «кованую барнаульскую шеколку» — характерный для автора образ, означающий обряд открывания этой книги, вхождения в «мой дом», вопрос уже другой. Главное, что такие книги, даже в условиях «пустоты» сегодняшней «новой истории» (эпиграф к книге из В. Курбатова), не перестают выходить. Значит, будет и кому нажимать эту шеколку.

В. Я.



АВТОРЫ НОМЕРА

Акимова Марина Николаевна родилась в Иркутске. Окончила Иркутский государственный университет, факультет сервиса и рекламы. Автор поэтической книги «Вырастая на разлуку» (2005 г.). Член Союза российских писателей. Живет в Новосибирске.

Арутюнова Каринэ родилась в Киеве, с 1994 года живет в Израиле. Прозаик, художник. Публикации в журналах «Сибирские огни», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Крещатик» и др. Шорт-лист премии Андрея Белого за сборник рассказов «Ангел Гофман и другие».

Башкуев Геннадий Тарасович родился в 1954 году в Улан-Удэ. Член Союза писателей России. Прозаик, драматург. Окончил Иркутский госуниверситет. Пьесы поставлены в театрах РФ и СНГ. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Современная драматургия». Живет в Улан-Удэ.

Лейфер Александр Эрахмизлович родился в 1943 году в Омске. Окончил отделение журналистики Казанского государственного университета. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Знамя» и др. Автор многих литературоведческих и публицистических книг. Председатель Омского отделения Союза российских писателей. Живет в Омске.

Марьян Дмитрий Владимирович родился в 1976 году в Барнауле. Окончил факультет филологии и журналистики Алтайского госуниверситета. Кандидат филологических наук, доцент. Работает на кафедре общего и исторического языкознания АлтГУ. Публиковался в региональных периодических изданиях, в журналах «Родина», «Алтай», «Огни Кузбасса» и др. Живет в Барнауле.

Оганджанов Илья родился в 1971 г. в Москве. Окончил Международный славянский университет, Литературный институт им. Горького, Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Публикации: журналы «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Урал», «Сибирские огни», «Крещатик», «День и ночь», антология «Русская поэзия. XXI век», книга стихов «Вполголоса».

Плоткин Семён Борисович родился в 1962 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт. В 1991 переехал в Израиль, работает врачом детского приемного покоя.

Подсвиров Иван родился в 1939 году в станице Кардоникской Зеленчукского района Ставропольского края. Окончил Минераловодское железнодорожное училище, работал старшим путевым рабочим. После службы в армии учился в МГУ на факультете журналистики. С 1982 года — специальный корреспондент центральных газет «Советская Россия» и «Правда», с 1997 по 2009 год — заместитель главного редактора «Подмосковных известий». Член Союза писателей с 1973 года. Автор многих книг прозы, выходящих в Туле и Москве.

Русаков Эдуард родился в 1942 г. в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт, Литинститут им. Горького. Работал врачом-психиатром, редактором, корреспондентом. Зам. главного редактора журнала «День и ночь». Автор книг прозы и журнальных публикаций. Член СП СССР (1979), Русского ПЕН-центра (1996). Живет в Красноярске.

Стасевич Виктор родился в 1961 г. в г. Темиртау Карагандинской области (Казахстан). Закончил Томский госуниверситет. По профессии биолог. Живет в Новосибирске.

Тихий Денис Георгиевич родился в 1974 г. в г. Волгограде. Учился в Волгоградском техническом университете, служил на Черноморском флоте. Живет в Волгограде, работает аудитором.

Улыбышева Марина Алексеевна родилась в Павлодаре. Окончила Омский политехнический институт, Литературный институт им. Горького. Автор трех поэтических книг. Член Союза писателей России. Живет в Калуге.

Чепров Сергей Васильевич родился в 1951 г. в Бийске. Окончил филологический факультет Бийского педагогического института. Стихи печатались в журналах «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Вертикаль», в альманахе «Бийский вестник». Автор трех поэтических книг. Живет в Бийске.